

14.125к 7

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

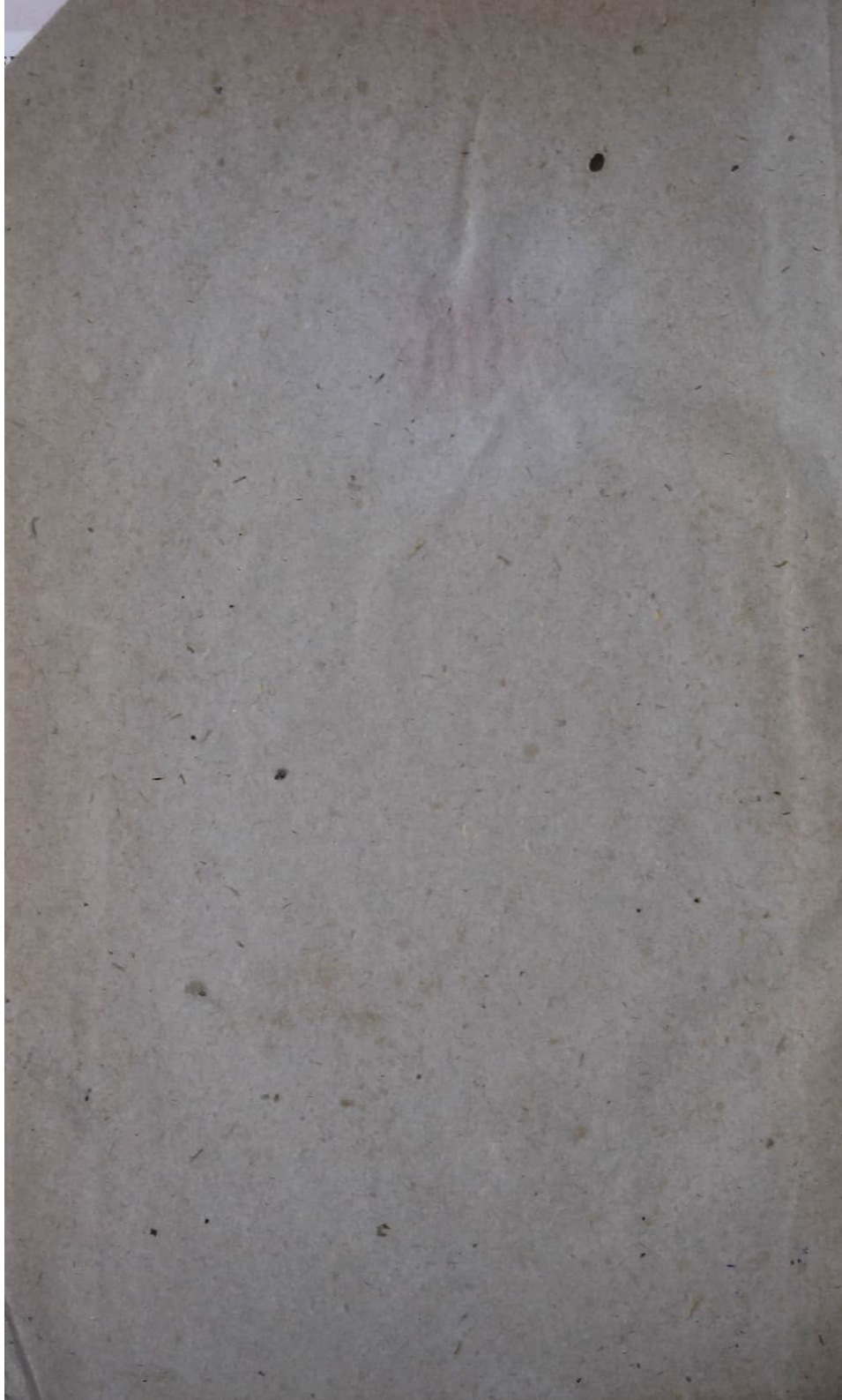
9

ОГИЗ — ИВГИЗ — 1948

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Количество пред. выдач _____

150294 - 2. М/1



ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

1122

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ДЕВЯТАЯ

Груздевская
сельская библиотека
Южного р-на

1962 14.12.57 к

87

ОГИЗ
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1948

к
--2010



ЗА РЕКОЙ ВЫРЕМШЕЙ

Повесть

Тот день Алексей Ивонин запомнил на всю жизнь, как любимую песню. Солнце палило немилосердно, ни одного дуновения ветерка, все застыло в полдневной истоме. Цвела рожь — густая, высокая. Она светилась под солнцем сизым отливом и напоминала небывалый паводок, в котором утонули за околицей амбары, сарай и фермы. Двоили пары. Обожженный солнцем, усталый Алексей возвратился с пашни, распряг лошадь и сдал ее конюху. Выходя из конюшни, он столкнулся с девушкой, которая, видимо, искала его и, наконец, нашла.

Ивонин руководил тогда комсомольской организацией колхоза.

— Что же вы меня в комсомол не привлекаете? — спросила она улыбочиво и вместе с тем серьезно. — Я уже выросла.

Алексее понравилась ее смелость, непосредственность, он оживился, забыл об усталости и заговорил весело и непринужденно. До сих пор он не примечал ее в своем большом селе, а между тем в ней было что-то примечательное. Кажется, совсем недавно она бегала по селу девочкой-подростком и неожиданно, как это часто бывает, превратилась в интересную девушку. Невысокая, статная, цветущая, она дышала жизнью и здоровьем. Крупные, но выразительные черты лица отражали ее спокойную и светлую внутреннюю жизнь.

В тот же день Паша написала заявление, заполнила анкетку, из которой Алексей узнал, что она моложе его на пять лет. Он полюбил, потому что такую девушку нельзя было не полюбить, а через полтора года женился на ней.

Из нее вышла расторопная, сметливая, жизнерадостная и веселая хозяйка. Ей совершенно был незнаком тот момент перехода от покоя к действию, момент внутренней раскочки, когда человек собирает себя, напрягая силу воли. Все ее движения были точны и уверенны, она никогда ничего не забывала, не роняла и не разбивала. Неведомы были Паше и тягостные предчувствия. Она не думала, что ее ребенок может заболеть, и на самом деле он не болел. Провожая мужа на

фронт, она не допускала мысли, что он может там погибнуть, была уверена, что он вернется, и он вернулся. Да еще каким соколом вернулся! Офицером. С орденами и медалями.

Паша просияла так, как никогда еще не сияла, и принялась готовить угощение.

Офицер беспокойным взглядом оглядел избу и торопливо спросил:

— А где наш сын?

Жена веселым, сверкающим взглядом повела в сторону задней стены: дескать, полюбуйся!

Алексей глянул туда и увидел сына. Ребенок сидел на чистой соломе около лежащего теленка и расставлял на его лоснящемся боку деревянные игрушки. Отец рассмеялся и весело проговорил:

— Он у нас животноводом, видно, будет.

— Кто его еще знает, — оживленно отозвалась мать.

Алексей взял мальчика на руки и прошел с ним к светлому окну.

Там опустился на стул, поцеловал сына в висок и тепло прижал к себе. Теперь он уже оглядел избу спокойно и пристально. Заметил, что одна из зимних рам новая, пол в передней выкрашен желтой краской. Над кроватью висел коврик, которого до войны не было. На коврике цветными нитками были вышиты два толстых карапуза. Один из них таинственно нашептывал секрет другому. Все говорило о том, что в этой избе живет заботливая и предприимчивая хозяйка. Алексею пришлось это по душе и он ласково пошутил:

— Все здесь уладила, ничего мне не оставила поделывать!..

Паша поняла его ласковую, одобрительную шутку и осветила мужа горячим благодарным взглядом:

— Осталось тебе еще немало всего, только улаживай!.. Как это у Некрасова сказано? «Тихо по двору похаживал да постукивал топориком...» — Паша задумчиво прищурила глаза и, припомнив, резко вскинула веки. — «Избу новую облаживал, огород обнес забориком». Теперь вот похаживай да облаживай. Я обладила только самое необходимое. Рама эта совсем почти развалилась — нельзя было вставлять. Ныртикову пришлось заказывать, а пол я сама покрасила, чтобы легче его было примывать... Достала краски и намазала. Как-жестя, ничего вышло?

— Я думал — маляр, — похвалил муж.

— Скажешь ты, — довольно усмехнулась Паша. — А коврик я зимой по ночам от скуки вышила... О нем я сама скажу, что хорош вышел.

...Алексей сам был заботливым хозяином и оттого любил людей заботливых, рукодельных, остроглазых. С детства отец приучил его делать все толком и порядком. Возьмет, бывало, маленький Алеша молоток и оставит там, где играл. Отец

кликнет его, а если далеко убежал, найдет, приведет, скажет:

— Убери на место, положи там, где взял!

Останется от какой-нибудь поделки обрезок доски, отец не забудет напомнить:

— Прибери и запомни, куда положил, может когда и пригодится.

В каждом деле он приучал сына быть мастеровитым, памятливым, осмотрительным.

Лука Антоныч Ивонин провел значительную часть своей жизни в саперных войсках, участвовал в трех войнах, знал, как шилом бреются и дымом греются, и, кажется, умел делать все.

К нему в селе все шли с просьбами починить дверь, ворота, лестницу, погреб, колодец, сделать полицу, скамейку, выдолбить корыто... Он никому не отказывал. Выслушает просителя и тихо, спокойно проговорит:

— Вот выберу времечко и приду, займусь.

Время он всегда находил, неторопливо являлся и, толкуя о том, о сем, ловко производил починку или поделку. С ним почти всегда ходил и Алексей и умело помогал отцу.

— Пареньку твоему и погулять-то некогда, — говорили односельцы.

— Нагуляться успеет... Пусть вот рукомесо у отца перенимает. Я ведь не два века проживу. Уменьше на всякое дело возьмеем, лучше жить будет. Жизнь ему тогда во всем станет подвластна.

Покончив с делом, отец с сыном раскланивались и уходили. Хозяин говорил им вслед:

— Лука Антоныч, я тебе заплачу, как-только деньги у меня случатся.

— Ла-адно, сделаемся, — мирно, невозмутимо гудел уже на ходу Лука Антоныч, — дело-то невелико.

Деньги иногда случались, но чаще их не было, некоторые платили, а иные нет. В селе все так привыкли пользоваться его услугами, что с легким сердцем, почти равнодушно говорили друг другу:

— Дверь у нас нынче что-то покосило, надо Антонычу сказать.

— У нас труба рассыпается, придется тоже к Антонычу идти.

Безлошадные пользовались немудрящей, но безотказной лошаденкой Луки Антоныча, как своей: возили сено, хворост, ездили в больницу.

Он никогда не отказывал, когда она была свободна.

Увидев в окно возвращающегося безлошадника, отец говорил сыну:

— Прими лошадь!

— Передай отцу бо-о-льшое спасибо, — слышалось со двора. — Скажи ему, что копь будут у меня деньги...

— Ла-а-дно — сделаемся, — по-отцовски спокойно и добро отвечал Алексей, распрягая лошадь.

На праздниках Лука Антоныч был всюду желанным гостем. Его звали и водили из дома в дом.

Небольшого роста, широкоплечий, с широкой, недлинной бородой, широким выпуклым лбом входил он в избу, с чувством поздравлял хозяев с праздником и своим видом, живым, ясным взглядом, умной речью вносил торжественность в самую серую обстановку бедняцкого бытия.

Любо было смотреть, как он, расправив усы, огладив бороду, со вкусом выпивал чарку и, помедлив, закусывал без жадности, немного, благородно. Во всем он соблюдал строгое чувство меры. В отношениях с соседями не был просительным, болтливym, надоедливym. На праздниках, например, если его позовут, он выпьет, закусит, поблагодарит хозяев и уйдет прямой, торжественный, и хозяева почувствуют, что он осчастливил их своим посещением.

Лука Антоныч рано приучил Алешу владеть топором, долотом, шерхебелем, запрягать лошадь, пахать, бороновать, косить, жать.

Если отец ехал в поле или лес, сынишка знал, что и ему надо отпрапляться с ним — дело найдется: приглянуть, подать, пособить. Алексей любил эти поездки с отцом, любил слушать в дороге его рассказы о сражениях, походах и далеких землях.

Алеша с детства привык быть всегда занятым, без дела становился сам не свой, искал себе работу, если ее не было под рукой.

В колхоз Лука Антоныч вступил в числе первых. Ему поручили строительство скотных дворов, конюшен, складов. Лука Антоныч долго стоял во главе строительной бригады и умер глубоким стариком. Смерть своего старого строителя колхозники пережили как большое артельное несчастье.

Алексей и обликом и характером удался в отца.

— Второй Лука Антоныч, — говорили о нем.

— Этот будет и умом поживее и характером посветлее. Отец-то еле-еле мог расписаться, а сын семилетку прошел.

— Время другое и обстановка не та, так что он подымет-ся повыше и пойдет подальше отца.

Колхозники правильно заметили, что Алексей пойдет дальше отца. Если Лука Антоныч чутко обходился с односельчанами по свойствам своего характера, то Алексей, воспитанный советской школой, комсомолом и колхозом, не только по велениям своего сердца, но и по чувству долга перед народом с юности принимал участие в сельских и артельных делах.

...После чая решили пройти по селу.

Паша направилась на улицу не через крылечную дверь, а двором, через калитку.

Проходя по двору, Алексей увидел в хлеве новую корову и понял, почему жена избрала этот путь.

— Пока ты воевал, я молодую коровку вырастила! Та стара стала — пришлось продать, — говорила Паша, проворно усаживая сына на салазки. — Это чистая ярославка... Дойт средне, но молоко очень жирное, а к еде неприхотлива. В общем на корм не тяжела... Мне давно такую хотелось.

— Порода самая нашенская, — заметил Алексей, — к нашим кормам и непогодам привычна. — Он погладил корову по шее и похвалил. — Хороша! Глаз ве-е-сельый... Лю-ю-блю!..

Вышли на волю. Прошлись до околицы. За селом, на горе, которая звалась Стрелкой, на салазках, скамейках и санках катались детвора.

Алексею вспомнилось, как он сам в детстве проводил на этой горе целые дни, и он торопливо спросил:

— Валерий-то еще не ходит туда?

— Где ему... Он мал...

— Надо покатать его, — решил Алексей и легко, быстро покатил туда на салазках своего маленького наследника.

На горе он усадил Пашу позади сына и осторожно подтолкнул санки, которые сразу же стремительно ринулись вниз с крутизны.

Пока Паша с малышом поднималась вверх, Алексей с высоты осматривал дорожные сердцу места.

Село занимало широкий угол, образуемый реками Любицей и Выремшей. Село раскинулось по равнине двумя кривыми улицами. За избами теснились погребки, сарайки, плетни. Всюду высились сугробы, темнели дороги и тропы.

Выремша то прижималась к селу, то отходила, делала замысловатый завиток и вновь приближалась. За селом, встретив холм, Выремша отступила недоуменно, сделала плавный полукруг и угодила прямо в Любицу, которая как бы подстергала ее на другой стороне возвышенности.

На противоположном, более низком берегу Выремши виднелся приселок, который носил насмешливое название — Выгонцево.

В старое время там отводили усады молодым мужикам, уходившим в раздел из родительских домов.

На противоположном от Стрелки конце старой части села возвышались над березовой рощицей две трубы сельской школы.

— Березы-то как выросли! — удивленно сказал Алексей жене, когда она поднялась на холм. — Отсюда едва только виден конек школьной крыши. Серафима-то Петровна жива?

— Жива, здорова и нам того желает, — улыбнулась Паша. — За время войны Серафима Петровна о тебе, кажется,

сотни раз спрашивала у меня: пишет ли, не ранен ли, каково воюет... Всех нас, своих бывших учеников, она помнит. Надо навестить ее. Она будет рада нам.

После катанья с горы Ивонины прошлись по селу. Алексей осмотрел все колхозные постройки, заглянул на фермы, в мастерские. Ни одно здание не покривилось, казалось, даже не постарело за годы войны. «Отец строил, — с гордостью подумал Алексей. — Он знал, где можно надеяться на дерево, а где и нельзя.. Столбы на скотных дворах и конюшнях поставил каменные, оттого и не покосилась ни одна стена, пятнадцать лет они стояли и еще тридцать простоят». Внешне все выглядело крепко и домовито, не хотелось верить, что колхоз пошатнулся и значится в числе отстающих. Лошадей осталось немного более половины, но рогатого скота, овец и свиней стало больше, чем до войны.

На молочно-товарной ферме Алексей встретил Капитона Дятлова, который тоже вернулся недавно и не расстался еще с шинелью и шапкой армейского образца.

— Свой пост опять занял? — спросил Алексей.

— Опять все фермы мне вверили...

— Правильно сделали. Каково скотинка наша живет?

— Никуда... Кормов мало, скот истощен, удои козы, поголовье по плану, а доходность аховая. Туго приходится. Поправлять да и поправлять надо!

— Говорят, что тут все поправки требует, — заметил Алексей.

— Все! — подтвердил Дятлов, — упущений много.

Паше хотелось показать своего офицера Серафиме Петровне.

Алексей учился в школе пятью годами раньше жены, но также глубоко уважал старую учительницу и охотно согласился навестить ее.

Паша подгадала явиться в тот час, когда Серафима Петровна была свободна и сидела в теплом уголке, отдыхая за вышивкой. Она искренно обрадовалась неожиданным гостям, молодым и по всей видимости счастливым.

Серафима Петровна потеряла на сей раз свою обычную, присущую ей сдержанность и в каком-то безотчетном порыве поспешно поднялась, расцеловала Пашу, по-матерински обняла Алексея и даже прослезилась. Пригласила их располагаться, как дома, и только тут заметила их сына. Он еще не видал ничего кроме своей избы и улицы возле нее, а потому сейчас широко открытыми глазенками разглядывал квартиру учительницы, изобильно украшенную портретами, картинками, вышивками.

Серафима Петровна хотела взять его на руки, но не могла поднять.

— Вот так пуд с походом, — воскликнула она, переводя дыхание, — будто в кузнице откованный.

Мальчик поправил на себе вздернувшееся пальтишко и продолжал рассматривать и удивляться, как будто попал в сказочный мир.

Поговорив с Алексеем о возвращении, ранениях, наградах, здоровье, Серафима Петровна поспешила на кухню готовить чай. Паша незаметно вышла следом за ней. Мальчик не увидел, а скорее ощутил отсутствие матери около себя и молча побрел отыскивать ее.

За стеной послышался разговор, потом стих, и Серафима Петровна вернулась в комнату. Алексей понял, что сообразительная и деловитая Паша все хлопоты по чаепитию взяла на себя.

Заботливую, умудренную богатым житейским опытом Серафиму Петровну интересовало только значительное, и она заговорила о том, как он, колхозный парень, ставший офицером, чувствует себя в мирной жизни, в родном селе и чем думает теперь заняться.

Ивонин твердо ответил, что решил жить в родном Думине, прочно осесть в колхозе.

— Правильно, Алеша, — горячо одобрила она. — Правда, тебе здесь первое время будет трудно, но, если ты всем сердцем прилепишься к родному Думину, то и здесь останешься офицером. Тяжело тебе будет первое время, но у Нефедя не советую одолжаться, потом поймешь, почему... Подайся пока на лесозаготовки, там нынче хорошо зарабатывают... Другой скажет, что не офицерское это дело, но ты не гляди на таких, не бойся тягостного труда. Может люди над тобой вначале ухмыльнутся, но потом оценят и похвалят. В колхозе нынче на трудодень пришлось мало, запасы у твоей хозяйки, я думаю, тоже невелики...

— У меня хватает, — раздался за переборкой уверенный голос Паши. — Я без запаса не живу.

— Тем лучше, — громко отозвалась Серафима Петровна. — Стало быть легче ваша жизнь пойдет. Молодец она у тебя. Все годы войны трудилась на отлично. Нефедом Степанычем я недовольна. Лето было засушливое, урожай неважный собрали, и Нефед опустил руки, завял, но он знает дело, умеет работать, только его надо встряхнуть, дать ему свежего воздуха...

Серафима Петровна помолчала и, на что-то решаясь, посуровала, потом тихо, проникновенно спросила:

— Ты на фронте из комсомола в партию не перешел?

— Перешел! — поспешил ответить Алексей, чтобы порадовать Серафиму Петровну.

— Хорошо! Это меня больше всего интересовало, — призналась она. — Дело в том, что наш райком нынче перед вес-

ной при каждом колхозе создает первичные партийные организации. В территориальной останутся: председатель и секретарь сельсовета, учителя и медицинские работники. В нашей первичной Думинской будут: Нефед Степаныч — председатель, стало быть, колхоза, Семен Саввич — бригадир, дядя Петя Долотов — колхозник, я... Ты теперь будешь пятый. Кроме того с первых же шагов надо позаботиться о росте организации!

Пока они рассуждали, Паша приготовила чай. Мальчик находился все время с ней и ни разу не пикнул — она сумела его занять, чтобы он не мешал взрослым. Она живо собрала на стол и подконец водрузила поллитра настойки. Серафима Петровна вопросительно заглянула ей в глаза.

— Принесла, — ответила на немой вопрос Паша. — Со свиданием-то надо пропустить по рюмочке.

Для Алексея это было неожиданностью, и он восхищенно проговорил:

— Тебя бы на фронт старшиной ко мне в роту.

— И в семье такая старшина хороша! — улыбнулась Серафима Петровна. — Она живо все сообразит и сделает.

За чаем стали перебирать всех, кого бы следовало привлечь в партию.

— Женщин надо, — заговорила Серафима Петровна. — В колхозе много молодых, активных, они во время войны трудились превосходно.

Алексей повел взглядом на жену.

— Непременно, — одобрила Серафима Петровна. — Обязательно. Что ты, Паша, на это скажешь?

Ни на какой вопрос никогда Паша не отвечала, не подумав, и сейчас ответила не сразу.

Она посмотрела любовно на мужа и спросила:

— Леша, как я тогда сказала? Тебе понравилось тогда, и ты много раз вспоминал.

— Что же вы меня не привлекаете? Я уже подросла, — напомнил муж.

— Вот мне и сейчас так же хочется сказать, — мило сказала Паша и добавила. — Нужно привлекать самых работающих, волевых...

— Вот именно, — подхватила Серафима Петровна, — Анну Доброхотову, Христину Теплову... Таких вот... Замечательные труженицы.

— Таню Букову, — вставила Паша. — Она трудолюбивая девушка. Работает как бы потихоньку, а сделает, глядишь, больше всех.

— Еще бы надо с Валентиной Цветовой заняться, — молвила Серафима Петровна и пояснила Алексею:

— На фронте она была, по возвращении бригадиром на огороде работала хорошо, а нынче с ней творится что-то не-

ладное... Тебе, Алеша, придется с ней поговорить. Ее по-военному надо взять в оборот, наши-то слова до нее не доходят. Повидайся с ней, потолкуй, она ведь твоя бывшая комсомолка.

Они еще долго говорили о людях и делах колхоза. Когда гости стали собираться домой, Серафима Петровна многозначительно обратилась к Алексею:

— А тебе, мой дорогой ученик, придется возглавить Думинскую партийную организацию.

Алексей пожал плечами и удивленно посмотрел на Серафиму Петровну.

— Кого же кроме, — продолжала она, — меня предполагали, но я старушка. Хотели Семена Саввича, но он тиховат и не активен. Лучше тебя нам не найти. Ты молод, полон сил, способности у тебя богатые... Ты как раз прибыл вовремя! Быть тебе нашим партийным руководителем.

* * *

Перед половодьем он ездил в райком на совещание. К этому времени партийная организация Думинского колхоза была уже оформлена, и Алексей избран ее секретарем.

Когда он вернулся из районного города и вошел в избу, Паша разговаривала с Ефимьей Гречишниковой.

— Завалит нас Нефед, — говорила соседка. — Менять надо, а то он как спросонья ходит. Сил у нас нехватит. Измаемся все на огороде и без хлеба останемся.

— Огород может стать кладовой всякого добра, — возражала Паша. — Положишь в него немного, а возьмешь целые горы всяких овощей, если умеючи... Хлеба мы снимаем по семьдесят пудов, а овощей по семьсот! Так это средне...

Видя, что Паша не будет ее согласницей, соседка выскользнула из избы.

— О чем это вы? — спросил Алексей.

— Тут, Леша, у нас целый переполох. Председатель привез план — взять под огород четырнадцать гектаров, а в те годы было только восемь... Вот и поднялось: рабочих рук нет, удобрений мало, времени нехватит...

— А председатель что?

— Он как-то в сторонке. Вот, говорит, исполняйте. Растерялся: а пахать, а косить, а жать кто у нас будет, на огород, говорит, надо ведь полсотни человек и то не управишься...

— Да-а, — вздохнул Алексей, — это не делает ему чести.

— Какая тут честь, — еще оживленнее продолжала Паша. — Не уважаю я таких. Бывают хозяйки: один у нее ребенок и она управиться с ним не может, плачется, что измалась, а я с пятерыми управлюсь, все у меня будет чисто, спокойно и на работу поспею...

— Ты у меня, старшина, справишься, я знаю тебя!

— На огороде я бы по-новому положение наладила: всю площадь — звеньям, а в звеньях каждой огороднице участок: старайся, вот столько вырастишь, вот столько дополнительной получишь! Тогда всю работу на ура подымут. Я бы тоже на огороде постаралась! Дело выгодное!..

— Ты же в полевой бригаде...

— Там и тут бы поспела. Так ведь многим придется делать, а то на самом деле рабочей силы нехватит.

— Ты, старшина, здорово рассудила, — похвалил жену Алексей. — Соображение у тебя есть... Только бы вот нормы выработки по огородным культурам достать...

— Все это здесь есть, но только не выполняется.

— А мы теперь заставим выполнять! — отчеканил Алексей.

Отдохнув с дороги, он пошел в правление.

Нефед Степаныч скользнул по его лицу рассеянным взглядом и проворчал снисходительно:

— Весна идет!.. Принимайся за дело, секретарь, помогай! На, погляди на первый раз план по овощам, да и попробуй разрешить эту задачку, над которой я кумекаю второй день.

Он подал Алексею клочок бумаги. Тот быстро пробежал ее глазами и положил на стол:

— Решить можно!

— Реши... Найди мне на огород полсотни колхозников, сотни тонн навоза... Ищи и огородного бригадира. Валька Цветова посмотрела план и швырнула на стол: выполняй, говорит, сам. Теперь и из дома никуда не выглядывает, а еще в кандидатах состоит...

— Нефед Степаныч, если ты считаешь план невыполнимым, так зачем ты его принял?

— Уговорили. Ваш, говорит, колхоз не так далеко от города, вы должны овощей много выращивать.

— И ты согласился?

— Согласился.

— Раз согласился, так надо выполнять.

— Я один своими руками ничего не сделаю, а колхозники вон что говорят...

— А что они говорят?

— Ничего, — рассерчал вдруг председатель.

— Вот именно, что ничего, — спокойно проговорил Алексей. — Ты еще с колхозниками и не разговаривал по этому поводу. Обсудим на партийном собрании, а после ты с ними и поговоришь. Тогда увидим, что они тебе скажут.

Из правления Алексея прошел к Валентине. У избы Цветовых рябилась от ветра студеная лужа. Дорожка к крыльцу не расчищена, снег с крыши не скидан. «Эх, что же это она?» — с огорчением подумал Алексей. В избе мать старуха над-

вязывала паголенок, сестренка школьница учила уроки. Валентина лежала на печи, закутавшись ватным одеялом.

— Здравствуй, Валентина!

— Здравствуй, Алексей! — ответила она, узнав вошедшего по голосу.

— Ты что? Заболела? Что с тобой?

— Ничего.

Помолчали.

— С какой же стати ты средь бела дня на печи преешь?

— Ни с какой.

— Вставай!

— Незачем.

Алексей помолчал и вдруг резко поднял голос:

— Как ты разговариваешь!.. Где тебя так учили. В комсомоле, на фронте была, а так ведешь себя! Забыла все. Встань! Оденься! На все тебе десять минут! Будем серьезно разговаривать! — Он спокойно двинулся к порогу, тихо отворил и закрыл дверь, и этот ровный шаг, тихий хлоп двери подействовал на Валентину сильнее слов. Она почувствовала волю офицера и авторитет партийного руководителя и немедленно спустилась с печи.

Алексей встал в сенях у окна и закурил. Вскоре вышла в сени мать Валентины, будто за тем, чтобы вынести горшок и, проходя мимо, запальчиво проговорила резким шопотом:

— Пробери ее, Лешенька, хорошенько пробери, а то девушка совсем застоялась.

Старуха поставила горшок и шмыгнула обратно.

Ровно через десять минут Алексей вошел в избу.

Валентина в черной юбке и военной гимнастерке, умытая и наскоро причесанная сидела уже за столом. Алексей присел к столу напротив ее и прямо спросил:

— Ты что огород бросаешь?

— Не могу я с Нефедом работать, — заявила она и на глазах ее появились слезы. — Это не человек, а каток, который придет и все выровняет. Ему кажется, видно, что все тут одинаковы, все на одно лицо, а я привыкла на фронте, чтобы меня ценили. Там, как отличился, так тебе благодарность или награда, а здесь у нашего Нефедя все ни к чему, хоть золотой будь — ему все равно, он ко всему равнодушен, к любому достижению. Как мы старались нынче на огороде! Тысячи ведер воды для поливки перетаскали, сколько овощей собрали, а Нефед наш труд ничем не отличил, трудодень подсчитал, что лодырям, то и нам. Теперь вот мое дело: вези четырнадцать гектаров огорода, а получишь наравне с Ефимьей Гречишниковой, которая выходит по солнышку сенцо поворошить или у веялки поishiться поближе к зерну. Оттого вот на сердце-то и скребет.

— Верно ты говоришь, но ведь лежаньем на печи ты его не проймешь, ничего не докажешь, ничего не добьешься!

— Измоталась я что-то, сникла, он как будто загордился все, что есть впереди хорошего, и спутал все у нас в головах: в районе он ворчит на нас, а с нами — на район. Выпустил себя из рук, ко всему принялся, все ему не ново, обещает и не выполняет, на неделе у него семь пятниц...

— А мы — партийная организация колхоза — скажем теперь ему, что на неделе одна пятница и научим опять все видеть внове... Меня пять лет здесь не было, всех тонкостей я не знаю, а вот жена говорит, что можно осилить и четырнадцать гектаров, если разбить землю по звеньям, да еще закрепить участки. Ты этот порядок лучше знаешь, расскажи-ка мне, в чем тут дело!

Мягкий тон его слов, дружеское обращение оживили Валентину. Он не скрыл, что совет подала ему жена и эта правдивость даже в мелочи совсем подкупила ее. Она поднялась красивой походкой прошла в угол к сундучку и вернулась с книжкой, на обложке которой манили глаз яркими красками помидоры, огурцы, морковь, свекла, капуста.

Валентина, стоя перед Алексеем, быстро нашла нужную страницу, прочитала, пояснила, еле заметно вздохнула и с особым ударением на каждом слове заключила:

— Так можно двадцать гектаров осилить, но только, чтобы мои опородницы насчет дополнительной не сомневались. Вот, если ты своим секретарским... и офицерским словом заверишь, тогда...

— Ничего, мы и Нефеда заставим заверить так, что никаких сомнений не будет. Поможем и заверить, и выполнить! А ты свой печной протест брось, принимайся за дело, парниками сейчас займись: рассады очень много потребуется. Ефимью к работе привлеки. По-о-йде-ет! Верь, что хорошее, советское и в ее душе есть.

* * *

На той же неделе состоялось собрание партийной организации Думинского колхоза. Подробно говорили о пересмотре норм и дополнительной оплате за повышенную урожайность.

— Обман. Возмутительное безобразие, — глядя прямо в глаза председателю, говорил Алексей Ивонин. — Об огороде вопрос на собрании колхозников надо поставить отдельно. Доклад сделает сам председатель, объяснит огородникам, почему замазывал их достижения, лишал дополнительной оплаты, и раз навсегда заверит, что это никогда не повторится. Так ли, товарищи?

— Я, все ж таки, председатель и стирать мой авторитет никто вам не позволит, — высокомерно заявил председатель.

— Нефед Степаныч, — мягко обратилась к нему Серафима Петровна, — пост председателя может вам уже казаться наследственным тронem. Нет, Нефед Степаныч, вас колхозники поставили и вы перед ними постоянно в ответе.

— Я понимаю тебя, Нефед Степаныч, — продолжал Алексей. — Я молод, ты — стар, тебе неприятно выслушивать от меня горькие истины, но здесь мы большевики и говорим, как равный с равным. В артельном труде ты надо мной старший, а в партийных делах я над тобой. И, вот, как секретарь партийной организации, говорю тебе, что ты сам поколебал свой авторитет до того, что колхозники твоим словам перестают верить. Мы постараемся поднять твой авторитет. Надо перед всеми признать свои ошибки и не повторять их. Это первое. Второе. Перестань ты, Нефед Степаныч, вилять душой перед государством...

— Это уж, товарищи, слишком, — возмущенно развел руками председатель, апеллируя к собранию.

— Не перебивайте, Нефед Степаныч, — обратилась к нему Серафима Петровна, руководившая собранием. — Алексей Лукич доскажет, и вы увидите, что никакого лишку тут нет.

— Да-а, вилять душой, — повторил Алексей. — В райкоме ты любишь сваливать все на колхозников, а среди колхозников — на райком. Ты всегда чист, никогда не виноват. Где твое отношение к такому, например, делу, как артельный огород. Принял план, выполняй, сам гори и людей зажги, а ты в сторонку встаешь: «район велел, не я — выполняйте». Так недостойно вести себя, Нефед Степаныч, ты же ведь член партии.

Лишку не оказалось, и Нефед Степаныч принял предложение секретаря партийной организации целиком.

Паша пришла с улицы строгая, задумчивая, Алексею показалось даже, что опечаленная. Он никогда еще не видел ее такой и встревоженно окинул взглядом. Среднего роста, стройная, полногрудая, с большими серыми глазами чуть на выкате, густой темнорусой косой, она показалась ему лучше, чем в первые дни возвращения его домой с фронта.

— Что ты, Пашенька, как будто закручинилась? — спросил он с нескрываемой нежностью в голосе.

— Твой друг Тихон Старостин вернулся, — как бы между прочим проговорила она.

— Так радоваться надо, а ты печалишься.

— Я не печалюсь, а сержусь, — резко молвила Паша.

— На кого же это?

Алексей крайне удивлен: кто мог вывести из терпения его жизнерадостную, ласковую, добросердечную жену.

— На Фиску... Путаная бабенка... Тихон лежал в лазарете, долго не писал, она решила, что его нет уже в живых, и ушла к Тимке Щедрикову. Убила бобра... Он против Тихона...

то сморчок, да и старше много ее... Теперь она бы к Тихону, а он не прощает... Два года у Щедрикова прожила, ребенок у них, девочка...

— Чем же ее это Тимофей очаровал?

— По характеру друг другу прищлись: своим приусадебным увлекаются, да базарами. Она из торговой семьи, у нее эта охотка, видно, от батюшки...

— Стало быть, Тихон не прощает?

— Не прощает... Ведет себя хорошо, сдержанно: не бранится, не упрекает... Просто знать ее не хочет...

— Он человек умный, зря не брякнет лишнего слова, — задумчиво проговорил Алексей. — Сынишка ведь у них был...

— Сына он к себе взял. Серафима Петровна говорит: правильно сделал...

— Конечно, он лучше воспитает, — согласился Алексей.

— Тебе надо навестить его... Может тяжело ему!..

— Непременно, — горячо отозвался Алексей. — Сколько лет мы не видались... Да еще такая личная заваруха у него...

Тихон Старостин был постарше Алексея Ивонина, но разность возрастов постепенно стерлась, и они много лет до войны дружили.

В избе Тихона Старостина сидели — Мирон Батманов, Василий Гарин, Никифор Наседкин, Наум Чаянов. Все они участвовали в боях, по нескольку раз были ранены и закончили войну кто в Бухаресте, кто в Праге, кто в Берлине.

О войне и западных странах они вынесли разные впечатления соответственно своим характерам.

Василий Гарин поэт в душе. Он знает все фронтовые песни, о войне рассказывает то, что связано с высоким подъемом боевого духа, что вызывает восхищение.

Никифор Наседкин — языковед. В чужих землях, оказывается, его интересовал прежде всего язык народа. В походах он познакомился с румынским и сербским языками и любил рассказывать, как та или иная вещь называется по-румынски и по-сербски.

Мирон Батманов — хозяин, подлинный человек земли. Из Румынии он привез несколько початков кукурузы, из Чехословакии семена какого-то малоизвестного гибрида.

Наума Чаянова на дорогах войны интересовали больше всего памятники, исторические места. Он постоянно копается в своих воспоминаниях, хранит в памяти рассказы отца, деда, сельские предания. Чаянов любит читать исторические книги, сопоставлять утверждения одного автора с другим. Когда друзья говорят о его начитанности, намекают на ученость, он отмахивается:

— Учил, учил, да кол и получил. Мое образование: два раза в кузнице был да три на мельнице. Эта образованность в нашем роду из века в век ведется. Мой дедушка имел дом-

особняк: четыре столба врыты да бороной покрыты. Был у него выездной рысак. Дед на нем скакать, а он воду лакать, дед его хлесь, а он говорит: слезь! Дед его раз, а он спрашивает, много ли вас. Коров-то было шесть и все в одну шерсть: корова бура да корова будет, да корова есть, да корову даст теть, да двух коров не устерегли от воров. Имелось четыре овцы: овца стоит да овца лежит, да овца на овцу глядит. Белья семь корчаг и все вверх дном торчат. Были у него часы анкер на пятнадцати камнях, а возил дед их на дровнях. Когда он их заводил, так пять раз вокруг села ходил...

Слушатели хохочут, а на лице Чайнова ни единой тени усмешки.

Погруженный в прошлое, он задумчив и угрюм:

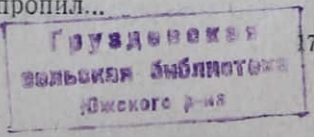
— Это сказка, а быль впереди, — продолжает Наум Чайнов. — Был этот мой богатейший дедушка, как и все мужики села Думина, помещицы Староносовой крепостной тяглец... А была эта помещица Староносова, по преданию, по обличию, как говорят за границей, мадонна, а по зубам — собака. Она так доняла думинских мужиков, что лопнуло их терпение и решили они ее прикончить. Но как это сделать? Думали, думали и обдумали. Главной горничной у барыни служила родная сестра моего дедушки — Капитолина. Вот дедушка и подговорил сестру на это дело и произвел точные расчеты, когда и каким способом все совершить. Пошла в субботу барыня в баню, а стояла эта баня в саду, в отдалении. Вошла она в предбанник, а горничная вдруг и говорит: — Ай, барыня, белье-то я и забыла. Барыня ее побранила, побила: беги скорее такая-сякая, неси... Та побежала, а мужики в это время к ней и шась!.. Мой дедушка передом шел и сразу за нее принялся, порезал немного и вдруг шепчет. — Не могу больше, мужики, страшно мне. Мужики говорят: — Не всем же руки марать, кончай. Мой дедушка послушался товарищей, прикончил и тут же вложил ножик в правую барынину ручку, которой она с утра до вечера хлестала всех по щекам. А ножик был барский, с ручкой из слоновой кости, его Капитолина достала с барского стола. На другой день нагрянуло начальство. Капитолину на допрос! Она говорит: — Меня барыня послала за деколоном, а сама в это время покончила с собой.

К кому ни приставали следователи, кого ни допытывали — никто не проговорился. Капитолину в город возили, в тюрьме полтора года держали, а она на своем стояла непоколебимо: «барыня меня послала за деколоном...» Наследники Староносовой велели хранить этот ножик в алтаре думинской церкви... Ручка, говорю, из слоновой кости и вся чистым золотом отделана... Хранился он в алтаре до восемнадцатого года. Тогда дьячок был шальный такой... Он, как почувствовал присутствие в церкви, так ножик-то и пропил...

1968. 14. 125. К



Тбилиси 9.



Выслушав рассказ Наума, все свертывают цыгарки и молчат.

— Скдлько наше Думино страданий и бед перенесло — начинает после продолжительного молчания Тихон Старостин, — веками добивалось своей доли, боролось с помещиками, потом с кулаками и пришло к артели, осуществило мечту. При Ефиме Васильевиче Горшкове, вот замечательный вожак был и человек большого сердца! дела артельные шли хорошо. Думино убедилось, что нашло то, чего искало... Сколько председателей после Горшкова сменилось? Этот, говорят, уже четвертый... Больше всех, говорят, набедил тут Тимка Щедриков. При нем все пошло неладно, неладно и неладно... Кому доверили! Это его, Щедрикова, вина не только перед колхозниками и государством, но и перед всей историей села Думина... перед нашими предками...

В избу вошел Алексей Ивонин, и разговор стих. Все пристально посмотрели на вошедшего и почему-то несколько смутились.

Тщательно выбритый, стройный, в офицерской шинели без погон, Алексей произвел впечатление. Все кроме Тихона Старостина были здесь пожилые, домой вернулись давно и отвыкли видеть офицеров. И в лице, и во взгляде, и в осанке Алексея чувствовалась уравновешенность, порядочность, достоинство и это располагало к нему.

— Вот и наш офицер! — проговорил Наум Чаянов, и в его голосе товарищи заметили нотку восхищения и мысленно согласились с ним.

Алексей окинул всех открытым веселым и приветливым взглядом и крепко от души пожал всем руки:

— Здорово, труженики войны! О чем толкуете?

— Наум вот нам историю преподает...

— Старину вспомнили...

— Судьбу нашего Думина обсуждаем...

— О колхозе разговариваем, — сказал последним Тихон Старостин, — интересуемся, почему он хилым стал. Воевали мы за родину, а на родине определено нам для жительства село Думино... И вот беседуем сейчас мы о том, как бы жизнь в нем наладить.

— Это очень просто сделать можно, — сказал Алексей, — я могу вам этот секрет открыть.

— Открой!.. Интересно...

— Ну, так и быть... Колхоз надо сделать сильным! Тогда и жизнь в Думине будет лучше.

— Это и есть секрет? — усмехнулся Никифор Наседкин.

— А какого тебе еще секрета? — строго посмотрел на него Мирон Батманов. — Чуда что ли ты ждешь? Не дождешься. Чудес, брат, говорят, не бывает. Алексей Лукич правильно нам говорит: от колхоза все идет, только он зажитком нас

может надеть. Вот наладим его и все у нас будет. Так ли, Алексей Лукич, я рассуждаю?

— Рассуждаешь ты совершенно правильно. То, что я сказал — каждому хорошо известно: колхоз будет богатым и мы будем богатыми. Надо только наладить его... За нами дело!

— Наладить-то мы в силах, — задумчиво проговорил Наум Чайнов, — только вот в председателях нам не везет. Хорошего бы руководителя нам, гору бы мы своротили! Алексей Лукич, а ведь много зависит в артельной жизни от председателя?

— Больше от колхозной общественности. Плохого председателя всегда прогнать можно. Я однажды спрашиваю Щедрикова...

— Щедрикова давно прогнали, а его наследье все еще дает себя знать — вот сколько значит председатель, — продолжая свою мысль, проговорил Наум.

— Да, в общем немало значит, — согласился с ним Алексей. — Так вот, я спрашиваю Щедрикова: давно ли колхоз слабеет стал? Он растерялся и говорит: надо быть с той поры, как меня председателем поставили. Да, говорю, это точно, все твердят, что с того времени. До сих пор я никак не пойму — каким образом он очутился на посту председателя? В Думине он всегда был на плохом счету, и колхозники не могли проникнуться уважением к нему. К тому же, как говорят думинцы, у него дыра в горсти, помногу он не хапал, а по мелочи тащил... У колхозника же, как только заметит нечистое отношение руководителя к общему делу, сразу же руки опускаются.

— А Нефед по-вашему, Алексей Лукич, как вы теперь человек с кругозором и партийный руководитель, и это, конечно, хорошо знаете, соответствует ли своему назначению? — спросил Наум Чайнов.

— На него, по-моему, можно надеяться... Прежде всего он мужик безупречно честный, знает хорошо сельское хозяйство... Недавно работает и опыт у него еще небольшой. До сих пор никто не помогал ему в работе, его только все приструнивали и он замкнулся в себя. Ему помочь надо не словом, а делом, приободрить его, и он всю душу отдаст, все силы положит...

— Он дельный, — перебил Алексея Мирон Батманов. — Из него выйдет хозяин, но только не особо твердо еще он себя чувствует.

— Не первый годок руководит, — мягко возразил Чайнов, — пора бы себя показать.

— Показать-то ему себя никак не удастся, — заговорил мягкосердечный Василий Гарин. — В колхозе до нас работали женщины, старики да ребяташки, а прошлый год засуха...

— Возьмись-ка ты сам, Алексей Лукич, за председательство, — неожиданно заявил Наум Чайнов.

— В этом пока нет никакой надобности, — сказал Алексей.

— Надобность есть, и большая — колхоз надо быстро налаживать, а мы бы за тобой ринулись в это дело, как солдаты за любимым командиром.

— Можно ринуться и сейчас. И надо ринуться! — горячо отвечал ему Алексей. — Нефед Степаныч может руководить, вы почему-то его недооцениваете... Ему можно верить, за ним можно идти. Нынче мы дружнее, напористее, по-фронтовому примемся, и Думино наше загремит.

— Агитни нас, агитни, а то мы тут стали как и все, — загорелся впечатлительный Василий Гарин.

— Мне еще не раз вас придется агитнуть, но я знаю, что и без этого вы — фронтовики хорошо сделаете все возможное...

Все чувствуют — дружеской беседе пришел естественный конец и расходятся по домам. Сначала уходит четверка пожилых.

— Умен наш Лукич! — сказал на улице Наум Чайнов своим приятелям.

— А что? — спросил Батманов.

— Неужто ты не понял меня. Я ему для пробы намекнул насчет председательства. Другой, который послабее головой, начал бы некать-мемекать, да прихаивать председателя, а он не позарился, а горой встал за Нефедю.

— Парень с головой, — отозвался Василий Гарин. — Соображает.

— Самостоятельный человек, — похвалил Никифор Наседкин.

— Парень хоть куда, — сказал Мирон Батманов. — Это, братцы мои, настоящая партия. Председателем его, конечно, хорошо бы...

— Да, неплохо бы, — согласился с ним Василий Гарин, — может быть из него второй Горшков вырос бы... Выдающийся был руководитель! У всех он в памяти. Как только разговор об артели зайдет, так сейчас же его добрым словом помянут... Как только его имя произнесут, так сейчас в душе хорошее чувство всколыхнется. По себе знаю.

...Тихон Старостин надевает шинель и отправляется прожогать Алексея.

На улице тишина. Изредка скрипнет колодезный журавель, еще реже послышится голос матери, окликающей своего ребенка.

Конец марта, но еще серо и холодно. Но там, вдали, где снежные поля сливаются с небом, чудится что-то волглое, теплое. Кажется вот-вот оно сдвинется с места, и март, усту-

пая место апрелю, разразится на прощанье большой оттепелью.

Дети, занимающиеся в вечерней смене, возвращаются из школы. Федя, раскинув руки, как неоперившийся птенец крылья, радостно кинулся к отцу.

— Что, маленький Старостин, — весь лучась теплой, искренне приветливой улыбкой, заговорил Алексей, — дождался отца?

— Дождался, — отвечает мальчик, еле переводя дух от чересчур стремительного бега.

— Рад?

— Ра-а-д...

— Ожил?

— Ожил, — отвечает за Федю отец: — стал поживей, повеселей. Беги, сынок, домой, я сейчас приду, будем обедать. Федя уходит.

— Жену простить ты не настроен? — спрашивает Алексей. Тихон принимает его вопрос настороженно:

— А что?

— Я просто по-дружески спрашиваю, тебе никто не может ничего предписать, это дело твоего сердца.

— Прощать не собираюсь... Я неспособен на это... Такой у меня характер... Женился я по ошибке, но никогда не решил бы с ней развестись... Война разрешила мою проблему... Вышло все само собой, и я чувствую сейчас облегчение в душе... Я ее мало любил, ну и она, видно, меня не больше того...

— В таком случае все ясно. А работать где собираешься?

— Нефед Степаныч приглашал бухгалтером в колхоз, на прежнее место. Очень просил — учет, говорит, запущен.

— Я рад, — говорит Алексей, — вместе будем стараться, я тоже неизбежно решил держаться артели. Ну, иди домой, корми сына, проголодался он...

Друзья крепко пожимают друг другу руки.

В эти дни Тихон радовался маленькими радостями домашней жизни, находил нечто очень приятное в тепле тихой избы, в серых мартовских сумерках, скудном, но по-своему ласковом свете десятилинной лампы, в книге, прочитанной еще в юности и теперь отысканной на чердаке. Самой большей радостью был сын, смысленный, ласковый мальчик, сильно привязавшийся к отцу с первого дня его возвращения. В часы досуга они подолгу толковали о всем близком их простым сердцам. В эти дни отдыха Тихон видел село глазами сына, — так много интересного рассказал ему мальчик.

— Садись обедать, — говорит отец.

Он собирается засветить лампу, но сын останавливает его:

— Погоди, пап, на столе все еще видно, посумерничаем, надо беречь керосин, его у нас немного.

Он еще мал, но где-то уже научился крестьянской бережливости. Наверно у соседей, мать не из бережливых.

— Давай беречь керосин, — усмехается отец, — богатыми станем. — Он собирает на стол: ставит хлеб, соль, кладет ложки, вилки, нож, потом несет блюдо шей, а Федя все говорит, все щебечет, как молодой воробей. Он переживает ту кипучую пору детства, когда окружающий мир кажется необъятным, наполненным интереснейшими вещами, явлениями, звуками. Сметливый ум Феди всюду ищет пищи. Мальчик приносит из школьной библиотеки книжки, журнальчики, долго рассматривает, читает их, пишет через редакцию письма пионерам между строк на листках из испсанной тетради и, свернув треугольничком, относит на почту:

— Пап, в журналы и на радио можно посылать без марки! — восхищенно говорит он.

— Ты, видно, экономный у меня будешь, — замечает отец.

— Вот, пап, отгадай: первое слово — цветок, второе — бывший татарский царь, прибавить надо к последней букве мягкий знак и получится название города.

— Ты ешь!.. Кушай — худ очень...

— Я и так ем. Не отгадаешь. Тут надо много думать, это уж после обеда.

— Я уж съел, а ты все только разговариваешь.

— Я ем... Но я не могу състоль съесть, сколько ты, у меня живот еще маленький. Вот еще одну... Прочитать наоборот название насекомого, прибавить букву «а», и получится название города на юге. Если после обеда будешь долго думать, и то не догадаешься. Я теперь сам умею такие загадки составлять.

Отец удивленно смотрит и видит: в сумеречном свете вдохновенно сияют глаза составителя сказок.

— Ешь побольше, а разговорами займемся после обеда. Ты такой худенький, что тебя ветром как-нибудь унесет.

— Не унесет, у нас такого ветра не бывает... Это вот в тундре... Пап, я пойду погуляю, а то у меня после обеда кровь к животу уходит и мозги вяло работают.

— Кто это тебе сказал?

— В школе узнал.

— Поди — побегай, уроки утром сделаешь.

— Я еще вечером успею...

Федя умчался на улицу, а Тихон, убрав со стола, долго, неподвижно сидел на лавке, думая о сыне, о будущей работе в колхозе, потом спохватился: «Что же я без огня в темноте сижу, неужели на меня Федюшка повлиял и я керосин берегу». Он проворно встал, засветил лампу, сел за книгу, но почитать ему не удалось — дверь кто-то отворил и встал у порога. Маленькая лампа освещала только передний угол,

свет не доходил и до середины избы, так что узнать вошедшего Тихон не мог, он только заметил, что вошел кто-то, судя по широкой тени и скрипу половиц, большой, тяжелой.

— Кто там? — спросил Тихон.

— Это я, — послышался протяжный, заискивающий голос, и на середину избы вышла Анфиса.

— Присесть-то не на что, — заговорила она, оглядываясь вокруг.

— Вот когда ты мне возвратишь стулья, тогда и будет на что присесть, — сухо проговорил Тихон. — Кстати сказать, ты мне возврати еще постельные принадлежности и кровать... мы ведь с Федюшкой на печи спим.

— Все будет на месте: наше нашим и останется, — напад на свой обычный веселый, беззаботный тон, неопределенно ответила Анфиса.

— Это как же понимать — «наше нашим останется»?

— Как было, — играя голосом и взглядом, выпалила Анфиса.

— Как же это было?

— Помнишь.

— Было да больше не будет, — резко осадил Тихон, но это не смутило ее.

— Один будешь жить? — насмешливо спросила она.

— Может быть и один.

— Не прожалеешь!

— Это уж дело мое, тебя не касается.

— Думаешь, что не простишь меня? — уверенная в себе, как бы поддразнивая, насмешливо спросила Анфиса.

— Не прошу! Мы, Старостины, себе и то прощать не умеем. Мой дедушка, будучи старостой в Думине, мирские деньги потерял и никак не мог себе простить это, с ума сошел и вскоре умер.

— Это он от жадности... А впрочем я и без прощенья приду и буду жить.

— Приходи и живи, а я уйду в другой дом.

— А я и туда приду...

— Что ты мне крутишь-вертишь. У тебя есть муж, ты его облюбовала, завела с ним дочь — вот и живи по-хорошему.

— Какой это муж...

— Куда же ты смотрела, когда выбирала?

— Время было такое... А ты там святой был.

— Святой! Зачем ты сюда пожаловала. Хочешь придти сюда жить?

— Не собираюсь... Мне просто вас с Федюшкой жалко, пойти, думаю, хоть прибраться...

— У нас, извини, почище, чем при тебе было.

— Ну уж и почище... Ишь пол какой. Я сейчас прямою.

— Не надо, — решительно воспротивился Тихон. — Я сам примую.

Наступило тягостное молчание. Анфиса, видя, что Тихон сильно не в духе, запахнула шубейку и безмолвно удалилась.

Вскоре вернулся Федя, и в избе пахнуло свежестью, тягостное настроение отца рассеялось, и он усмешливо спросил сына:

— Ну, где у тебя теперь крови больше?

— В голове.

— В голову загнал... Тогда садись — учи уроки.

Федя спокойно разложил на столе учебники, тетрадки. Любуясь сыном, отец заметил в его руках листки, исписанные знакомым почерком: такими мелкими, круглыми буквами писал покойный Ефим Васильевич Горшков.

— Где ты, Феденька, взял эти листочки? — спросил Тихон.

— Мне их дал для арифметики Валя Горшков.

— Так ведь они исписаны.

— Между строчками можно задачки решать.

— Покажи их мне!

Это были в самом деле записки Ефима Васильевича. Тихон вытащил из чемодана свой блокнот и отдал его Феде:

— Вот возьми и пиши.

— Насовсем? — обрадовался Федя.

— Насовсем! А эти листочки я себе возьму. Ты спроси Валью Горшкова завтра — нет ли у него еще таких листочков.

— Спрошу. А что они — интересные?

— Очень интересные. Это же записки его погибшего отца, а он был умный человек. Нам учиться бы надо у него... Если бы Валя был побольше да понимал кое-что, так он хранил бы их, как зеницу ока... Спроси его и завтра скажи мне...

Федя стал готовить уроки, а Тихон принялся разбирать записки, вчитываясь в каждое слово.

Ужинали они в этот вечер поздно, а потом еще долго разговаривали в постели. Федя похвалился, что умеет выдумывать сказки, и захотел рассказать хоть одну... Сказка вышла длинная, и отец не дождался конца, заснул.

На другой день утром Старостин пришел в правление. Нефед Степаныч с Алексеем Ивоными озабоченно разговаривали о семенах. Их, оказывается, по точному подсчету нехватит на всю площадь ярового клина.

— На работу вышел? — обрадовался председатель, увидев Тихона.

— Вышел на работу, сегодня буду принимать дела, а сейчас хочу показать вам кое-что...

Старостин осторожно вытащил из кармана листочки, бережно разложил их на столе и пояснил:

— Это записки Ефима Васильевича Горшкова. Нам всем полезно их прочитать.

— Любопытно, что он тут записал, — крайне заинтересовался Нефед Степаныч. — Мудрый был человек, ум имел светлый, сердце горячее и отзывчивое.

— Настоячивый, неутомимый был руководитель, — добавил Алексей и обратился к Старостину:

— А где ты их достал, эти записки?

Тихон рассказал и стал читать.

Ефим Васильевич за недосугом, видимо, записи вел от случая к случаю. Среди цифр, записей погоды и завершения работ попадались такие заметки и рассуждения:

«Ускоренно строим скотный двор. Заготовленного леса нехватало. Послал плотников сломать сарай Агафьи Стратилатовой. Они вернулись ни с чем — она не допустила. Пошел к ней сам. Агафья плачет и твердит: мой сарай. Эти постройки, говорю, у нас обобществлены, мы их имеем право употребить на артельное строительство.

— Почему, говорит, у справных мужиков не трогаете, а у меня — сироты — берете.

— У кого это у справных?

— Да вон хоть у Игната.

— Его сарай стар.

— А я чем виновата, что у меня новый.

Сломали игнатов сарай. Тогда и бабушка Стратилатова со своим рассталась, но слегла от расстройства в постель. Через несколько дней поднялась, но бродила, как хвора, только около своей избы, в поле не выходила. Потом поплелась узнавать, куда девали ее сарай, и увидела все свои бревна в стене скотного двора. Это ее вылечило. Она повеселела, поздоровела, стала работать еще лучше и все твердила: «Как увидела, что мой сарай в дело употреблен, так и не жаль мне стало его».

Так бережно надо обращаться с народным добром. На общее дело народ ничего не пожалеет».

— Святые слова, — задумчиво проговорил Нефед Степаныч.

— Поучительная история, — сказал Алексей. — Читай дальше! Замечательно! Я ведь эту историю тогда слышал, но не придавал ей никакого значения, а Ефим Васильевич всю глубину ее обмыслил. Читай!

«Капитон Дятлов пашет хуже и меньше всех. — Старостин читал внятно и громко. — Старается, суетится, а толку мало. Этой весной он променял цыгану самовольно колхозную лошадь, на которой пахал. Я приступил к нему: как ты посмел! Он простодушно смотрит на меня и одно твердит: «эта лучше той». Смотрит на меня и никак не может понять, за что же я его браню: он же выменял коня лучше того. Колхозники подтверждают, что верно — лучше и смеются:

— Ай да Капитон! Цыгана обманул.

— Обманывать, я говорю, мы никого не будем, мы не ба-рышники.

Цыгане все еще в нашем лесу стояли, и я велел эту ло-шадь отвести обратно, а свою взять. После Капитон выкинул второй номер: оставил коня, на котором пахал, в борозде, а сам исчез куда-то на полдня, появился только к вечеру.

— Где ты пропадал?

— А тут, говорит, мимо меня по дороге коров породистых вели на развод, я на них и поглядел.

— На гляденье, говорю, от силы десять минут ушло бы, а ты половину рабочего дня потерял...

— А я все шел и шел за ними, все глядел и глядел — уж очень хороши! Да сопровождающих выспрашивал, так и ушел нивесть куда, но зато все узнал. Эти коровы швицами назы-ваются, а доят вдвое и втрое больше наших. Вот бы нам та-ких-то завести!

Тут я и задумался. Другому мужику коровы ни к чему... Ведут коров, ну и пусть себе ведут, он и не оглянется даже, а Капитону они интересны. Он, как очарованный, глядит на швиц и незаметно для себя уходит за ними верст на пять. Стало быть, в нем горит страсть животновода. Этим мне Ка-питон понравился и я ему простил и мену лошади, и прогул. Вот пошлю его на курсы, а потом поставлю заведывать фер-мами, пусть раскроется его талант. Надо таким вот образом приглядываться и к другим людям колхоза и соответственно склонностям ставить на места. Колхозу надо много всяких талантов и надо уметь примечать в людях искорки разных способностей».

— Вот как Ефим Васильевич людей-то подбирал, — ска-зал Алексей. — Капитон так с тех пор и заведует у нас фер-мами. Каково на твой взгляд, Нефед Степаныч, он сейчас ра-ботает?

— Всю душу отдает. Я, говорит, животноводом родился, животноводом и умру... Наша ферма в районе на хорошем счету, только с кормами у нас бедно. Если бы вдоволь кор-мов, Капитон не так еще показал бы себя.

— Надо дать ему вдоволь! — сказал Алексей.

— Давайте стараться, — отозвался председатель.

«Первая бригада, — продолжал читать Тихон, — в тече-ние почти всей весны шла передовой, а подконец сдала и ее опередили все другие бригады. Я спрашиваю бригадира:

— Что у тебя произошло?

— Ничего не происходило, работаем, как и раньше.

— Нет, говорю, раньше вы лучше работали.

Ходил в бригаду, обследовал положение на месте. Ока-залось, что бригадир вспахал себе приусадебный участок. Тогда подступили к нему те, что побойчее, и потребовали се-бе лошадей для того же. Он не мог отказать. Когда бойкие

вспахали свои участки, раздались голоса остальных. Что делать бригадиру? Дать всем лошадей и оставить работу в поле. Нельзя. Он отказал. В результате в бригаде пререкания, недовольство бригадиром, заминка в работе и последнее место...

Каждый вожак — будь это бригадир или председатель — должен вести себя честно, осмотрительно. Покриви я хоть раз душой, оторви себе хоть маленький кусок от общего добра — и порвется связь между мной и колхозниками, исчезнет искренность в отношениях, пропадет у думинцев вся вера в меня, и будут они работать без радости, смотреть на будущее колхоза без уверенности. Не зря родилась уже поговорка: каков председатель, таков и колхоз. Председатель это самое лучшее, что может выделить из своей среды коллектив. Если ты не есть это «самое лучшее», уйди, не порть жизнь своим односельчанам, скажи, что они ошиблись, выделив тебя на этот пост. Они поставят другого, третьего, пятого, они в конце-концов найдут того человека, в котором сочеталось все самое лучшее, что есть в характере местного населения.

— Будто лично мне он письмо написал, — обронил погруженный в свои думы Нефед Степаныч.

— Грамотный и мыслящий был человек, — заметил Тихон Старостин.

— Да-а, много трудился и много, видать, думал, — согласился Алексей. — Читай дальше! Много ли осталось?

— Эх, мало, — вздохнул Старостин, — чуть-чуть...

— Жалко, что мало, — сказал Алексей. — Читай. Интересно, что там дальше, чему еще он нас поучит.

«Пришла ко мне бабушка Стратилатова, говорит, что льнотеребилка МТС на поворотах делала пропуски, оставила «вихорьки» льна. Бабка укоризненно качала головой, жалела, что пропадает частица общего добра. Она так мне через это понравилась, так пришлась по душе, что я долго с ней разговаривал от чистого сердца и подконец сказал:

— Все у нас теперь на уборке, послать на вихорьки некого... Ты вот что сделай: собери старушек и вытереби с ними.

Она так и сделала. Старушки натеребили на этих вихорьках пять тысяч снопиков льна. Вот так вихорьки! Бабку Стратилатову осенью за это обязательно премируем.

Надо выслушивать и выполнять советы колхозников. Они всюду и везде каждый день, они видят больше руководителя, а ума им не занимать стать».

— И это все очень справедливо, — молвил Нефед Степаныч, — надо прислушиваться, ценить.

— Не только прислушиваться, но и советовать, — перебил его Алексей, — не дожидаться, когда придут сюда... Не каждый придет со своим советом...

— Знаю не каждый...

— Слушайте дальше, — остановил их Старостин.

«Помню, на второй год после организации колхоза мы первый раз бороновали озимь. Вышла она из-под снега в неважном состоянии и нам предложили ее обязательно пробороновать и подкормить. До той поры этого не знали в Думине. Послали мы на озимь с боронами старых, самых опытных колхозников. Через час, примерно, приезжают они обратно растерянные, сердитые, недовольные.

— В чем, спрашиваю, дело? Почему вернулись?

— Всю озимь эдак-то загубишь, — отвечают они в один голос. — Зубья бороны ее задевают... Озимь у нас и так плоха, а тут остатнюю-то выдерешь.

— Так ведь это по совету науки... Борона, говорю, корку разбивает, что и дает растению простор жизни.

— Разбивать-то она, верно, разбивает, но и растению тогда сильно попадает...

— Ученые в книгах, говорю, так советуют.

— Мало ли чего там на бумаге придумают, — возражают мне старики. — Бумага одно, а поле — другое...

Я сам первый раз столкнулся с этим и не знал, как тут быть.

Немедленно послал в город за агрономом. Наш конюх на рысаке в тот же день доставил представителя науки в Думино.

Приехал агроном старый, ворчливый.

— Что здесь у вас бороны что ли какие особые? — не успев еще присесть, угрюмо спросил он.

Я подробно рассказал ему все. Он выслушал меня и хмуро заговорил:

— Новое хозяйство взялись строить, а науке не доверяете. Ничего без науки вы не постройте! Бу-у-мага!.. Книжки-то из чего? Из бумаги. Не научитесь книжки любить и понимать, ничему не научитесь. Сейчас же поедете в поле!

Те же колхозники поехали с боронами. Мы с агрономом отправились вслед за ними. Прибыли на озимь. Агроном приказывает колхозникам:

— Начинайте!

Начали они. Идут-идут за боронами, оглянутся назад, остановятся и застынут, как в столбняке, а мой агроном бежит от одного к другому и кричит:

— Не оглядывайся назад!

Как сейчас вижу: кулаки сжаты, на лице красные пятна выступили, бежит и кричит:

— Не оглядывайся назад!

Мне никогда не забыть тот случай. Чтобы вести колхоз вперед, чтобы дать рост новому, не надо оглядываться назад. И я часто говорю себе: не бойся, председатель, пробовать не-

радетеля, лодыря, как следует проборонуй, жизнь в колхозе тогда освежится, все хорошее лучше в рост пойдет».

— Вот это притча! — восхищенно проговорил Нефед Степаныч.

— Тогда это имело большое значение и посейчас оно ново, — сказал Алексей. — Совет Ефима Васильевича надо нам крепко запомнить!

— Не только запомнить, выполнять надо, — с несвойственной ему горячностью заговорил Нефед Степаныч. — Есть у нас такие, которые только числятся, прикрываются званием колхозника; огороды развели сверх всякой нормы, копаются там с утра до вечера, а в колхозе даже минимума трудодней не выполняют. Возьми заречную часть села, наше знаменитое Выгонцево: сенокос, жатва — они все в лесу, траву оттуда таскают. Месяцами, изо дня в день в лесах шуруют, а зимой сеном торгуют... А мы все оглядываемся...

— Кто это мы? — спросил Алексей. — Ты, видно, сам смотрел на них сквозь пальцы, оглядывался, наверно...

— Я конечно, в первую очередь виноват, — признался Нефед Степаныч. — Скрывать не буду — оглядывался. Подступишь к одному, он инвалидом сказывается, справку сует, другой кричит, что у него сын в городе, он, дескать, управу там найдет... Оглядывался... Признаюсь... Надо вот нынче по совету Ефима Васильевича с такими поступить, освежение внести.

— Непременно внесем! — сказал Алексей и кивнул Старостину: — Читай дальше.

— Только одна уже строчечка осталась, — с сожалением произнес Тихон.

— Жаль... Все бы и читал его... Ну, а что за строчка там? Старостин протяжно, торжественно прочитал: «Рожь в том году уродилась за-а-мечательная».

— И у нас уродится замечательная, если не оглядываться. Этот элемент не только никакой пользы артели не приносит, но и старательных, рачительных портит. Разные шедриковы и ныртиковы с тележками за травой поехали или на базар в рабочую пору покатали, а у хороших колхозников при виде этого руки опускаются.

— Ничего, Нефед Степаныч, не расстраивайся, нынче мы тебе поможем с ними управиться.

— Не могу спокойно даже думать о таких, Ефим Васильевич, как будто видел все это, о чем я говорю, когда писал.

— Надо все его записки разыскать, — сказал Старостин. — Он, видать, в них весь свой опыт заносил.

Нефед Степаныч шел в Терехово и думал: «Приветит ли меня тереховский мудрец. Ведь он теперь величина! В районном городе его все в лицо знают. Когда он проезжает куда-нибудь по деревням на своем любимом орловском рысаке,

колхозники говорят: «Тереховский председатель едет!» Секретарь райкома обращается с ним, как с отцом. Портреты с него много раз в газетах печатали, а теперь вон в сельскохозяйственном календаре поместили. Пятнадцать лет на председательском месте — это великая заслуга!».

Зима долго спорила с весной. Теплые ветры сменялись злыми метелями, оттепели морозами.

Только сегодня заметно стало теплеть. Облака ходили низко, дул порывистый ветер. Снег синел, оседал, в низких местах выступила вода, но дорога еще держалась крепко, хотя сверху и сильно оттаяла.

Нефед Степаныч шел в Терехово в праздничном зимнем пальто с воротником, в чесанках с новыми калошами. Ветер дул ему в левый бок, да так напористо, что зазвенело в левом, подветренном ухе. «Вот надоел», — сказал Нефед Степаныч и загородил ухо воротником.

Синеватые снега, серое низкое небо с лохмами быстро плывущих облаков, и на коричневой, унавоженной дороге одинокий путник в блестящих калошах.

Вдали простиралась большая, круглая равнина, со всех сторон окруженная лесами. Только в одном месте лес прерывался, образуя как бы окно, обращенное к селу Думину. В это окно Нефед Степаныч сейчас и смотрел на Терехово. Поставив, он отогнул воротник, приосанился и решительно направился в Терехово.

Тереховский председатель находился в правлении за своим столом и разговаривал с колхозником. Он приветливо кивнул Нефеду Степанычу, сказал: присядь! и стал опять слушать колхозника, который жаловался на бригадира. Нефед Степаныч прислушался. Интересно, как тереховский председатель обходится с людьми!

— Стало быть, бригадир виноват? — выслушав колхозника, спросил председатель и уставился на него насмешливым взглядом.

Колхозник смутился:

— Я не говорю, что он виноват...

— Стало быть, ты виноват?

— И я не виноват...

— Стало быть, виноватых тут нет?

— Нет...

— Очень хорошо. Почему же ты жалуешься на бригадира? Он посылал тебя на станцию за минеральными удобрениями, а ты отказался, заявив, что устал и хочешь отдохнуть. Он тебе сказал: «тогда отдохни!» и послал другого. Так дело происходило? Так. Я знаю. И теперь ты отдыхаешь!

— Хватит — отдохнул.

— Хватит ли? Если хватит, принимайся вплотную и от нарядов бригадира не отказывайся.

Тереховский председатель повернулся к Нефеду Степанычу, но колхозник все еще стоял у стола:

— Мне бы, Вениамин Андроныч, от вас записочку, что, мол, с сего числа наряжать его на работу...

— Зачем же записочку. Я каждый день вашего бригадира раз пять вижу. Я скажу ему!

— Записочку-то бы лучше...

— Ни-и-каких записок.

— Хитренький мужичок, — сказал Вениамин Андроныч, когда колхозник скрылся за дверью.

— Ленился? — спросил Нефед Степаныч.

— Старается трудодни заработать там, где полегче и почище...

— Вон вы как живете, — проговорил Нефед Степаныч, — отдыхать посылаете, а мы, наоборот, на работу зазываем.

— У вас другое положение, — перебил его Вениамин Андроныч. — У вас так разговор вести нельзя. У нас рвутся на работу, просят нарядов. У нас самое большое наказание это: «отдохни». Будет у вас большой трудодень, тогда и ты можешь так разговаривать, а мне пока не подражай.

— Да, придется подождать, — усмехнулся Нефед Степаныч и неожиданно спросил: — А зачем записочка-то? Ему, я заметил, так хотелось получить ее.

— Не понял ты его, а я хорошо понял. Чтобы бригадира уткнуть: вот, мол, тебе предписание от председателя, а я с тобой и разговаривать не хочу. И выйдет тогда, что он верх над бригадиром взял. Надо ведь тонко людей понимать. Артельная дисциплина не только в том, что на работу аккуратно выходят... Вот этот колхозник не хочет обратиться к бригадиру, не хочет считаться с ним, а это уже непорядок. Завтра пойду в бригаду и разберусь на месте. На бригадном собрании поведение этого колхозника обсудим. Ни одной мелочи нельзя оставлять без внимания! Только тогда в артели будет порядок.

Вениамин Андроныч помолчал и вдруг прямо и просто спросил:

— Ты ко мне с нуждой какой-нибудь?

— С нуждой, Вениамин Андроныч, семян пшеницы не хватает!

— Знаю: трудное у вас положение. Ефим Васильич Горшков налаживал-налаживал, а Щедриков все развалил. Теперь тебе, ненаглядный мой, надо налаживать. Семян нехватает? Это плохо. Но с пшеницей ничего не выйдет. Я не люблю вилить, говорю прямо. У нас колхоз семеноводческий и каждый пуд элиты на строгом учете.

Вениамин Андроныч замолк и посмотрел на думинского председателя.

Нефед Степаныч сумел сохранить невозмутимое спокойст-

вне, несмотря на неприятный оборот дела. Ни разочарования, ни обиды на его лице тереховский председатель не заметил и подумал: «А за семенами ли он приехал. Может хитрит. То же, видать, себе на уме».

— Ну, не выйдет, так не выйдет, — вздохнул Нефед Степаныч. — У меня еще одно дело к тебе есть: хочется поглядеть ваше хозяйство, поучиться, перенять хорошее и применить, насколько позволят наши условия...

— Что можно, то можно, — с готовностью отозвался Вениамин Андроныч, вышел из-за стола и стал одеваться.

Движения и голос его были плавны, покойны, уверенны, как у человека уважаемого и заслуженного. Ему было под шестьдесят, но он никогда не забывал побриться и выглядел молодежлив. Годы его выдавала только огромная лысина, но Вениамин Андроныч тщательно скрывал ее: зимой шапку, а летом кепку он не снимал даже в правлении. Колхозники знали за ним эту слабость, но не осуждали — разве плохо, что их председатель не хочет выглядеть старым. Его умение руководить, его заслуги они ценили очень высоко и готовы были душу отдать за своего председателя. Скотные дворы полны скота, сарай кормов, в самые трудные, неурожайные годы он не выдавал меньше двух килограммов на трудодень.

Вениамин Андроныч любил задушевные разговоры и слово «ненаглядный».

— Вениамин Андроныч, рожь нынче какая! — говорили ему.

— Ненаглядная, — отзывался он.

— Вениамин Андроныч, посмотри — жеребеночек-то!

— Ненаглядный, — восхищался председатель.

— Вениамин Андроныч, хороша эта телочка... Замечательная корова из нее выйдет. Рекордисткой ее можно бы воспитать.

— Ненаглядная будет корова.

У него очень теплая, чуткая, отзывчивая душа, но пре-краснодушным назвать его нельзя. Он умел беспредельно любить и люто ненавидеть. Нерадивые колхозники боялись его, и потому в Терехове не было таких, которые только числились в колхозе или с грехом пополам выполняли только минимум трудодней. Здесь или работали от всей души или выкатывались из колхоза. Пробавляться кое-какими работками, сохраняя звание колхозника, в Терехове было немислимо. Старательных же, безотказных, честных председатель почитал и обращался с ними с особой сердечностью. Если человек ему нравился, то Вениамин Андроныч беседовал с ним задушевно и говорил ему «ненаглядный ты мой». Среди бригадиров и звеньевых слышалось:

— Ну, что председатель?

— Доволен. Ненаглядным меня называл.

И это было общей радостью в звене или в бригаде.

— Пойдем сначала новопкупку покажу, — сказал Вениамин Андронич думинскому председателю.

Он провел гостя в соседнюю комнату, где помещалась хата-лаборатория, и вытащил крошечный ключик из жилетного кармана.

В обширной комнате, пышно украшенной многочисленными похвальными грамотами, плакатами и листовками, по стенам рядами шли полки с мешочками, банками и склянками, а у самого светлого окна стояло новенькое пианино.

— Для чего, Вениамин Андронич, ты его приобрел? — спросил думинский председатель. Тереховский отпер инструмент, поднял крышку, осторожно коснулся пальцем клавиша и прислушался.

— Думаешь для похвальбы? Не-ет. Тут к нам в семилетку молодая учительница приехала... Историю преподает, но и музыку хорошо знает. Что, думаю, ее умению тут пропадать, пусть его нашим колхозникам передает. Вот мы и купили. Есть способные, хорошо перенимают, особенно подросточки. Слушаешь иного и чувствуешь, что в нем какая-то особенная жилка бьется.

— В колхозный клуб эту машину надо, а здесь она, наверно, мешает, звук-то у нее громкий...

— Нет, я люблю. Слушаешь, а на душе теплится, теплится... Вещь нежная, ценная, а в клубе ее живым манером общарпают. Даже сюда ходили разные брякачи: сидит стучает, а слуха ни шиша... Идите, говорю, в кузницу, там по наковальне молотком лучше у вас выйдет. Не обижайтесь. Один из вас уголком портсигара по клавишам стучал? Стучал. А чем портсигар лучше молотка. Учительнице я говорю: зачем вы таким ключ от пианины даете? Они, говорит, просят, а я отказать не могу. — Давайте, говорю, мне, я сумею отказать, стану отпирать только тем, у кого жилка бьется...

Вениамин Андронич осторожно запер пианино и вышел на улицу.

Он показал думинскому председателю конный двор, свинарник, овчарню, молочно-товарную ферму. Он ничем не кичился, не говорил, что вот, мол, на это обрати внимание, это у нас хорошо, он только водил, показывал и отвечал на вопросы. Всюду чистота, порядок, тереховские коровы доили больше думинских, но приплод на всех фермах был меньше...

Нефед Степаныч нашел нужным отозваться с восхищением, полагая, что хозяину похвала придется по душе:

— Очень здорово дело поставлено!

Вениамин Андронич поморщился и махнул рукой:

— Все это не то, что мне нужно! Сколько мы кормов заготавливаем... Можно бы греметь по всему Союзу!.. Мой Параккин старается, но хватать с неба звезды ему не положено... Мне бы вашего Капитона Дятлова! Добывайте больше кор-

мов, и ваш Капитон перешибет нас, в один год на первое место в районе выйдет. Это же талантище!.. Я его хорошо знаю, много раз встречался с ним. Он каждое животное душой понимает — природный дар... Если вы ему не создадите всех условий, я подговорю его и в одну ночь с домом и со всей домашней живностью перетащу в Терехово, — пригрозил Вениамин Андронич. — Тогда увидите, что вы имели, но ценить не могли.

— Неужели у вас во всем Терехове такого Капитона не найдется? — удивился Нефед Степаныч.

— Вот нашли Парахина, а у него, видно, не все жилки играют, дело поставлено чистенько, гладенько, а без радости, как в семье без любви.

Соседи-председатели шли теперь к реке.

— В той стороне у нас парники, а поодаль рыбное хозяйство... Это приходи смотреть в мае, а пока там ничего еще не ожило.

Осмотрели новую электростанцию.

— Люблю я здесь побывать, почти каждый день захожу, в душе торжество чувствую. Диво-дивное в полях... Наука! Ленинская забота! Вот она и у нас сияет. Цены нет этому домику, — кивнул он на электростанцию. — Освещает всю деревню, молотит, вертит жорнов, лес пилит... Века текла река без пользы, а теперь мы заставили служить. Наша река к вам проходит, поставьте и вы на ней станцию, она вам жизнь облегчит и украсит. Денег взаймы дам, лошадей на подвозку, если своих нехватка...

— Нам обязательно надо такую же, не откажи, если в чем нужда будет!

— Не откажу... Я люблю, чтобы не только у меня, а у всех хорошо было! И колхозников так воспитываю.

Нефед Степаныч увидел вдали вереницу подвод с бочками и спросил:

— Горючее завозят?

Вениамин Андронич усмехнулся, но, подумав, ответил серьезно:

— Пожалуй, что так... Для земли это — горючее... Торфа мы много в землю кладем, а он один долго действия не оказывает, а вот если его полить, быстро скажется. Это наши из города фекалию возят, тереховскую-то давно всю подчистили.

— И много вывезти наметили?

— Точно не могу сказать; это уж у нас сами звенья стараются.

— Звенья. Са-ами?..

— Да, сами... Им интересно получше удобрить, хороший урожай собрать, побольше получить. Ты сколько звеньев у себя нынче создал?

нул дождь, разом потеплело. Утром в полях белел туман, а по косогорам, логам и оврагам неслись яркие, бесноватые ручьи. Дорога во многих местах стаяла, в остальных разрушилась, лошади шли медленно, натужно вытягиваясь, тяжело поводили боками.

— До чего ж правильно про это время говорится: что ни на саях, ни на колесах, — рассуждал Мирон. — Хорошо мы сделали, что на телегах пустились в путь, а то бы совсем беда...

Он был мужик задумчивый, смиренный, но толковый, и сейчас зорко смотрел и выбирал, где повыше место, где потверже земля, чтобы лучше проехать. Копыта коней глубоко уходили в водянистую землю, под колесами она расплывалась.

«Хорошо, что вечером не поехали, — подумала Паша, — пришлось бы под дождем ночь коротать.»

В полдень они подъехали к речке Любице. Мирон глянул, шумно вздохнул и недовольно проворчал:

— Вот так батман — десять фунтов.

Это присловье любил еще его дедушка, оно засело в роду, дошло до Мирона. От дедушкина присловья и фамилия им пришла — Батмановы.

Паша взглянула на реку, и ее свежее, обветренное лицо помучнело, но она скрыла волнение и заговорила со своим помятневшим спутником с весельем в голосе:

— Она хоть и Любица, но нам сегодня не особенно любит-ся... Что же мы теперь будем делать, Мирон Карпыч?

— Вот что хочешь, то и делай, — неопределенно ответил Мирон. Он глядел на реку и напряженно думал.

Летом Любица неприметно струилась меж крутых бережков, осененных густолиственными ветлами, никакого беспокойства не доставляла. Через нее здесь был перекинут новенький горбатый мостик, и в обычное время никто не задумывался тут о переправе. Сегодня же Любица вышла из крутых берегов, широко разлилась, шумела. По обеим сторонам горбато моста плескался бурный разлив.

— Мирон Карпыч, не переждем! — прямо решила сказать Паша.

— Знамо, не переждем, — согласился Мирон, — а если и переждем, то все зерно выкупаем, а это уже будут не семена.

— За народом что ли в Думино итти? — спросила Паша.

— Народ звать, все равно в воду надо лезть, — задумчиво проговорил Мирон. — Итти далеко, пока ходишь, разлив еще больше будет: вода все прибывает и прибывает... Ну, скажем, придет народ, лодок у нас нет, все равно с мешками на плечах придется плавать...

— Тогда давай лагерем вставать, — горько усмехнулась Паша. — Будем дожидаться конца половодья.

— Дождаться мы не станем... Дождаться нам не рука,

— медленно говорил Мирон, снимая с себя когда-то оранжевый, а теперь во многих местах черный засаленный, армейского образца полушубок.

В голосе его звучали какие-то новые нотки. Взгляд посувел, лицо потемнело. Паша с изумлением посмотрела на него, и ей стало не по себе.

— Отойди на минутку! — требовательно бросил ей Мирон.

— Что ты хочешь делать? — обеспокоенно спросила Паша.

— Отойди, говорю!

Это было сказано так по-мужски властно, что Паша повернулась и быстро пошла в поле, не оглядываясь.

Ей показалось, что она шла очень долго, хотелось обернуться, глянуть, узнать, что делает Мирон, но внутренний голос говорил: рано, рано...

Наконец женское любопытство победило, она обернулась и увидела: Мирон, раздевшись до белья, босой, но в шапке, перетаскивал мешки на другой берег. Вода в некоторых местах доходила ему до пояса и тут он пробирался медленно, осторожно, напрягая все силы. Он работал напряженно, старался двигаться быстрее, чтобы не застыть.

Перетаскав мешки, Мирон скрылся за телегой, сбросил с себя мокрое белье, одел сухую верхнюю рубаху, штаны, полушубок, сел в пустую телегу и завернул ноги в полы. Махнул рукой Паше, чтобы шла к подводам. Паша живо подлетела. Он сказал ей:

— Скинь сапоги, а то воды через голенища нальется... Пусть ноги позябнут пять минут, чем потом им несколько часов холодать.

«Так вот почему он раздевался, — подумала Паша, разуваясь, — голый, конечно, назябся, но зато теперь в сухой одежде отогревается.»

Мирон связал сапоги за ушки, перекинул их через плечо, встал на телегу, крепко взял в руки вожжи и тронул коня. За ним последовала на своей подводе и Паша, в точности проделав все, как он.

На другой стороне реки они обулись и принялись быстро нагружать телеги, чтобы скорее нагреться.

— Вот теперь хорошо, — сказал Мирон. — Нагрелся. Теперь мы доберемся. Впереди уже никакая Любича в нас не влюбитя, — перефразировал он слова Паши и засмеялся довольный тем, что сказал так ладно. — Впереди чистое поле, рек нет...

Тронулись. Мирон шел возле первой подводы, Паша позади, возле своей.

В Думине их встретил Нефед Степаных:

— Что вы запропали? Мы уже собирались вас разыскивать. Почему вчера не вернулись?

— Пропутались долго с обменом, затемняли. — виновато проговорил Мирон, — а в ночь ехать я не решился.

Паша подумала: вот сейчас Мирон расскажет о переправе через Любичу, но он даже не упомянул об этом. Заметив около себя Пашу, Батманов сказал ей мягко и ласково, как послушному ребенку:

— Беги живей домой, Алеша-то, наверно, беспокоится, а зерно и лошадей я один здесь сдам!

Паша поблагодарила его и поспешила домой.

* * *

На той же неделе состоялось собрание Думинской первичной партийной организации. Обсуждали вопрос о звеньях и раздельной оплате труда.

После посещения Терехова Нефед Степаныч горячо ратовал за звенья и предложил организовать три полевых и два огородных. Несогласных с ним не было.

— Хорошо, что наш председатель берется за организацию звеньев всерьез, но приступает, на мой взгляд, несмело, — заговорил Алексей Ивонин: — почему только три в поле и два на огороде. Для избранных. А может все захотят в звеньях работать. Сколько уже лет мы в некоторых колхозах любимся такой картиной: на двух-трех участках высокой урожайности зреет хороший хлеб, а на основных полях так себе рожка, пшеничка и овесик... Звеньям дали получше семян, побольше удобрений, поставили старательных людей, они, мол, покажут, как надо выращивать высокие урожаи, а их примеру последуют потом и все остальные... Но когда же придет это «потом». Раз показали, другой показали, пора и на массивы переходить. Короче говоря, я предлагаю всю площадь, все культуры закрепить за звеньями! Колхоз у нас небольшой, пашни не тысячи гектаров, осуществить это нетрудно, людей у нас хватит, меньше работать звеньями наживем!

— Нехватит руководителей, — заметил Нефед Степаныч. — На звенья надо ставить первейших мастеров.

— Найдем! — уверенно ответил секретарь партийной организации. — Я, может быть, и не первейший мастер, но первым возьмусь вести звено. Петр Авдееч Долотов, я полагаю, охотно возьмется.

Алексей посмотрел на жену:

— Павла Сергеевна Ивонина, пожалуй, сможет. Наум Чайнов! Для молодежного звена ты сам толковую девушку подберешь: задумал организовать его, доводи дело до конца.

— Если ты и все поименованные налягут, тогда должно выйти, — отозвался председатель. — Мне куда интереснее получить, скажем, сам-десять со всех полей, а не только с отдельных участков. Чего лучше!

— Ивонин! Алеш!.. Ты одного звеньевого забыл, — решила напомнить Алексею жена.

— Кого?

— Мирона Батманова.

— И звеньевых, и людей в звенья подберет правление, а поэтому я не старался называть всех... А Батманову обязательно надо дать звено. Пусть он не только на своем огороде, но и на колхозном поле вырастит два урожая картошки! Нефед Степаныч, он тебе ничего не говорил о переправе через Любицу? Он — скромный, сам не скажет. Я недавно напомнил ему, а он говорит: «Э-э, подумаешь какой подвиг... На фронте через реки мы пушки перетаскивали, на досках переплывали».

— А в чем тут дело? — заинтересовался Нефед Степаныч.

— Паша, ты с ним в Чапаевский ездила, расскажи-ка!

Паша рассказала.

— Мирон и здесь показал себя фронтовиком, — заключила ее рассказ Серафима Петровна.

— Что ж, это именно сделано по-фронтовому, — подтвердил Алексей. — Он показал колхозное отношение к колхозному добру. Его поступок заслуживает внимания. Мирону надо благодарности вынести! Теперь каждый хороший и каждый плохой поступок будем обсуждать во всех бригадах и звеньях и на этом воспитывать людей. Кроме того, в ближайшие дни нам нужно широко разъяснить положение о раздельной оплате труда. Колхозники должны твердо знать порядок оплаты труда в звеньях.

* * *

Вторая половина апреля. Снега дружно тают. Из окна видны белые круги и полосы снега, серые лужи, бурые бугры оттаявшей земли. Весна идет ярая, с теплым ветром и горячим солнцем. Вот-вот подспеют дни сева. Колхозники ожились. Они то и дело заходят в правление и вступают в разговоры. У всех одно на уме: весна, сев.

Нефед Степаныч подзывает к себе Олю Резцову, непоседливую, говорливую девушку.

— Я, кажется, не мешаю, Нефед Степаныч... Я тихонечко разговариваю с тетей Дашей, Нефед Степаныч...

— Я не о том... Ты присядь, выслушай меня!

— Я не устала, Нефед Степаныч... Мне надо итти, Нефед Степаныч...

— Не торопись, поспеешь... У меня есть тебе задание: сходи — погляди, сошел ли снег на Русаковом поле!

Оля присела на краешек стула, но через минуту была уже на ногах.

— Ладно, хорошо, Нефед Степаныч... Я одной минутой!..

Оля исчезла. На лестнице слышались ее частые-частые шаги, будто там рассыпали картошку.

— Ровно пролитая ртуть, — сказал о ней председателю Тихон Старостин. — Сейчас же здесь опять будет. Проворная!

Минуло полчаса, прошел час — Оля не возвращалась. Прошел весь день — в правление она не появилась.

— Ты угадал — проворная девка, — сказал вечером Тихону председатель. Старостин покачал головой:

— Да-а, это называется одной минутой.

Вечером председатель увидел в избе-читальне знакомую юркую фигурку. Он решил поговорить с Олей, но она мелькала то тут, то там. Наконец, он поймал ее взгляд и пальцем поманил к себе.

Оля живо подпорхнула к нему:

— Что, Нефед Степаныч?

— Помнишь, о чем мы сегодня с тобой разговаривали?

Она вспомнила, всплеснула руками и сокрушенно опустила голову. Получилось это у нее трогательно и красиво. Но сокрушалась она недолго, живо встрепенулась и устремилась к выходу.

Председатель удержал ее за рукав:

— Куда ты? На улице тьма-тмущая, забредешь в канаву, утонешь...

— Тогда я завтра раным-ранехонько сбегаю, Нефед Степаныч, скажу маме, чтобы она меня разбудила чуть свет...

— Не надо, Оленька, я уже узнал... Только запомни, пожалуйста, все во-время исполнять следует, ничего не забывать.

— Я из-за того забыла, Нефед Степаныч, что мне библиотекарша встретила. «Молодая гвардия», говорит, есть... Я, говорю, давно у тебя просила. Вот, говорит, я тебе и припасла... Я скорей и пошла с ней... Взяла, села, стала читать и не помню, как время прошло, а тут меня на репетицию позвали.

На другой день председатель вызвал плотную, розовощекую Груню Мягкову и попросил ее сходить — поглядеть, стоял ли снег на Русаковом поле.

Она медленно поднялась со стула, прошла, пошла, остановилась у плаката, долго рассматривала его, нашла в кармане горошину и с удовольствием разжевала. Ушла она так медленно и тихо, что ни одна ступенька на лестнице не скрипнула.

— Ей полдня на такой поход потребуется, — заметил Тихон Старостин.

— Пожалуй, — согласился Нефед Степаныч.

К их удивлению, Груня вернулась очень скоро.

— Стаял весь подчистую, только кое-где во впадинках остался, — медленно и певуче проговорила она сильным, грудным голосом, тяжело опустившись на стул.

— Ты уж очень скоро обернула! — подивился председатель. — Неужели успела туда сходить.

— Не успела, — не краснея, призналась Груня.

— Как же ты узнала, что стаял?

— Я вышла отсюда — вижу дедушка Колесов быка распрягает, с маслозавода вернулся, а дорога мимо Русакова поля проходит. Я, говорю, дедушка, на Русаковом поле снег есть или нет? «А тебе куда тамошний снег понадобился?» «Председатель послал, не знаю, зачем ему...» «Скажи, говорит, председателю, что стаял весь подчистую, только во впадинках остался».

— Не подчистую, значит, раз во впадинках остался, — приценился Нефед Степаныч.

— Я не знаю, так дедушка Колесов сказал.

— Ну, хорошо, Груня, спасибо. Иди. Все.

Нефед Степаныч послал за Таней Буковой.

Высокая, статная, но тихая и скромная, держалась она как-то в тени и ничем среди подруг не выделялась; голосом, как Груня Мягкова, не славилась, вприсядку, как Оля Резцова, отплясывать не умела. Любила посидеть за шитьем, за вышивками, в подругах была разборчива. Сверстницы считали ее гордячкой, домоседкой, казалось, недолюбливали, но очень бывали довольны те из них, кого она избирала себе в подруги.

Таня Букова подошла к столу, и на красивом выразительном лице ее заиграл румянец смущения. Нефед Степаныч взглянул ей в глаза и сам почувствовал себя несколько смущенным. Чистотой, свежестью, порядочностью и тонкой, еле уловимой девической строгостью веяло от нее. Нефед Степаныч привык обращаться со всеми колхозниками на ты, но сейчас он заговорил по-другому:

— Присаживайтесь, Таня.

Девушка придирчиво осмотрела сиденье, углядела на нем соринку и смахнула ее... Потом переставила стул так, чтобы сидеть не боком к председателю, а лицом к лицу, и только после этого села.

Она была тщательно одета, застегнута на все пуговицы. Обращала на себя внимание ее одежда, сшитая мастерски, безукоризненно, аккуратно.

— Кто это на вас шьет? — заинтересовался Тихон Старостин.

— А что, Тихон Матвейч?

— Не сшито, а слито, как говорят... Чисто сделано! Рукава, воротник — все подогнано точнее быть нельзя.

— Сама яшила, Тихон Матвейч.

— Неужели? Хорошо...

— Можно бы получше, да времени нет...

— Неужели можно сделать еще лучше?

— Конечно... То, что сделано хорошо, можно сделать еще лучше.

Председатель говорил о Русаковом поле. Таня слушала его спокойно, внимательно, смотрела прямо в глаза. Выслушав, она отвела свой взгляд, посмотрела в сторону, и в ее серовато-голубых глазах мелькнул лукавый огонек, а улыбка, затаившаяся в уголках губ, говорила: «хитрость-то ваша, Нефед Степаныч, нехитрая».

Таня легко поднялась, поставила на место стул и чуть-чуть кивнула:

— Впрочем, сегодня еще увидимся...

— Да, я долго буду здесь, — ответил председатель.

Она была крупнее, красивее, несомненно, умнее тех девушек, а ее сдержанная, плавная походка обещала стать величавой.

Нефед Степаныч задумался, встал, подошел к окну, чтобы посмотреть ей вслед, но на дороге к Русакову полю ее не увидел. «Может на лестнице с кем-нибудь заговорила», — подумал он и решил выглянуть за дверь. Проходя мимо окон в другой стене, он увидел Таню и остановился, не веря своим глазам: девушка спокойно направлялась домой. Нефеду Степанычу припомнилась ее лукавая улыбка, и он обиженно подумал: «Она сочла меня за чудака и с легким сердцем отправилась домой. Глупо, конечно, посылать на Русаково поле смотреть, есть ли там снег, когда кругом почти все растаяло. К чему все я затеял... Соломон какой нашелся! Вместо того, чтобы попросту приглядеться, испытание устроил. Вон самая умная плюнула на мое указание и пошла домой. Может за свои вышивки уже села... Это, конечно, почище, чем грязь мести по весенней дороге».

Он сел за стол, взялся за бумаги, но мысли его кружились вокруг поступка Тани Буковой, и чем больше он думал об этом, тем сильнее страдало его самолюбие.

«Представилась такой умной, внимательной и на вот тебе — отнеслась к заданию хуже всех, — раздраженно думал Нефед Степаныч, — из себя вывела, испортила настроение. Не-ет, это так оставить нельзя!».

— Никита Матвееч! — крикнул он сторожу, — сходи еще разок за Буковой, пусть она придет сюда.

Сторож накинул на плечи ватную тужурку и засеменял негнущимися ревматическими ногами на улицу.

Он вернулся скоро и доложил, что молодой Буковой дома нет.

Помедля немного, он добавил:

— Так что ушла гулять.

— Ты знаешь, что она ушла гулять или только предполагаешь.

— Так что предполагаю.

Он был из старых солдат, на плечах Нефед Степаныча видел погоны старшины по возвращении его с фронта, проникся к нему уважением и теперь в служебных отношениях испытывал перед ним сладкий трепет подчинения.

— Ты, Никита Матвенч, ведь, кажется, старый служака? — продолжал Нефед Степаныч.

— Так точно — служил и воевал неоднократно-о!

— Ты должен еще помнить, что солдат, посланный в разведку, не предполагает, а узнает.

— Так точно — узнает... Прикажете узнать, гуляет ли?..

— Не прикажу... Пусть гуляет, побережем твои старые ноги, иди отдыхай.

— Никак я не пойму, для чего ты, Нефед Степаныч, девушек-то экзаменуешь, — сказал Тихон Старостин.

— Тебе невесту выбираю. Смотр произвожу.

— Нет, серьезно, Нефед Степаныч, скажи, что ты затеял?

— Молодежное звено организую... Руководительницу подбираю такую, чтобы умная была, заботливая, к земле прилежная... Вон, сказывают, в Терехове молодежным-то руководит девушка так девушка... Никому первенства не уступает! Если, говорят, ее звено в каком-нибудь деле отставать начнет, так она того гляди топиться побежит.

— Ты скажешь — то-опиться...

— Ну, если не топиться, так сама не своя становится... Добьется своего, выйдет вперед. По ее звену все другие равняются. Вот бы нам такую же! Только ведь не найдешь... Все они подросли за время войны, я их пока знаю по имени да в лицо, а характеры, способности мне совсем неизвестны. Вот я и решил их испытать на маленьком хотя бы дельце, да, видно, неудачно.

— Вот эта последняя — Татьяна Букова лучше других подойдет. Девушка, видать, серьезная, умная, — заметил Тихон.

— Серьезная, умная, — повторил Нефед Степаныч. — Она выслушала меня, усмехнулась и направилась домой, а вон Никита предполагает, что гулять даже ушла...

Тихон рассмеялся:

— Вот так отколола!..

Нефед Степаныч нахмурился и склонился над столом.

Тихон Старостин поцокал языком, покачал головой:

— Плоховата у нас дисциплинка...

Вздыхнул и рьяно принялся за работу.

Прошло больше часа. Нефед Степаныч еще девушек не вызывал, не посылал на Русаково поле, он решил уже, что его затея провалилась. «Поставить на молодежное Ольгуньку Резцову, она хоть и забывчива, но зато расторопна. Лучше, видно, тут не найдешь».

В это время на пороге появилась Таня Букова, оживленная, румяная от весеннего ветра, улыбающаяся.

Перед тем как отправиться в поле, она зашла домой, переделась в будничную одежду, обулась в сапоги... На дороге и в поле, где еще только сошел снег, они, разумеется, облепились грязью, но она в грязных сапогах в правление не пошла, тщательно вымыла в луже у входа — на них лаком блестела сейчас вода.

Нефед Степаныч и Тихон Старостин поняли, что она заходила домой переодеться и сразу же отправилась в поле. Они переглянулись и оба покраснели, неловко стало, что плохо о ней подумали.

Девушка заметила их смущение и посмотрела настороженно, вопрошающе.

«О таких говорят: «эта девушка в грязь не сядет», — подумал Тихон Старостин: — Чистоплотная... Аккуратная, видать».

Девушка медленно переставила стул, недовольно глянула на сиденье, медленно села. Оживление пропало, улыбка исчезла с лица, ей не нравилось, что председатель и бухгалтер при ее появлении переглянулись и покраснели, она подозревала, что они перед ее приходом говорили о ней что-то нехорошее.

Нефед Степаныч понял ее и, чтобы установить искренность и прямоту в отношениях, со всеми подробностями рассказал, что он здесь ее разыскивал, думал и пережил. Тихон Старостин подсказывал подробности и подсмеивался над председателем. Таня от души смеялась.

— Что на Русаковом поле? — спросил Нефед Степаныч, когда веселье улеглось.

Таня посерьезнела и деловито доложила:

— Верх его очистился от снега и скоро просохнет, можно будет пахать. Концы у самой речки залиты водой, а в середине — помните, там между верхом и низом ложбинка запела — лежит еще снег.

Таня вытащила из кармана бумагу, аккуратно сложенную пакетиком, и развернула перед Нефедом Степанычем:

— Посмотрите — по нашим местам неплохая там земля, гумуса много.

Услышав это редкое слово, Нефед Степаныч удивленно и вопросительно посмотрел ей в глаза:

— Вы в почвах разбираетесь?

— Почвовед, — улыбнулась Таня.

— Серьезно?

— Шучу...

Нефед Степаныч решил, что он нашел ту, которую искал, и сказал твердо и прямо:

— Таня! Мы предлагаем вам встать во главе молодежного звена!

Предложение не было для нее неожиданным, она разгада-

ла, к чему все клонится с самого начала, и потому ответила не задумываясь:

— Я не против... Уменье у меня, пожалуй, найдется. Русаково поле моему звену отдадите?

Нефед Степаныч смешался и ответил неопределенно:

— Пока еще неизвестно...

— Зачем же вы меня туда посылали.

Нефед Степаныч, довольный результатами и своей хитринкой, которую он применил, чтобы сделать выбор, воскликнул:

— Умна, остроглаза, а самой-то существенной тонкости и не разгадала.

— Чего же я не разгадала? — заинтересовалась девушка.

Нефед Степаныч разоткровенничался и открыл, в чем заключалась его тонкость. Рассказал, как выдержали его испытание Оля Резцова и Груня Мягкова, и добавил:

— Вы их в свое звено включите, привлечите обязательно!

— Золото — девчата, — сказала Таня.

— Нефед Степаныч, — осторожно обратился Старостин, зговорищически подмигнув Тане, — а ведь придется Русаково поле за молодежным звеном закрепить.

— Земелькой мы его не обидим, — ласково проговорил председатель, — пожалуй, что и закрепим.

Девушка распрощалась и ушла.

— Вот выбор и сделан, — сказал председателю Старостин, когда они остались одни. — И надо быть удачно!

— Да, — согласился председатель. — Видишь — какие тут подросли, пока мы на войне были. Год от году народ все светлее и светлее появляется!

* * *

Мать Тани — Наталья Букова по седьмому году лишилась родителей. Сироту взял на воспитание бездетный дядя (по матери) Назар. Он обращался с Наташей, как с дочерью, а тетка, как с батрачкой. С малых лет она втянула девочку в дела: туда беги, сюда иди, одно принеси, другое отнеси и, как только Наташа остановится, тетка уже кричит:

— Что ты сидишь, не видишь работы сколько!

Ее не бранили и не били, но словом ласковым не баловали, не жалели и не берегли. Вставала она рано, ложилась поздно. Получалось всегда так, что она появлялась дома, когда уже позавтракали, пообедали, поужинали. Девочка понимала, что тетке жалко хорошего куска, но не обижалась.

Тетка иногда еще скажет:

— Мы тебя искали, искали, а ты ровно сквозь землю провалилась.

Наташа только усмехнется (тетка была с глупинкой), подумает: «долго было найти — я за двором прутья рубила»,

отмахнет от каравая ломоть хлеба, густо посолит и начнет уписывать за обе щеки.

Была она девушка спокойная, на тетку, а тем более на дядю не сердилась, никому на них не жаловалась, глядела весело, шутила, смеялась, со всеми была ласкова и приветлива. На окрики не обижалась, только усмехнется и протянет:

— Си-ичас сделаю!

Одевали ее неважно, почти одинаково, что в будни, что в праздник.

Из-за того, что ей редко приходилось как следует, поесть за столом, она ела на ходу: идет на работу и все чего-нибудь жует, всех угощает, делится последним.

Походка у нее была медлительная, красивая, и делала она все неторопливо. В Думине говорили:

— Поставь ей на голову стакан с водой, она всю улицу пройдет, не пролив ни одной капли.

Наташа выросла девушкой отменно здоровой, сильной и любила носить серьги, бусы, кольца, гребенки. Тайком выменивала она их на яйца, но тетка заметила это и осердилась. Наташа бросилась к ней на шею прощения просить, целовать, растормошила ее, рассмешила. Тетка повеселела и, мягко отстраняя ее от себя, примиренно ворчала:

— Убирайся ты от меня, лиса эдакая, маленькая что ли целоваться-то.

Наташе шел двадцатый год, когда в Думине наняли двух новых пастухов, отца с сыном. Они так чудесно играли на рожках, что думинцы говорили:

— Н-у-у, и мастера эти суздальские...

Старик сухую, до белизны седую голову носил высоко, гордо, ступал мягко и, несмотря на большие годы, был легок на ногу.

Сын высокий, стройный, плечистый, с тонкой талией был очень красив: темнокарие, чуть-чуть влажные глаза, густые дугообразные брови, высокий лоб, смуглый румянец на тугих щеках.

Серафима Петровна, тогда еще молодая учительница, спросила его однажды в шутку:

— Вы не грузин ли?

— Нет, мы пастухи, — ответил парень.

— Грузины — такой народ есть на Кавказе... Живут они в горах, — пояснила Серафима Петровна.

— Не-ет, мы из-под Суздаля, из села Торки...

— Аа-а, понятно, понятно, — проговорила Серафима Петровна.

...Великие суздальские князья имели наемную конницу из кавказских народностей, которые здесь звались торками, абазами, черкасами...

В мирное время содержать эту конницу стоило дорого, и

князя селили торков, абазов, черкасов на землях Владимиро-Суздальского ополья. Так образовались под Суздалем села: Торки, Абазово, Черкасово...

...Пастухов, как это было с испокон веков заведено в Думине, кормили по очереди владельцы скота.

Пришло время быть на постое у дяди Назара.

Наташа эти дни ходила сама не своя. Она становилась то рассеянной, то необыкновенно деятельной, то грустной, то веселой, а к вечеру, к приходу пастухов, надевала серьги, бусы; кольца и гребенки. Как-то после ужина она намеренно столкнулась с молодым пастухом в сених и подарила ему кольцо.

После этого она старалась где бы только пришлось, встретиться с ним, не давала, говорили в селе, нигде парню прохода. Она вышила пастуху кисет, дарила ему платочки, доставала денег на табак и кормила его всякой всячиной.

Красивый пастух не оценил пламенной любви Наташи. Он выходил к ней на свиданья, ласкал ее, принимал подарки, а потом, насмехаясь, показывал их по всему селу.

Вскоре все стало известно дяде с теткой. Всегда тихий и сдержанный дядя Назар на этот раз до того разошелся, что хотел побить Наташу, но она бросилась к нему, повисла на шее, прося прощения:

— Тятенька, я больше не буду... Я его видеть больше не могу.

Девушку сжигала большая оскорбленная любовь, и ее первый раз увидели плачущей. Горе ее было так же велико и безутешно, как и ее любовь.

Наташа похудела, сникла, забыла все свои кольца, серьги и гребенки и перестала появляться на гулянках.

Наступила глухая осень, выпал снег, пастухи рассчитались и отправились под Суздаль в свои древние Торки.

Прошла долгая зима, в течение которой со всей очевидностью объявился наташин грех, а весной она принесла девочку, которую назвали Таней.

Наташа, как и ее мать Елена, принадлежала к числу тех натур, которые способны любить жарко и самоотверженно, но только один раз в жизни. Несмотря на то, что она была молода, любовные волнения покинули ее. «Как отрезало», — говорили в селе, — «отшибло».

Ее занимали теперь ребенок и работа, работа и ребенок. Она лелеяла и холила девочку, неустанно, неуспынно трудилась ради нее, кормила сытно, одевала так, как ни одного ребенка в селе не одевали.

Тетка умерла, а дядя Назар стал уже старым, еще более тихим и простодушным. Таню он любил так, что их врозь редко видели. Делает что-нибудь дядя Назар, и Таня бродит около него, идет он куда-нибудь, и девочка тащится за ним.

Дядя Назар все хозяйство доверил Наташе.

— Призятить бы хорошего человека, а то тебе трудно одной, — предлагал он. — К тебе даже парень пойдет, не поглядит на то, что у тебя ребенок. Подумай-ка хорошенько!

Наташа думала, но вторая любовь не приходила, а супружеской жизни без любви она не хотела.

В заветную пору коллективизации она в числе первых вступила в артель. Назар не препятствовал, во всем доверяясь заботливой и умной Наталье.

Она с легким сердцем (была не корыстна) отвела на конный двор лошадь, сдала в артель телегу, сани, плуг, борону и сказала:

— Всю свою мужичью заботушку сдала.

Со всей страстью и прямоотой своей чистой души она увлеклась артельной работой и была довольна тем, что теперь ей, бабе, не надо заботиться о сбруе, колесах, лемехах, дегте, веревках, всех этих мелочах одиночной жизни, которые, как паутина, обволакивали крестьянина и совсем выводили из себя женщину, если несчастье заставляло ее стоять во главе своего хозяйшишка. Вступление в колхоз только в одном этом, не говоря уже о большом, принесло Наталье облегчение.

Назара хотели приспособить в колхозе сторожем, но Наталья отговорила председателя:

— Старенький он у меня, зябнет зимой, все кутается, замерзнет, пожалуй, на посту, много ли ему надо, а я берегу его, чтобы подольше пожил. Без него мне с Таней хуже будет.

Колхозом тогда руководил чуткий Ефим Васильевич Горшков. Слова Натальи ему понравились:

— Ну-ну, береги, это хорошо, когда заботятся о стариках.

Но по веснам Назар оживал. Старого крестьянина звали поле, поэзия любимого труда. Он возил, пахал, сеял потихоньку, но терпеливо, упорно, искусно, вызывая восхищение Ефима Васильевича.

Таня оказалась очень способной к ученью, успешно окончила Думинскую начальную, затем Тереховскую семилетнюю, просилась учиться дальше, но мать сказала:

— Я тебе отдала всю жизнь, если ты это ценишь, не просись.

— Так ведь я никуда не денусь...

— Я знаю, не денешься, не пропадешь, но не будешь жить дома, а я останусь одна...

Приходила уговаривать Наталью Серафима Петровна.

— Хорошо отпускать тем, у кого детей много и в доме тесно, у нас в избе и без того пусто, — сказала ей Наталья. — Она уедет, тятенька долго не наживет, и придется мне одной век-вековать...

— Ничего не поделаешь, — сурово заявила Серафима Петровна, — для счастья дочери придется и одной пожить!

— Я видела много всего на свете, Серафима Петровна, и заметила, что счастье может быть не только в городской квартире, но и в колхозной избе, — обдуманно говорила Наталья. — Если она уедет, ей будет счастье, а останется дома, не будет его — почему это так?

— Потому, что она станет инженером, врачом или педагогом, — стараясь говорить убедительно, заявила Серафима Петровна.

— Счастье не состоит при должности... Нельзя всем быть врачами, инженерами... Надо кому-нибудь и землю пахать... Говорят, что на земле труд тяжеленек, но трудная работа делает крепкими людей.

Своими продуманными рассуждениями Наталья удивила старую, опытную учительницу.

Серафима Петровна не нашла веских доводов, чтобы разубедить эту женщину.

— Спорить с вами трудно, Наталья Павловна, — у вас свой взгляд на жизнь, свой вкус к ней. Иные хотят, чтобы их дети стали врачами, инженерами, а вы желаете видеть свою дочь колхозницей...

— Желаю! — решительно отозвалась Наталья.

— Это ваше дело... И ваша правда в том, что и в колхозной избе может быть счастье. Может!.. Да еще и какое!..

И Таня осталась дома жить и работать с матерью.

Наталья нашла в Терехове замечательную рукодельницу. К ней Таня ходила по воскресеньям учиться шитью и вышивке и скоро переняла это мастерство.

* * *

В обеденный перерыв к Алексею зашел на дом Тихон Старостин и рассказал, как Нефед Степаныч устраивал девушкам испытание.

Старостин рассказывал сочно, с подробностями, кое-где преувеличил, и Алексей с женой от души смеялись.

— Смотр, говоришь, произвел... Придумает же! — все еще смеясь, с восхищением воскликнул Алексей. — Смешно, а со смыслом: характеры на этом он испытал, руководительницу звена нашел...

— Нашел, — подтвердил Старостин. — Да еще какую!.. Замечательная девушка. Можно ручаться, что у нее не отобьется... Кажется, что вот она взглядом поведет, и звено ринется, куда она велит.

— Замысловатый мужик, закомуристый, придумает иногда такое, что невдруг и раскусишь, — все еще раздумывая о Нефедке Степаныче, пропустив мимо ушей восторженный отзыв Тихона о девушке, проговорил Алексей.

Помолчав, он перевел разговор на другое:

— Нынче мы будем звеньями... учет их работы и результатов труда надо, Тихон Матвееч, поставить идеально! Звенья и учет — это теперь у нас все!

— Сделаю под ажур, Алексей Лукич, — обещал Старостин.

Вскоре после ухода Старостина к Алексею заявился Саша Ныртиков в широкой не по плечу ватной тужурке, в шапке-ушанке с распущенными ушами, в грязных растоптанных сапогах. Худощавый, небольшого роста, двигался он неуверенно, казалось, что и на земле-то он стоял непрочно, и выглядел жалким и беспомощным. Он посмотрел на Алексея тихим, заискивающим взглядом и жалобно проговорил:

— Посоветоваться пришел...

— Пожалуйста, Александр Геннадьевич, душевно рад, — старался приветить его Алексей. — Посоветую, насколько ума хватит, говори, что у тебя за дело!..

— Нефед Степанович работы мне не предоставляет

— Что же это он?

— Не знаю...

— Может у тебя с ним нелады?

— Никаких особенных неладов между нами нет, но не хочет он меня замечать...

— Как же, по-твоему, он должен тебя заметить?

Ныртиков смешался, помолчал и потом неуверенно ответил:

— Работу дать...

— Всех он тянет на работу, а тебе, наоборот, не дает... Непонятно... Удивительно!.. Сам ты чем это можешь объяснить?

— Он о себе много понимает, а людей ставит низко, — проговорил раздраженно Ныртиков.

— Кого же он низко ставит?

— Мало ли кого... Меня, например...

— Куда, как высоко он должен бы тебя поставить?

— Об этом ему надо подумать, на то он и председатель...

— Но, все-таки, конкретно: чего ты от него хочешь?

Саша опять замолк, ушел в себя и, когда молчание стало тягостным, нехотя протянул:

— Раб-о-оты...

Алексей заметил: Саша что-то скрывает и не намерен сейчас открыться, у него болезненное или оскорбленное самолюбие и с ним скоро не договоришься. Тяжелый человек! Пришел советоваться, а ничего не говорит, хочет, видно, чтобы его без слов поняли.

— Сделаем тогда так, — громко и четко заговорил Алексей, — я поговорю с председателем, выясню все, а потом посоветую тебе. Сейчас же, сам понимаешь, я ничего определенного сказать не могу.

— Ладно, — согласился Ныртиков и замолк.

Он сидел и молчал, но уходить не собирался.

— Как ты живешь? — дружески, тепло спросил Алексей.

— Та-ащусь помаленьку, — смиренно ответил Саша.

— На фронте был?

— Как же...

— Долго?..

— Нет, меня в первом же бою шарахнуло.

Только сейчас Ивонин заметил, что Саша бережно придерживает правой рукой левую, изредка раскачивая ее.

— В руку! Двигается она у тебя, действует?

— Начинает немножко, — ответил Ныртиков и как-то по-детски радостно улыбнулся.

— Это хорошо, что начинает, — порадовался вместе с ним Алексей. — Если начинает, то, стало быть, наладится.

— На-аладится, — подтвердил Саша. — На живом живое заживет.

Разговор неожиданно оборвался. Саша медленно поднялся, молча кивнул на прощанье и ушел.

В душе Алексея осталось ощущение неловкости, он был озадачен и стал искать подлинную цель сашиного посещения. Не может быть, чтобы председатель отказал ему в работе. Ее непочатый угол, только трудись. Дело тут в чем-то другом! Этот мужичок себе на уме. Он, вероятно, приходил посмотреть: каков теперь Алексей Ивонин, который на фронте был офицером, а здесь стал партийным руководителем... Узнал, прикинул и определил, как нужно вести себя по отношению ко мне. Говорят, что он не особенно честно тут живет, все люди идут дорогой, а он норовит стороной. Что у них с Нефедом Степанычем произошло? Почему они не ладят? Надо будет точно узнать.

* * *

Ныртиков считался до войны нерадивым колхозником. «Неужели он остался прежним», — подумал Алексей.

Саша был не здешний. Он прижился в Думине в доме Ветровых. Вспомнились рассказы сашиного тестя — старика Ветрова о своем зяте: «Сваха говорила: у этого парня ничего не отбивается от рук, рачитель и умелец. Поехали на смотрины. Бросились мне в глаза хлевы на дворе. Решетки хлевов все точеные, будто из столярной мастерской. Это, говорят, жениховых рук изделие. Ну, думаю, выйдет из него хозяин! Сыграли свадьбу, пришел он ко мне в дом, и вскоре я заметил, что зятек попался с ленцой, не хочет лишнего шага ступить, палец о палец ударить. Единажды решил я его испытать. Дочери дома не было, я уходил по делу до вечера. Перед уходом я положил на пороге хворостину так, что, если он

пойдет, то обязательно запнется. Думаю: уберет или не уберет. Просто для интереса. Воротился домой, гляжу — не убрал. Много раз из избы выходил, запинался, а не убрал.

Вдругорядь смеху подобное отмочил. Пошел я по осени в воскресенье на базар корову покупать и молодых с собой взял, чтобы к заботам привыкали. А утром я петуха заколол. Поставили варить. С базара, мол, придем и пообедаем по-праздничному. Ходим по базару, оглядываем, прицениваемся. Приглянул я одну коровку, обернулся, хотел с зятем посоветоваться, как, мол, на твой глаз, а Саши около меня нет. Мы с дочерью глядеть, искать — нет нигде, как сквозь землю провалился. Вот удивленье! Сколько времени мы на эти поиски извели, устали, корову выбрать как следует не успели и ни с чем домой потащились. Приходим к вечеру домой, отпираем... Проголодались, пора обедать, а Саши все нет и нет. Отобедать без него, обидится, обидчивый он до последней крайности, от пустейшего пустяка губу надует. Ждали-ждали его, терпенье мое лопнуло. У меня живот подвело, говорю дочери: собирай на стол, пусть обижается, нелады так нелады, сам виноват.

Дочь собрала на стол, вытащила из печки горшок, а в горшке-то пусто! У нас аж слезы навернулись. Кто ж это постарался. Дом заперт был и замок нетронутым остался. Пошли по дому — не пропало ли, мол, еще чего. Нет, все цело, все на месте. Напоследки нашли мы Сашу в горнице. Оказывается: он прикатил с базара, влез в окошко, умял петушка и спит сном праведника в чистой горенке на легком воздухе.

Дочь моя тут в слезы... Эх, говорит, тятя, не за человека, а за точеные решетки ты меня выдал.

Разбудил я «праведника» и говорю ему:

— Какие дураки тебя, голубчик, воспитывали. Ты думаешь только о себе, тянешь только себе, работаешь с охотой только на одного себя. Такие люди — самые противные, и я на тебя глядеть бы не стал, если бы разгадал раньше».

Да, старик Ветров поздно разгадал Сашу, но разгадал: парень с умелыми руками, не лентяй, но себялюбец и стяжатель. Когда он не чувствовал себя в доме хозяином, ему лень было хворостину поднять и выбросить.

После смерти старика Ветрова Сашу Ныртикова будто подменили: он стал заботливым, непоседливым, он убивался на работе, расширяя свое, — теперь свое! — хозяйство. Только-только было он стал входить во вкус, как в Думине началась коллективизация, раскулачивание, и Саша мысленно поблагодарил старика Ветрова за то, что он умер поздно. Умри тот десятью годами раньше, Саша бы успел стать кулаком и разделил бы судьбу себе подобных.

Несколько лет он приглядывался, примеривался к колхозу

и вступил в него лет через пять в числе последних единоличников.

При Ефиме Васильевиче, когда на трудодни в Думине приходилось много, Ныртиков работал, стараясь быть там, где в один день можно схватить пару трудодней.

...Ощущение неловкости и неудовлетворенности не покидало Алексея, и он решил немедленно повидать Нефеду Степаныча и поговорить с ним.

Председатель был в правлении. Только Алексей назвал фамилию Ныртикова, Нефед Степаныч перебил его:

— О-опять про Сашу...

— Я не опять, а впервые, — спокойно заметил Алексей.

— Он у меня в печенках сидит, — вспыхнул всегда уравновешенный Нефед Степаныч и даже покраснел. — Ты впервые, а до тебя сколько было! В сельсовете, в райисполкоме, прокурору на меня жаловался, он скоро мне всю кровь сквасит. Ну и канительник. Инвалидом сказывается, а сам даже бревна из леса таскает...

— Рука у него на самом деле что-то неладная, — заметил Алексей.

— Это еще неизвестно, — возразил Нефед Степаныч. — Ты подь погляди, что он этой неладной рукой натяпал — удивишься.

— Раз он такой канительник, значит, нервный. Обойдись с ним повнимательнее, дай ему работу по душе...

— Пробовал, обходился так и сяк... Предлагал разные работы... Ни на что не согласен. Сидит у моего стола, молчит, усмехается, а потом идет опять жаловаться или бумаги рассылает, что председатель ему работы не дает, невнимательно относится к военному инвалиду, но стану ли я обижать его, я сам три года на фронте... Я сам военный и, может быть, не меньше его инвалид, если докторам показаться...

Нефед Степаныч перевел дух и, помолчав, сказал:

— Ты извини меня, Алексей Лукич, что я так разошелся, очень он меня возмущает. Меньше всех артели дает, а больше всех требует. Прошлый год выработал только четырнадцать трудодней! По отношению к нему, пожалуй, подойдет совет Ефима Васильевича насчет того, чтобы не оглядываться... От него и другие кое-что перенимают...

— Совет, может, подойдет, но надо посмотреть, — вдумчиво начал Алексей, но председатель вдруг просиял и резко перебил:

— Посмотри! Я сам посмотрелся, а ты не поленись — сходи и глянь, а потом мы с тобой обсудим и подумаем. Сегодня же у него побывай! Прошу! Один замучился я с ним. Твой совет, твоя помощь вот как мне дороги.

«Верно — надо посмотреть и еще раз поговорить, а нето

какое я могу суждение иметь о Саше, когда он сам не знает, чего ему надо», — подумал Алексей и поднялся со стула.

— К Саше? — обрадованно спросил Нефед Степаныч.

— К Саше, — подтвердил Алексей.

— Вот хорошо! Сходи-ка разберись, а то он меня совсем замотал.

* * *

Александр Ныртиков жил в Выгонцеве, за Выремшей.

Алексей прошел широкой улицей села, пересек по мостику Выремшу, поднялся на ее высокий берег и огляделся вокруг.

Выремша изгибалась, обходя Думино, и там, на околице села, впадала в Любицу. На всем видимом протяжении Выремшу сопровождали густые заросли ольшаника, похожие на древний крепостной вал.

Невдалеке, на угоре грудился скот. Травы еще не было, и коровы стояли неподвижно, отогреваясь на полуденном солнце. Пришло раннее тепло. Старики считали его ненадежным и говорили: «Это не настоящее, погоди, еще снегу нанесет. Ранняя-то весна, пожалуй, и выйдет на позднюю».

Тепло стояло непрочное, стоило солнцу скрыться за тучами, как начинало потягивать холодком, земля была еще студеная, а потому невольно верилось этим предсказаниям.

«Не разгулялась еще красавица», — подумал Алексей о весне.

Он миновал приречную луговину и пошел улицей Выгонцева. В этой части села он давно не бывал и не сразу нашел дом старика Ветрова, доставшийся Александру Ныртикову. Алексей торкнулся в крыльцо: заперто. Постучал в окно: никто не выглянул. Он углубился в проулок, оглядывая ныртиковские владения. За двором светились, прямо-таки сияли на солнце новый погреб, за ним сарай, а еще поодаль баня. Все они были сделаны с особым тщанием: бревнышко подобрано к бревнышку, каждое выстругано рубанком. У сарая стояла тележка-полок (на которую можно было грузить до десяти пудов травы).

— Алексей Лукич! — послышался из окна соседнего дома знакомый голос.

Алексей заинтересованно оглянулся и увидел Анну Добротову. Он взял в сторону, поздоровался, приближаясь, и встал под окном.

— Как вы попали сюда, Алексей Лукич?

— К Александру Ныртикову зашел, а его, видно, дома-то нет.

— На своем огороде он с Иваном Косачевым... Вон в ту дверку пройдите... Они оба там. Исправлять их надумали? Пора.

— Почему ты думаешь, что я иду непременно его исправлять?

— А больше незачем к нему итти.

За домом раскинулся ныртиковский огород. Он занимал не менее полгектара и сейчас почти сплошь был завален навозом. Кроме того в нескольких местах высились кучи перегнойа, привезенного из леса.

— Вот об этом только и заботится, — кивнула на огород Анна, — а до остального ему и дела нет. Думает выгадать на этом, а на самом-то деле ничего не выгадает, в проигрыше еще останется. Все сердце у меня изболелось, глядя на него. Такие-то люди — горе наше, забота о них должна быть общая, колхозная, а то они сами-то себя не как следует понимают. Прошлый год колхозники говорили председателю: возьми их в руки! Он взялся было и за Ныртикова, и за Косачева, но видно не с того боку подошел: ничего не вышло.

— Я попробую с другого подойти, — усмехнулся Алексей и кивнул Анне на прощанье.

Он повернулся, пошел, смело открыл дверцу и очутился на огороде.

Ныртиков сидел у бани, на новой лавочке со своим другом Иваном Косачевым. Лавочка была сделана искусно, любовно, с точеными подлокотниками, с удобной спинкой. Друзья сидели, вольготно развалиясь, о чем-то оживленно разговаривали и смеялись. «Саша, оказывается, человек разговорчивый», — подумалось Алексею.

— Мы с тобой сегодня виделись, — сказал Алексей Ныртикову.

— Виделись, — безразлично отозвался тот.

— Вот кого я давно не видал, — повысив голос, продолжал Алексей. — Ивану Карпычу!.. Сто лет, сто зим... Опять в родных палестинах?

До войны Иван Косачев то жил в селе, то подавался на фабрику, возвращался в деревню и опять исчезал. Односельчане сначала порицали его за непоседливость, непостоянство, интересовались его исчезновениями и появлениями, а потом махнули рукой: не поймешь, дескать, кто он и где он, то ли работает, то ли «у Шаталова дым пилит».

В первый год войны Косачев прикатил из города в родное Выгонцево, вступил в колхоз, подновил избу, завел корову, разделал большой огород. В урожайные годы работал неистово в колхозе, а в неурожайные, заранее определив, что мало придется на трудодень, с половины лета не появлялся в поле.

На вопрос Алексея Иван Косачев важно ответил:

— Седьмой год здесь безвыездно... Колхозничал, старался, а последнее время, признаться, сбился.

— Что же тебя сбило?

— Недосуг... У меня теперь еще важное дело! Приходит-

ся разрываться на части... И туда, и сюда... Я ведь здесь не только колхозник, но и член союза охотников.

Косачев запустил руку в потайной карман пиджака и вытащил пачку книжек и бумажек, стянутых резинкой. Прежде всего он подал охотничий билет. Алексей взял, глянул и отдал. Косачев вложил билет обратно в пачку и подал записную книжку.

— Что это? — удивился Алексей.

— Глянь, — тут что-то есть, — таинственно произнес Косачев: — На первой странице!

Алексей с любопытством открыл и увидел на первой странице записной книжки маленькую вырезку из газеты, старательно, по-школьному обведенную красным и синим карандашом. Поверх вырезки было нарисовано солнце, поднимающееся над ельником. Алексей внимательно прочитал. В крохотной заметке районная газета сообщала, что лучший охотник района И. Косачев в минувшем сезоне убил пять лисиц, двух горностаев и много белок.

— Это у него не хуже похвальной грамоты, — с завистью проговорил Ныртиков, кивнув на записную книжку.

— Да-а, — довольно протянул Иван Косачев, — жаловаться не приходится. Спасибо: не забывают, отметили!

— Ты прежде, кажется, Иван Карпыч, охотой-то не занимался? — спросил Алексей, возвращая записную книжку.

— Прежде я похаживал, но без удачи, а в эти годы у меня прямо талант открылся...

Косачев собирался с аппетитом поговорить об охоте, но Алексей не намеревался уделять много внимания его новому таланту и обратился к Ныртикову:

— Я разговаривал с Нефедом Степанычем...

Саша насторожился. Ивонин продолжал мягко:

— Решили мы предоставить такую работу, какая тебе по душе и по силам. Хочешь ночным сторожем? Дело нетрудное, и весь день у тебя свободен.

— Конечно весь день свободен, — как бы соглашаясь, проворчал Саша и чуть заметно подмигнул Косачеву, — а ночь не спавши... Мы знаем, как это самое... сторожем... Кто-нибудь стибрит, а ты отвечай за него.

— Ясно, что надо отвечать, — как бы мимоходом, заметил Алексей, — на то и сторож. Стало быть не подойдет?

— Не подойдет, — отрезал Ныртиков.

— Тогда конюхом!

— Спасибо. Такую заботищу на себя взять! Слышал? — обратился Саша к своему другу, чтобы вызвать в нем сочувствие к себе.

Косачев был умнее. Он строго глянул на приятеля, как бы говоря, что ты, дескать, меня тут впутываешь, соображай.

Ныртиков понял, что Косачев решил держаться в стороне,

что надо вести себя поосторожнее, и больше не обращался к нему.

— Кормов выдают в обрез, а требуют, чтобы лошади были высшей упитанности, — недовольно продолжал Ныртиков. — Кабы овса дали вдоволь, можно бы и упитанность навести.

Алексей упорно старался поймать его взгляд, но Саша смотрел в землю, выгнув шею.

— Почетный пост и то не подходит.

Ныртиков чувствовал сейчас себя одиноким, обиженным и все более и более раздражался.

— Не-ет, — прошипел он в землю.

— Ты, говорят, мастер на все руки, — продолжал Алексей, стараясь припомнить все должности, какие предлагал Ныртикову председатель. — Тогда... тогда шорником!

— Это все равно, что в газовую камеру запрятать себя...

Ныртиков горько усмехнулся и покачал головой.

— При чем же здесь газовая камера? — удивился Алексей.

— Шорником надо целый день сидеть в избушке при конюшне, там всегда накурено, а у меня в груди покалывает, мне необходим свежий воздух.

— Тогда возьмишь водить пару бычков на бороньбе, похаживай себе и дыши вволю самым свежим...

— Э-э, сказал: пару быков водить, — ухмыльнулся Ныртиков, — а рука-та у меня одна...

— На бороньбе не руки больше требуются, а ноги.

— Ноги-то у меня тоже не лучше рук — надорванные.

— Тогда я отказываюсь тебя понимать и помочь ничем не могу. Напрасно, стало быть, ты жалуешься, что Нефед Степаныч тебе не дает работы, это нечестно с твоей стороны...

— Работа работе рознь, — неопределенно молвил Саша.

Косачев видел, что оставил приятеля одного, ему достается, и решил помочь.

— Я с ним близко живу и оттого его знаю, — снисходительно кивнул он на друга. — Саша постоярничать умеет...

— Тогда в строительную бригаду, — обрадовался Алексей.

Косачев замолчал. Саша едко усмехнулся. Создалось крайне неловкое положение. Ныртикова оно мало трогало. Более впечатлительный Косачев смутился и невдруг напустился возразить:

— Не-ет, в строительную не придется... У него рука... Вот бы в столярную мастерскую... Тут столяры, значит, верстаки, а Саша ходит и указания дает... Так-то ему бы подошло...

— Иван Карпыч, вы умный человек, а говорите, как ребенок, — возмущился Алексей. — Столярной мастерской у нас

нет, есть только строительная бригада, которая занимается главным образом плотницкой работой...

— Это он все мечтает, — кивнул опять на Сашу, на этот раз насмешливо, Косачев, — ищет работку поуважительнее.

— Всем, Иван Карпыч, ее не найдешь, — заговорил твердо и горячо Ивонин. — Я офицер, имею больше права на уважительную работу, но не добиваюсь ее, а вожу навоз, буду вместе со всеми пахать, сеять, косить, молотить... Не в похвальбу себе говорю, а для того, чтобы Александр нос не задирали и помнил, что в полях и на скотных дворах у нас трудятся люди не только не хуже, а может быть и лучше его. В колхозе мы не мебель делаем, а хлеб растим. Вот сейчас наступает горячая пора, требуется много людей в поле. Кто сейчас не будет работать, к делу урожая не попадет. Исключим! Принимайся, Александр, за труд! Советую. Я тебе по-солдатски, прямо скажу: не станешь участвовать в артельном деле, исключим, не оглядываясь ни на какие твои доблести, обрежем твое имение, придется тебе тогда расставаться с этой усадьбой.

Алексей обвел взглядом огород и добавил:

— А усадьба у тебя добрая, заботишься ты о ней завидно: навозцу порядком подбросил и даже перегною привез.

Ныртыков вскинул голову, посмотрел Алексею прямо в лицо, зло сверкнув глазами, и проговорил вызывающе:

— Руки у вас коротки обрезать меня!

«Вот это до него дошло», — подумал Алексей и спокойно ответил:

— Убедишься потом: коротки они или длинные, гляди, сноха... Как это, Иван Карпыч, бывало говорили?

— Гляди, сноха, — тебе жить-то, — подсказал Косачев.

— Вот именно: гляди, сноха, — тебе жить, подумай, поразмысли...

— Всем завидно на мой огород...

— Я сказал завидно в смысле хорошо...

— Все равно. Вон, говорит, он сколь снимает...

— Снимай, сколько сумеешь, никому не завидно, по уставу у нас всем нарезано по сорок пять соток, правда, у тебя, кажется, лишку, прикопал порядочно, но это можно обмерять и установить точно... Все имеют огороды, все ими занимаются, и я нынче займусь и, может быть, соберу больше твоего. Дело не в этом, Саша! Дело в том, что колхоз дал тебе огород, а ты колхозу ничего. Надо в своей душе артельное поле поставить выше своего огорода! Можно им, конечно, заниматься, но не надо забывать главного, а ты забываешь.

— Ты нас не агитируй, — угрюмо молвил Ныртыков, — мы агитированные не первый годок...

— Старо, Александр, ты не отделяйся пустяками, а говори по делу или скажи что-нибудь поновей, — спокойно заметил Алексей Ивонин.

Иван Косачев покосился на Ныртикова и сурово проговорил:

— Саша, ты не забывайся!

— Человеку желают добра, хотят, чтобы жил он честно, побижался уважением в коллективе, а он думает, что его обижают, и стремится к одиночеству. Как это все, Иван Карпыч, называется? — спросил Алексей, заметив, что Косачев отзвучившее и разумнее Ныртикова.

— Это пережитки, когда человек все себе и норовит отойти в сторонку, — охотно отозвался Косачев.

— Правильно! — обрадованно подхватил Алексей и подумал: «а он, видать, кое-что знает и думать умеет».

— Пережитков-то у тебя самого, Иван Карпыч, хоть отбавляй, — сухо обронил Ныртиков, — не тебе бы говорить, не мне бы слушать...

— Верно, и у меня их отбавляй, — согласился Косачев и добавил, — но я лучше тебя умею пересиливать их.

«Мужик с головой» — заметил себе Ивонин и горячо подержал его:

— Правильное слово ты нашел, Иван Карпыч! Человек, умеющий пересиливать пережитки, может расти, вперед идти!.. Неумеющего же научить надо. Вот, Александр, я тебе еще раз говорю: выходи в поле, принимайся за колхозные дела, а нето исключим тебя и обрежем усад по уставу! Это последнее мое слово! Нынче мы решительные, налаживаем все по законам артельной жизни, людей проверяем на деле!

— Упаритесь, пожалуй, — сердито бросил Ныртиков и поднялся со скамейки.

— Ты все пустяками отделяешься, Александр, — строго заметил Ивонин, — с тобой ведь разговаривают серьезно. Ты подумай хорошенько, чтобы потом раскаиваться не пришлось!

— Ты не угрожай...

— Я не угрожаю, а только предупреждаю тебя!

— Я проживу и без твоих предупреждений. — Саша осердился и пошел бесцельно вдоль огорода.

Алексей пожал на прощанье Ивану Косачеву руку, вышел на улицу и только там легко вздохнул.

Тут его остановила Анна Доброхотова:

— Теперь достанется вам, — усмехнулась она, — теперь Саша на вас десять жалоб подаст. С ним повозишься, он отбойный, как говорят у нас, у всех отбивается... Председателя совсем замотал и вас теперь поводит. Дружок-то его тоже хорош!.. Он тут будто с боку-припеку, а главный-то голос его. Он ба-ашковитый и обидчивый.

— Оба они обидчивые, — сказал Алексей, — но на правду обижаться нельзя, правда свое сделает, мы их поставим в строй.

— Вот хорошо-то бы...

Алексей раскланялся с Анной и пошел вдоль улицы. «Косачев действительно башковитый мужик, он разумнее Ныртикова, но только ветренный человек, — думал Алексей. — Нахвалит ему кто-нибудь бывало городскую жизнь, он, глядишь, дом заколачивает, — в город покатил. Там ему не сидится, в деревню душа тянет... Тут, кстати, придет письмо из Думина, что живем, дескать, нынче хорошо, и вот он уже опять, глядишь, дома, с окон доски отдирает — торопится, аж треск по всему Выгонцеву... Что это? — удивляются люди. — Косачев опять домой прикатил. Вот он познакомился с охотниками и стал охотником; подружись он с рыбаками, заделался бы рыбаком... Он сейчас сидел, молчал, думал и приглядывался. Но это своенравный человек, окриками и строгостью его не возьмешь, он заартачится и шарахнется в сторону... На него надо воздействовать лаской, задушевным словом. Надо уметь подойти к нему, тогда он за мной пойдет, как гозорится, в огонь и в воду, а за ним и Саша Ныртиков двинется».

Ивонин пошел дальше по улице Выгонцева. Местность, занимаемая приселком, с детства еще нравилась Алексею больше, чем та, которую занимала старая часть села.

На околице Выгонцева тянулся топкий луг, а за ним начинался необъятный лес. Из леса между корней ив и осоко-рей бежал в Выремшу бойкий ручей. За ручьем тянулась другая улица приселка. Ивонин решил заглянуть и туда. По пути он полюбовался огромными осоками, этими редкими деревьями. «Древесные великаны, — мелькнуло в мыслях, — их надо беречь». Осоки изумляли не столько толщиной своей, сколько вышиной. Верхушки их маячили высоко-высоко, как будто старались проколоть облака.

После войны многие жители Выгонцева подновили дома, поставили новые дворы. Только один домик своим видом навевал печаль. Он ткнулся своими двумя окнами в землю. «Имба Романа Теплова», — сказал себе Алексей. Вспомнился небольшой, круглолицый, лобастый колхозник, которого за ласковый, приветливый взгляд и молодежливый вид все звали в селе Ромашей. Он любил читать. Приходил менять книги, как на праздник: чистенько приодетый, побритый, с книжками, аккуратно завернутыми в снежной белизны платок. Радостно здоровался с посетителями избы-читальни, оживленно разговаривал о прочитанном, читал газеты, журналы и вдруг, как будто вспомнив о чем-то, неожиданно срывался с места и уходил домой.

— О жене заскучал, — говорили вслед ему. — О своей красавице стосковался, часа пробыть без нее не может.

В молодости ни одна из думинских девушек не заинтересовала его. Облюбовал он себе подругу в глухой далекой де-

ревне. За семнадцать верст целое лето по два раза в неделю бегал на свиданья, а осенью женился на ней. Увидев жену Романа, думинские мужики, молодые и старые, в один голос сказали:

— За этой стоило побегать.

Высокая, статная, невозмутимо спокойная, с томным взглядом голубых глаз, Христина Теплова была на редкость сильна и работяща.

На покосе бригадир отводил им участок на двоих. Они любили работать вместе. На покосе муж и жена шли обычно вровень друг с другом, но иногда сила начинала играть в ней и она, сказав мужу что-то зазорное, быстро опережала его. Роман смеялся и мягко сдерживал ее. Друзья говорили ему: «Дай она покажет себя, размахнется во всю ширь. Интересно, насколько у нее силы хватит». «Нельзя, — совершенно серьезно отвечал Роман, — она убьется на работе».

Соседи сообщали, что Тепловы беспредельно любят друг друга, но открытых проявлений этой большой любви никто не замечал. Ходили они по улице на некотором расстоянии, говорили на людях между собой только о самом необходимом. На спектаклях, на гулянках Романа видели всегда с женой. Роман погиб в боях под Кенигсбергом. Об этом известили Христину и фронтовые товарищи Романа и командование.

Как она пережила тяжкую утрату — никто не знает. Никто не слышал от нее жалоб, не видел ее слез или какого-либо другого внешнего выражения ее большого горя. Только судя по ее поведению и работе, все поняли, что она порешила все свои силы, всю душу положить на воспитание детей.

...Алексей вошел в избу Тепловых, переступил порог и разом очутился у стола, за которым сидела маленькая девочка и что-то мастерила из лоскутков. От нее Алексей узнал, что мать ушла в колхоз на работу и с ней старший братишка, а младший сейчас в школе, он учится в вечерней смене и ему труднее.

— Старшему, значит, легче, — он в первой? — расспрашивал Алексей.

— Легче... С утра голова у него све-е-жая...

Маленькая сестра говорила языком старшего брата. Алексей рассмеялся, ласково потрепал девочку по головке и вышел. На воле еще раз осмотрел домишко и покачал головой. Обошел вокруг и позади его увидел срубы и заготовленный тес. Роман собирался строить новый дом, но помешала война.

Срубы и тес успели уже почернеть. «Можно обстрогать... Зато все сухое, выдержанное», — вслух подумал Алексей.

Нефед Степаныч вопрошающе посмотрел Алексею в глаза, когда тот вернулся в правление.

Ныртиков основательно донял его. Председатель с нетерпением ждал, что скажет секретарь партийной организации

после похода в Выгонцево, но Алексей заговорил совсем о другом:

— Нефед Степаныч, надо Христине Тепловой помочь! Дом у нее того и гляди рухнет, не задавило бы ребят.

— Как ты мыслишь помочь?

— Новый дом ставить!

Нефед Степаныч задумался.

Алексей терпеливо ждал, когда он все обдумает.

— Помочь ей надо, — заговорил, наконец, Нефед Степаныч, — золотая она труженица, безотказная. Ра-а-ботяга!

Алексей решил, что здесь следует подогреть его:

— Старый. В землю окнами ткнулся, страшно смотреть... Если мы в нем семью фронтовика оставим, на себя смотреть нам стыдно будет. Надо новый домик поставить обязательно! Хлопот немного: на задворках срубы, тес... Роман перед войной приготовил, тогда еще строиться хотел.

— Надо, на-до, — вторил ему Нефед Степаныч. — Она баба старательная, сама усердствует и нынче старшего парнишку помаленьку к делу приучает... Только у нас сейчас, Алексей Лукич, хлопот полон рот... Весенний сев! Погреб к жарким дням надо достроить, детский сад возвести.

— Забот всегда хватало и хватит, — заметил Алексей, — их не переждешь. Одной заботой меньше, одной больше — какая разница.

— Верно, Алексей Лукич, — согласился председатель и заговорил более резонно. — Тогда я признаюсь тебе: трудодней жалко, хочется уложиться в плановую затрату, не обесценивать их...

— Так бы сразу и сказал, а то тянул, — упрекнул его Алексей, — тогда нужно обойтись без трудодней, выйти всем и разом сделать!..

— Вот! — обрадовался Нефед Степаныч, — а для отделки дома я строительную бригаду дня на три пошлю.

Помолчали.

— Ныртиковское поместье видел? — спросил Нефед Степаныч.

— Видел поместье и самого Ныртикова, говорил с ним... И с Иваном Косачевым говорил...

— На этого я уже рукой махнул, — вздохнул Нефед Степаныч. — Станешь говорить с ним, он тебе десять удостоверений под нос сует. Как по-твоему, нам поступить с ними?

— Я попробую их в свое звено...

— Неужели пойдут? — удивился Нефед Степаныч.

* * *

Нефед Степаныч ехал с молодежью в Терехово за семьями. Сидел на передней подводе с Таней Буковой и вел серьезный разговор о возделывании земли, о таинственном

небесном мире, который по-разному жалует земледельца: то дождями, то засухами, то градом, то бурями...

Художественные произведения Нефед Степаныча не интересовали. Изображенные в них судьбы людей, их взаимоотношения, сложная, внутренняя жизнь его не трогали. Он читал только научную литературу, любил пораздумать над каждой страницей. Пойди он по научной части, из него бы вышел суховатый, но пытливый ученый.

Сейчас, покачиваясь на тесовой телеге, он выкладывал перед Таней свои познания.

Девушка соглашалась с ним, дополняла, а иногда и поправляла его временами не совсем точные или полузабытые научные сведения.

— Ты училась немного, а все знаешь! — удивился Нефед Степаныч.

— Читала!

— Вижу, что читала... Позавидуешь нынешним парням! Когда я гулял женихом, таких девушек в деревнях еще не было.

Он задумался, припоминая свое прошлое.

...Нефед призвали на гражданскую восемнадцатилетним пареньком. Вернулся он домой по двадцать второму году ражим, видным парнищем: высоким, широкоплечим, круглолицым, полыхая здоровьем и силой.

Думинские девушки заглядывались на него. И он не был буйкой: смело подходил к ним, приглашал плясать, пройтись по реке. Но странное дело: погуляет с ним одна — отстанет, погуляет другая — отступится. Пробовал он ухаживать в Думине за многими девушками, и ни одна из них сердцем не пристала к нему. Это удивило пожилых и стариков: такой приглядный парень, а девки обегают его! Изъян что ли в нем? Стали они допытываться.

— С ним как-то не по себе, — скучно, — сказали девки.

— Пойдешь с ним гулять, а он только все против бога, о звездах говорит, да как человек получился от обезьяны, а сам в сторонке идет и боле ничего...

В Красной Армии пробудились умственные способности Нефед.

Там научился он уважать книгу, осмысливать прочитанное, находить вкус в умной беседе. В Думино же свет советской культуры тогда только еще начинал проникать, еще не озарил думинских девушек, и оттого парень с душой нового склада показался им странным. Они вышучивали и сторонились его.

Неудачи в сердечных делах и насмешки больно отзывались в душе Нефед, он уединился, замкнулся.

Со временем все это забылось, но отпечаток в характере его оставило.

Жениться по-новому, по-любви, как он мечтал, ему не пришлось. Родители и родственники нашли ему девушку в соседней деревне, все обошлось хорошо, но без трепета свиданий, сладкого таинства любовной переписки, без пламени чувств и не оставило следа в душе.

Все это вспомнил Нефед Степаныч, беседуя с Таней Буковой, и подумал: «Как далеко ушла деревня с той поры своего первоначального обновления и насколько культурнее, внутренне богаче стали сельские девушки».

— Дельна, слышно, в Терехове руководительница молодежного звена. Не знаешь ты ее? — спросил Таню председатель

— Знаю! Она мне троюродная сестра по матери.

— Так ты сегодня зайди к ней, перейми из ее опыта все, что тебе приглянется, поучись.

— Мне хочется с ней повидаться, я отпрошусь у вас на часок.

— Иди повидайся, пока мы семена грузим.

В Терехове Нефед Степаныч представил Таню Вениамину Андроньчу.

— Значит, в поход за славой? — спросил тереховский председатель, здороваясь с девушкой.

Таня поняла его.

— Пожалуй, что так, — ответила она, улыбаясь.

— Должно быть именно так! Иначе и за звено браться не стоит.

— Вашей руководительнице молодежного звена сродни она приходится, — заметил Нефед Степаныч.

— Вот как!.. Тогда не отставай от своей родственницы. Она у нас знатно звеном руководит.

— Постараюсь.

Нефед Степаныч отправился получать семена, Таня ушла к троюродной сестре. Через час подводы были нагружены мешками с чистосортной пшеницей. Вениамин Андроньч, считая событие это значительным, вышел провожать. Желание, чтобы все было хорошо не только у него, но и у других, всколыхнулось в нем с особенной силой сегодня.

— Хочу тебя я нынче, сосед, на соревнование вызвать, — сказал он, прощаясь.

— Что ты, что ты! — оторопело воскликнул Нефед Степаныч. — Не по своей силе выбрал, люди смеяться будут, скажут: вот связался леший с младенцем. Удовольствия в соревновании нет, когда наперед знаешь его результаты.

— Ты, сосед, младенцем не прикидывайся. Знаю — вы крепко нынче беретесь. Своя партийная организация теперь у вас! Она хоть и небольшая, но, говорят, вдохновляет хорошо. Сам станешь скоро таким лешим, что тебя и не поборешь, впереди меня встанешь.

— Твоими бы устами, Вениамин Андронич, мед пить. Я и не мечтаю еще тебя опередить... Хоть бы мало-то маля...

— А ты мечтай! Гидростанцию-то строишь ли?

— Не до нее еще... Без гидростанции невпроворот всего... Хоть бы весенний-то сев по-людски провести.

В правлении людно: председатель, секретарь партийной организации, бухгалтер, бригадиры, звеньевые, много рядовых колхозников. Под потолком горит большая лампа. Жарко, но воздух чистый. Сегодня здесь много женщин, девушек, и потому Алексей Ивонин запретил мужчинам курить. Его слушаются: никто не курит.

На северной стороне молодого березнячка зимой намело сугробы вровень с верхушками. Снег тут растаял на две недели позже, чем на полях, и всходы пшеницы тут выпрели. Правленцы, а с ними и все присутствующие печалятся: пропала пшеница. Что теперь делать? Перепахивать. Четыре гектара пшеницы. Жалко. Немало тут было бы хлеба. Одни предлагают перепахать, другие оставить: не может того быть, чтобы вся сопрела, должна какая-то часть остаться живой.

— Я сегодня посмотрела — корешки-то живы, — слышится мягкий голос Паши Ивониной.

— Живы? — обрадованно переспрашивает Нефед Степаныч.

— Живы, — подтверждает Паша.

— Не будем перепахивать, — предлагает Нефед Степаныч. — Отдадим эту пшеницу звену Павлы Михайловны, пусть она помудрует над ней.

Нефед Степаныча эта мысль только сейчас осенила и потому он еще не утвердился в ней, хочет знать мнения правленцев и колхозников.

— Отдайте Паше, — поддерживает его бабушка Стратилатова. — От одного только ее ласкового взгляда пшеница оживает.

— Взглядом пшеницу не возродишь и не вырастишь, — слышится голос от задней стены.

Бабушка смотрит туда и качает головой:

— Милой, надо понимать красные-то слова!

— Взглядом, конечно, пшеницу не возродишь, но, если ее подкормить, а потом железными граблями вручную осторожно порыхлить, — говорит Паша, — она пойдет.

— Пойти-то может она и пойдет, но грабельками четыре гектарчика поцарапаешь. Напреет.

— Время с нами — сделаем, — спокойно говорит бабушка Стратилатова. Умная старуха, уважает умную Пашу и потому первой вступила в ее звено.

— Так и порешим, — заключает Нефед Степаныч, — поручим прелый участок звену Павлы Михайловны, а плановый урожай проставим в договоре — восемь центнеров...

— Много-овато, — раздался протестующий голос.

— Выходы-то ведь гиблые... Сами сейчас перепахивать собирались.

— Поле-то голое, как ладонь.

— По шести центнеров с гектара соберет и то ей слава.

Нефед Степаныч хотел было вписать шесть, но тут же отвел руку:

— В договоре проставлять неловко... Ведь называется договор со звеном высокой урожайности!

— С пустого-то поля и шесть хорошо, — твердила бабушка Стратилатова.

— Проставь, Нефед Степаныч, семь и дело с концом, — подсказала Паша тихо, но твердо. И все успокоились. Только бабушка Стратилатова хотела запротестовать, но Паша повела на нее взглядом, и та смолкла.

Нефед Степаныч вписывает семь.

Разговор дальше идет о молодежном звене.

Таня говорит, что ее звено согласно записать в договоре плановый урожай с гектара — девять центнеров, сверхплановый обещает получить — тринадцать. Нефед Степаныч предлагает проставить в договоре — двенадцать и пятнадцать.

— Ведь это не озимая, Нефед Степаныч, — убеждает его Таня. — Яровая меньше дает. По озимой я согласилась бы и на эти цифры, а по яровой не соглашусь.

Оля Резцова, Груня Мягкова и другие девушки и паренки молодежного звена дружно поддерживают свою звеньевую. Они понимают, куда она гнет: цифра планового урожая будет меньше, больше дополнительной оплаты получит звено.

— Прижимиста ты, девка, — вздыхает Нефед Степаныч (он подружился с Таней и называет ее теперь, как и всех в артели, на ты), — на Русаковом прошлый год картошка была — замечательный предшественник для пшеницы. А семена-то у тебя будут какие! Элита!

— Я помню, что под этот замечательный предшественник прошлый год никаких удобрений не клали, надеялись, что Русаково поле так вывезет, а оно вывозить отказалось, потому что на него все надеются, а ничего ему не дают.

Молодежь в восторге от своей руководительницы: она знает дело.

Председатель настаивает на своем, Таня не уступает.

— Вся в мать, — перешептываются женщины. — Та и ласкова, и сговорчива, а, если заладит свое, рычагом ее с места не стронешь.

— В бабушку Елену, — утверждает бабушка Стратилатова.

— Та по полосе в день одна выжинала.

— 'А велика ли, широка ли полоса? — интересуется Оля Резцова.

— Шага три в ширину-то...

Наконец Таня соглашается на десять центнеров.

— /Ладно, — соглашается Нефед Степаныч. — Не люблю долго разговаривать, а за настойчивость хвалю.

Дальше начинается разговор о картошке. Звено Тани Буковой собирается вырастить невиданный урожай, под каждый куст намечает положить навоза и семь-десять граммов сульфат-аммония по примеру лучшего звена в Терехове. Плановый урожай сто двадцать центнеров, сверхплановый — триста.

Договор с Таниным звеном заключен, предстоит договориться с Батмановским. Сдержанный говорок стих. Мирон Батманов собирается снять два урожая картошки, что всех очень интересует.

— Лето у тебя, бабушка, до января что ли запланировано? — спрашивает бабушка Стратилатова.

— Бабка скажет, так уж скажет! — восхищенно отзывается Мирон: — с подковыркой... До января лето не запланируешь... Я просто хочу полностью использовать то тепло, которое дает нам природа.

— Мирон не раз выращивал по два урожая картошки у себя на огороде, а теперь хочет вырастить на колхозном поле, — говорит Нефед Степаныч.

Потом подписывает договор на свое звено Алексей Ивонин.

Христина Теплова садится на другое место — поближе к столу.

— Христина Кирилловна, — обращается к ней Петр Долотов, — тебе бы тоже надо — звено... Ты мастерица земли первостатейная.

— У меня корова, стряпня, ребята, где уж мне...

— А ты в чье звено записалась?

— Пока ни в чье...

— В чье же думаешь.

— Я бы пошла в Алексеево!

Ее слова прозвучали так неожиданно, что разговоры прекратились.

Алексей Ивонин удивлен и несколько смущен.

— Христина Кирилловна, — говорит он, — ты подумай: у меня звено из самых отчаянных, первоклассным назвать его нельзя, перед ним одно из двух — либо развалится, либо покажет чудеса.

— Я люблю так: либо пан, либо пропал, я сама отчаянная.

— Верно, Христина Кирилловна, — вплеп в разговор свой голос Нефед Степаныч, — на работу ты отчаянная.

— Я рад, что мое звено привлекает...

— А я хотел в свое позвать, — признается дядя Петр.

— Время скоро к полуночи, — говорят колхозники и группами начинают расходиться по домам.

Таня Букова сидит около бухгалтерского стола и домой не торопится.

— Нельзя ли мне записаться в молодежное? — говорит ей Тихон Старостин.

Таня недоверчиво смотрит на него и говорит:

— Шутите вы, Тихон Матвеевич...

Ей кажется, что он решил полюбезничать и говорит не серьезно.

— Что — разве стар я?

— Не стар, но вы бухгалтер, у вас времени нет.

— А я утречком пораньше встану, вспашу вам или заброную... Я пахать хорошо умею, а у вас в молодежном пахарей хороших, говорят, нет. И вечером я могу опять часов с пяти—шести... До темна можно еще много сделать.

Слова Старостина звучат убедительно. Таня задумывается:

— Я подумаю, если это серьезно! — говорит она.

В правленческую избу входит Федя. Отец удивленно качает головой:

— Что тебе сегодня не спится?

— Я у Вали Горшкова засиделся. Увидел тебя в окно и зашел.

— У Вали таких листочков, помнишь, еще нет?

— Нет. Валя очень добрый: у ребят зимой бумаги не было, он им всю тетрадь и роздал.

Сторож Никита Андреич, припадая на обе ноги, идет гасить лампу.

— Пора на покой, — угрюмо говорит он спросонья: — Сколь карасину жгут третий вечер... При покойном, вечная ему память, Ефиме Васильиче бригады много карасину жгли, а теперь звенья...

Старостин прибирает на столе. Таня молча направляется к выходу, смущенная появлением сторожа.

— Подождите минутку — пойдем вместе, нам ведь по пути. Федя, идем.

По дороге он рассказывает историю с записками Ефима Васильевича.

— Немножко нашлось, а остальное не находится. Надо бы самого Валу к этому привлечь. Он помнит...

— Мальчик впечатлительный, — говорит Таня, — ему будет больно, если он узнает, что отцовы записки утратил. Очевидно он думал, что это просто исписанная бумага.

С вечера занемогло. Проглянули теплые деньки, стала земля подсыхать, листочки на вербах и ветлах появились, а сейчас опять рвет и мечет студеной ветер, хлещет в лицо дождем и снегом. Холодно. Того только и жди, что к утру

грянет заморозок. К весенней пашне все припасено, земля была готова поспеть для посева, люди было собирались двинуться в поле, а ненастье теперь задержит. Сколько оно отнимет дней.

Навстречу в стороне движется медлительная фигура.

— Дедушка! — узнает Таня: — Куда ты, дедушка?

Она бросается к нему.

Тихон Старостин слышит придирчивый голос старика Назара:

— Куда ты пропала?

— Я в правлении была.

— До поздней-то ноченьки

— Договор на свое звено заключала.

— Мать беспокоится... Где, говорит, она?..

— Тихон Матвееч, до свиданья, — доносится сквозь ветер приветливый голос Тани.

Она приходит домой и видит, что мать спит преспокойным сном, хочет сказать дедушке, что он покривил душой, но у нее на это не поворачивается язык. «Любит он меня и бережет, — думает Таня, — разве можно над этим шутить».

* * *

Миша Теплов сидел посреди избы на низеньком стуле и готовил к утру рыболовную снасть. Он видел перед собой полную картину того, как завтра встанет чуть свет, возьмет принадлежности для рыбной ловли, пойдет за Климом Кочетковым и Валеркой Алфеевым, и они отправятся на реку.

Час, два, а то и все три до начала занятий в школе они пробудут на реке и может что-нибудь по счастью поймают.

Меньшой брат Ося, по прозвищу Верхолаз, читал у огонька книжку, потом «заклевал» носом и положил голову на стол.

Верхолазом его прозвали в семье за то, что он любил спать под потолком, на полатах.

— Ось, иди-ка спать! — твердо сказал старший брат.

Верхолаз решительно поднялся, разделся, одним махом очутился на полатах, лег и моментально заснул.

— Вот это по-нашему, — похвалил брата Миша, — по-мужчински!..

В окна избушки хлестал дождь, страшными порывами налетал ветер, и под его завывания маленькая сестренка тоскливо тянула:

— Скоро ли мама придет?

— Покончит дела и придет, — невозмутимо отвечал брат.

— А когда она их покончит?

— Когда все переделает.

Дождь хлестал-хлестал, да еще сильнее приударил в ка-

ком-то страшном неистовстве. Крупные капли падали с такой силой, что от них летели в стороны брызги грязи. Они достигали окошек избышки, уткнувшейся передом в землю, и растекались по ним.

Ленка давно лежала в кровати, но никак не могла заснуть. Она привыкла спать с матерью, и сейчас ей как будто чего-то нехватало, она ворочалась с боку на бок и продолжала свое:

— Почему она долго не идет?

— Потому что занята.

— А чем занята?

— В звено вступает.

— Какое звено?

— А вот такое: собираются десять-двенадцать человек, берут большие участки земли, удобряют, пашут, сеют, ухаживают за посевами, а потом собирают хороший урожай.

— Все колхозники этак работают...

— Этак да не так, ты слушай внимательнее, я говорю, что звено собирает не просто урожай, а хороший урожай! Планом им назначено собрать по десять центнеров с гектара, а они снимут по пятнадцати, скажем, к примеру, а если больше, то еще того лучше. За все, что сверх десяти, звено получит дополнительную оплату кроме трудодней...

— И мама больше хлеба получит?

— Больше! Правильно ты поняла. Видишь: в тебе понятие уже есть, а ты плачешь, как грудной младенец.

Сестренка удовлетворенно затихла, положила ручки под щеку и попробовала заснуть, но сон не приходил. Она повернулась на спину, потом на другой бок и опять захныкала:

— Она еще долго не придет?

— Может и долго...

— С кем же я спать-то буду-у-у...

— Эх, голубушка, избаловали, я вижу, мы тебя, — вздохнул мальчик так, как это делала мать.

Девочка была в семье самой маленькой и росла на самом деле избалованной. Братья, ребята крепкие, здоровые, были значительно старше ее и обращались с ней нежно, предупредительно. Девочка к тому же была очень похожа на погибшего отца, и потому мать в ней души не чаяла.

— Как же мне теперь сп-а-ать-то? — тянула она свое.

— Как же, как же! — вспыхнул брат, — а вот так же, как Ося: взмахнул на полати, свернулся и заснул.

— Так он бо-о-льшой...

— Ну и ты стала большая.

— Да-а... Я ниже вас... Я до шестка еще не достаю-ю...

— Эх, не договоришься, видно, с тобой.

Миша нехотя поднялся и принялся прибираться. Изба хоть и была старая, щелявая, покосившаяся, но мать постоянно

поддерживала в ней чистоту, порядок и приучила к этому детей, а потому сын все инструменты и снасти сложил в укладку и подмел избу.

Эта укладка хранилась в семье еще от деда и была сделана из какого-то несокрушимого дерева. Она служила сейчас складом топоров, гвоздей, долот, рыболовных принадлежностей, исписанных школьных тетрадок, старых газет, сохранившихся еще от отца...

Она была такая большая, эта дедовская укладка-кровать, что Миша спал на ней, вытянувшись во весь рост.

Он приготовил постель, рассчитывая в один миг перебраться на свое место, как только вернется мать, разделся, погасил огонек и лег рядом с сестренкой. Он погладил ее по голове и проговорил успокаивающе:

— Спи!

— Про лисичку расскажешь?

— Сама ты лисичка-сестричка.

— Ну-у... Хоть немножко... Я люблю про нее..:

— Расскажу... Спи!

Под сказку девочка успокоилась, а вскоре заснул и брат. Мать пришла поздно, приподняла щеколду крылечной двери, открыла, бесшумно вошла в избу, зажгла огонь.

Дети спали безмятежным сном. Никто из них не проснулся.

«Крепко спят, хоть в мешок всех заклади, и то не услышат», — подумала она, полюбовалась на детей и не решилась будить старшего.

Пожалела. Улеглась на укладке, слегка подогнув ноги.

Миша проснулся, когда в окнах забелел рассвет.

«Вот велел себе в это время встать и как раз встал,» — с удовольствием подумал мальчик.

Он поднялся и заметил, что всю ночь проспал на кровати: мать пришла и легла на его место.

«Она не разбудила меня, чтобы я лучше выспался», — подумал Миша.

Он обул сапоги, стал снимать тужурку, которая висела над укладкой, и увидел голову матери. Сын заметил седую прядку волос, спустившуюся на висок, запавшую щеку и неожиданно подумал: «А ведь мама-то постарела. Без отца досталось ей с нами с тронми».

Мать во сне устало раскинула натруженные руки, и сын вдруг почувствовал, что ему жаль ее тревожить.

«Устала, — думал он, — вчера весь день удобрения возила, а вечером допоздна в правлении, а впереди весенняя пашня...»

Мальчик прошелся по избе и посмотрел в окно. На улице было уже совсем светло, на поверхности широкой лужи, что стояла под окном, колыхались красные блики, стало быть, на

восходе горела большая заря. «Сейчас, с минуты на минуту жди, Клим с Валеркой зайдут... Улов сегодня должен быть хороший: рыба об эту пору шала, она теперь даже по заливным лугам ходит.

Неужели сегодня не удастся порыбачить. Вот беда! Лег вчера только сестренку успокоить и уснул так, что не слышал прихода матери.

Сам виноват. Но сеть, все-таки, надо достать... Может мама проснется».

Сын долго стоял около сундука, но мать спала крепким сном.

Снасть готова, а взять нельзя. Не надо бы ее убирать, сейчас бы взял и покатыл без горя. Как бы так ее вызволить из сундука и мать не потревожить. Если разбудить, она ничего не скажет, умоется, оденется и примется за дела. В ее молчании сын почувствует немой укор и грустно сникнет, потому что это для него тяжелее брани.

Положение казалось безвыходным, но желание отправиться на рыбалку не покидало его. В глазах Миши блеснул вдруг зазорный огонек, он рывком взобрался на прилечку, куда положено было в семье ставить обувь, и сбросил оттуда на пол свои сапоги. Один сапог шлепнулся голенищем мягко, как блин, другой же ударился каблуком так, что сухая половица прогудела струной. Мальчик втянул голову в плечи и замер, ожидая, что мать сейчас проснется, но она только пошевелилась и легла поудобнее. Над головой скрипнули полати. «Оська сейчас проснется, — подумал Миша, — а за ним сестренка, наделаешь суматохи, разбудишь раньше времени всю семью, мать тогда уже скажет: маленьким ребятишкам и то поспать не дал. В душе шевельнулось недовольство собой, ему стало стыдно, и он тихо спустился с припечки. «Папа за это бы не похвалил», — услышал он внутренний голос и вспомнил, что ему еще маленькому отец говорил, отправляясь на войну:

— Слушайся здесь маму и береги ее!

«Вот и надо беречь», — сказал себе Миша, и на душе стало легче.

Он обулся неслышно, надел тужурку и кепку и, осторожно толкнув дверь, вышел на крыльцо. Глянув через поле в сторону реки, он увидел жаворонка, который взлетел с проталинки и зазвенел серебристыми трелями.

В высоте его крылья пронизал первый луч солнца, и они засветились. Миша следил за полетом жаворонка, вслушивался в его трели и сам себя почувствовал, как будто окрыленным.

В логу ревела вода, прорываясь к Выремше. С полей тянуло холодком. У молочной фермы послышались голоса. Пришли доярки. Скотник поехал в сарай за кормом.

Жаворонок упорно стремился ввысь, где быстро неслись темные облака. Вскоре он только чуть-чуть виднелся, казался чернишкой, но песня его все еще доходила отчетливо.

Но вот путь головокружительного подъема пересекло широкое облако.

Жаворонок не отступил.

Он врезался в середину, но смолк. Может ему там трудно дышалось в облачной сырости, может нехватало света для его солнечной песенки.

Пробившись сквозь облако, он снова запел. Жаворонка не было уже видно, но песню его ухо еще улавливало явственно. Миша понял, что, одержав победу, жаворонок запел громче, торжественнее.

«Вот напористый», — подумалось мальчику.

Огромный, исхудалый за зиму грач, недовольно каркая, тяжело летел с поля в село. Сегодня сильный утренник прихватил землю, на ней не отошла еще ледяная корка, и грачу, видно, не удалось в поле подкормиться.

Миша провожал старую птицу сожалительным взглядом и наткнулся на Клина Кочеткова и Валерку Алфеева.

Они только что появились на улице.

Друзья озабоченно спешили.

— А мы ждали-ждали тебя да сами за тобой и двинули, — тоненьким резким голоском затараторил Валерка Алфеев: — Ты проспал! Обещался нас разбудить, а сам спит-похрапывает...

— Да не проспал я, — нетерпеливо перебил его Миша Теплов.

— Вон Поликарпыч давно на реке, встал, поди, затемно, — не слушая его продолжал Валерка: — Вот это рыбак! А ты снасть после отца имеешь, а в постели прохлаждаешься. Это не рыбак, который просыпает...

— Я сказываю тебе, что не проспал, встал, может, раньше твоего Поликарпыча, — прикрикнул на него Миша.

— Что же ты не зашел?

— Решил просто не заходить.

— Дружба, значит, врозь! — запетушился Валерка. — Загордился: одни пятерки! Иль осердился на что?

— Не загордился и не осердился, а так по семейным обстоятельствам.

— Что же у вас? — озабоченно спросил серьезный толстый Клима Кочетков. — Случилось что-нибудь?

— Ничего особого не случилось, — заговорил Миша и кратко рассказал обо всем, что ему помешало отправиться на рыбную ловлю.

— Экие нежности, — протянул с кислой гримасой Валерка Алфеев. — Иди и буди скорее, сейчас же мы и на реку махнем.

— Помчался — того гляди...

Валерка приблизился к Мише по-петушину боком, глянул одним глазом и сквозь зубы процедил:

— Эх ты-ы, друг... Тебе мать, значит, дороже дружбы?!

— Мать дружбе не мешает.

— А вот и мешает: на реку-то не с чем итти.

— Сходим в другой раз.

— В другой ра-аз... Ма-амкин сынок...

— Ты встань подальше и не дрожи, подбери себя, — сурово сказал Миша. — Ты учись принимать все спокойно.

Валерка отошел от Миши и отвернулся:

— Я без тебя знаю, чему мне надо учиться.

— Что ж не учишься...

— Поди, все-таки, подыми ее! — спокойно обратился к Мише Клим: — Она встанет на минутку, а потом опять заснет.

— Не-ет, — возразил Миша, — если ее разбудить, она уже больше не заснет. Я ее хорошо знаю — она такая беспокойная: встанет, примется за дела и закрутится в хлопотах на весь день. Пу-у-сть хорошенько поспит, силенок подкопит, впереди страдное время, а она у нас стала старая..:

— Эх, ты-ы... Перед мамкой сробел, — не унимался Валерка. — Не диво бы перед отцом, а то...

— Я не боюсь, а берегу ее, чу-у-дак, — повысил голос Миша, стараясь вразумить беспокойного приятеля.

— Никто ее у тебя не отымет, — вновь вскипел канительный Валерка и заговорил сбивчиво, со слезой в голосе: — Была бы у нас снасть... Мы бы и не пошли может к тебе... Мы бы встали раньше Поликарпыча... Мы бы давно ловили... Мы бы:::

— Ла-а-дно, хватит тебе, — остановил его умный, невозмутимый Клим Кочетков. — Тебе с утра хочется уже с кем-нибудь схватиться. Пойдем к Поликарпычу!

Валерка плюнул с досады, махнул рукой, и они впритруску пустились к реке. Мишу они намеренно не пригласили с собой. Он понял, что друзья хоть чем-нибудь хотят донять его за несговорчивость.

Наперекор им он пошел домой и сел за учебники.

«Пусть они гуляют, а я буду учить и учить, а на экзамене покажу им, как надо отвечать, — мелькало у него в мыслях. — М-н-о-о-го они без меня наловят, а Поликарпыч шугнет их от себя, чтобы не мешали».

Он занялся повторением и не заметил, как промелькнули часы раннего утра. Поднялась мать и затопила печь. Проснулся на полатах Верхолаз и свесил оттуда голову:

— Миш, что ты меня за рыбой не разбудил? — обиженно спросил он.

— Я и сам не ходил.

- Что же ты?
- Да так...
- Придумал, да опять отдумал?
- Что-то не захотелось...
- А Клим с Валеркой заходили?
- Заходили.
- Что ты им сказал?
- Сказал, что не пойду. Вот и все.

Ося не верил, что брат — такой заядлый рыбак — мог так просто, ни с того, ни с сего, отказаться от рыбной ловли, и продолжал спрашивать в надежде что-нибудь выведать:

- Они рассердились? Валерка-та кипятился?
- Кипятился.
- И петушился?
- Петушился.
- На драку разжигал себя?
- Разжигал.
- Стукнуть не пробовал?
- Я бы ему стукнул.
- А Клим только шурился?
- Шурился.
- Валерку унимал?
- Увел к Поликарпычу.
- Почему все ж-таки тебе итти с ними не захотелось?
- После скажу... Слезай, Верхолаз, завтракать будем, — весело прикрикнул на брата Миша.

У него было чудесное настроение.

Сегодня он в первый раз настоял на своем и ощутил силу своей воли.

Все утро он был расторопен, предупредителен, ласков. Без слов понимал, чего надо принести, вынести, в чем нужно помочь матери. Он подмел избу, поставил самовар. Рассказал сестренке о настойчивом жаворонке. Изобразил, как он вспархивает с проталинки, упорно стремится в небо и старался возможно точнее воспроизвести его трели.

Мать незаметно любовалась сыном и, наконец, ласково молвила:

— Сам-то ты, как жаворонек, звенишь все утро. Садись завтракать, в школу пора.

За Мишей зашла одноклассница, сестра Вали Цветовой — Люська, шустрая, говорливая девочка.

— Я сегодня проспала, — резким голоском защebetала она, — скатилась с постели, скоренько собралась, книжки схватила да бежать...

— Садись тогда позавтракай, — предложил Миша.

— Нет, спасибо, я хоть и скоренько, а поела.

— Тогда чайку выпей!

— Вот чайку можно...

— Что же ты, голубушка, так долго спишь? — снисходительно спросила Христина.

— Я вчера в Терехово на кино ходила.

— Ах и непоседа же ты, — укоризненно ахнула Христина. — Дубцом бы тебя... Как же ты дошла оттуда в такую непогоду.

— Я бы одна и дорогу-то не нашла... Нас было много... Еле-то еле мы доползли... Темка непроглядная, дождь так и стегает, а потом снег...

— Я большая и то от правления домой еле дошла, а вы такие маленькие от Терехова...

— Мам, ты в чье звено вступила? — перебил ее сын.

— В Алексеево.

— Вот это здорово! — восторженно воскликнул Миша. — Алексеем можно работать. Он в обиду свое звено не даст, урожай у него не смешаешь, дополнительную не забудешь выдать...

— От кого ты это слышал?

— Все так говорят... Мам, он правду пр-я-я-мо в глаза режет... Недавно Сашу Ныртикова отчитал... Пришел к нему пр-я-я-мо на огород и так взял в работу, что Саша не знал куда деваться...

— Откуда ты все это знаешь? — удивилась мать.

— Иван Косачев кому-то рассказывал, а ребята из нашего класса слышали. Иван Косачев его очень хвалил...

— Кого?

— Алексея.

— Валя тоже все время его хвалит, — вмешалась в разговор Люська.

— Какая Валя? — думая о чем-то другом, спросила Христина: — Валея в колхозе у нас очень много.

— Наша Валя... Моя сестра...

— А-а! Как же она его хвалит?

— Говорит, что он офицером на фронте был, офицером и здесь остался... И что о себе много не думает и работает со всеми вместе... Характер у него такой, что за ним хоть на край света... И что он порядок в колхозе наведет, и мы будем теперь жить лучше!..

— Ваша Валя правильно говорит, — проговорила Христина и взглянула на ходики. Миша понял ее и твердо сказал Люське:

— Идем. Пора!

— Клима с Валеркой ждать не будем? — спросила девочка.

— Не будем: они сегодня за мной не зайдут. По-о-шли.

Миша полагал, что друзья будут долго сердиться на него, но они встретили его в школе веселые-развеселые и сами первые подошли к нему.

— Зря с нами не пошел, — заговорил Валерка, — мы сегодня здорово порыбачили! Так порыбачили, что лучше быть нельзя.

Миша не поверил:

— Чем же здорово-то? Шутнул вас, наверно, от себя Поликарпыч-то.

— А что нам Поликарпыч... Мы к нему и не подходили, нашли рыбака почище его! Этот веселый, не шипит, не ворчит, как Поликарпыч, разговаривает уважительно, когда находишься с ним, душа радуется.

— Кто же такой хороший вам попался? — заинтересовался Миша.

— А вот угадай!

Миша подумал-подумал и проговорил:

— Кроме Поликарпыча и нас троих на реке-то никогда никого не увидишь, так что и гадать тут нечего.

— Не отгадает, — солидно проговорил Клим, — скажи ему прямо!

— Попался нам Алексей Лукич, — гордо сообщил Валерка. — С офицером рыбачили! В-во! А ты прохлопал... Теперь мы с ним дружки! С ним теперь рыбачить будем. Снасть у него получше твоей.

Миша позавидовал друзьям и просительно проговорил:

— И я в следующий раз пойду!

— Это еще вопрос, — захорохорился Валерка.

— Чего тебе жаль, — осадил его Клим. — Лукич всем рад, а у него (Клим кивнул на Мишу) отец погиб на фронте, таких Лукич больше жалеет... В другой раз пойдем к нему всей тройкой!

* * *

Под картофельник звену Мирона Батманова отвели Конопляники.

Название угодья говорило о том, что когда-то здесь, в северном селе Думине, сеяли коноплю.

Время стояло непогожее. То лили дожди, то падал хлопьями снег и лежал на земле по целому дню. Было до того холодно, что в избах еще по-зимнему жарко топили печи и медлили выставлять из окон рамы.

Заботливого, ретивого к работе Мирона Батманова ненастье угнетало больше, чем других.

Он беспокоился в эти дни, не знал куда девать себя. Посидит, походит по избе, возьмет с полки заветную стопку брошюр по сельскому хозяйству, полистает, заглянет в одну, в другую, почитает, вздохнет. Д-да, ранняя весна выходит на позднюю, сроки отодвигаются, надо бы работать, а тут приходится бездельничать...

Вдруг ему покажется, что в окнах посветлело, на стол упал веселый луч весеннего солнца и радостью возрождения природы тронул горячее сердце ретивого земледельца.

Мирон торопливо убирает на поллицу стопку книжек, накидывает на плечи тужурку, шапку в охапку и на волю, смотрит вверх и к радости своей видит: небо посветлело, заголубело.

Настроение Мирона улучшается, он чувствует себя увереннее, становится деятельным: отводит заступом воду из огорода, готовит колышки для помидор, хотя помидорная рассада еще в плошках и ящиках стоит в углу около печки, и только-только проклюнулись в перегное первые росточки.

Прошло часа два-три, и вот уже Мирон, не замечая встречных, торопится в поле. Ему думается: Коноплянники проросли, и на них, пожалуй, можно начинать.

Издалека ему видится, что рыхлая земля от проливных дождей вспухла, как опара, но не хочется верить. «Мужик глазам не верит, дай пощупаю», — говорит он себе. Подходит к полю, вступает на него: ноги уходят в грязь.

Мирон выскакивает из топи на более твердое место, вздыхает сокрушенно и становится как будто меньше, сутулее, взгляд его тускнеет.

Мирон сдвигает фронтную шапку на затылок, вытирает рукавом потный лоб и в тяжелых от ошметков грязи сапогах медленно, понуро бредет прочь от Коноплянников. Глядит вверх: голубая высь померкла, по небу потянулись серые лохмотья, туч нет, но, если не сейчас, то немного погодя, опять польет дождь.

«В ненастье дождь из серенького клочка полдня льет, а в сушь огромная туча проплывет и десяток капель только обронит, — недовольно думает Мирон о дожде. — Когда надо, его нет; а когда не нужно, он готов потопить все. Почти всегда так и бывает. Слепая ст-и-хия, ни-и-какого разума и порядка».

Домой идти не хочется, там ему тесно, душно от беспокойства, тревог, вынужденного безделья, и он бредет неведомо куда, пробираясь там, где повыше, где не вязнет нога.

Высокие места приводят его на пологий холм, который далеко вклинился между Выремшей и Любицей при впадении первой во вторую.

Маленькая Выремша разлилась от дождей так, что, взглянув на нее, Мирон говорит себе: «Хоть пароходы пускай».

Еще шире Любица. Она затопила все прибрежные луга, кустарники и кажется величавой и суровой.

«Воды-ы, воды-то! — восклицает Мирон. — Трав нынче будет много, это хорошо, но другое плохо: в моем звене подошел последний срок первой посадки, а на Конопляниках

грязь, вода, когда просохнет—неизвестно. Конечно, рано или поздно все просохнет, но сроки уже нарушатся, все пойдет кувырком, двух урожаев звено не соберет, первый блин выйдет комом».

Опять накрапывает дождь. Мирон еще больше сутулится и поворачивает к дому. Мирон страдает.

Ему нужно сто восемьдесят более или менее теплых дней, чтобы вырастить два урожая картошки, а ненастье грабит его. Ему сейчас дозарезу необходима такая земля, на которую бы мог вступить пахарь с конем и плутом. Тогда бы он соблюл все сроки и выполнил бы обещание.

Спускаясь по отлогому скату, Мирон замечает, что под ногами не чавкает, каблуки даже не вминают землю. Мирон застыивает на месте, думает, потом бросается в сторону и бежит вокруг холма, стараясь ступать крепче, тяжелее. То бегом, то шагом он обходит холм вдоль и поперек и останавливается, довольно щелкает пальцами. Мысль его созрела.

Он сдвигает шапку на висок, лихо шлепает по ней ладонью и спешит в правление, легко, молодо перепрыгивая через канавы и колдобины, переполненные водой. Середина дня. В правлении — председатель, секретарь партийной организации, почти все бригадиры и звеньевые. Они разглядывают барометр, стучают по стеклышку пальцем и говорят о видах на погоду, предсказывают, соглашаются и спорят.

К севу все подготовлено, но выезжать в поле нельзя, ненастье связало руки, людям нечего делать.

Мирон вступает в разговор, незаметно пробирается к столу председателя и возбужденно говорит, присаживаясь:

— Нефед Степаныч, один ученый сказал: у нас мало солнечных дней...

— Ма-ало, — соглашается Нефед Степаныч.

— Лето наше короткое, — продолжает Мирон.

— Короткое, — вторит председатель, не понимая, о чем заводит разговор Батманов.

— Что наше северное лето? — внятно, четко, нарастающим спрашивает Таня Букова и после долгой паузы сама отвечает:

— Карикатура южных зим.

— Мало я начитан, но это помню... Из Пушкина! — восторженно отзывается Мирон и еще больше оживляется:

— И вот на протяжении этой карикатуры я должен снять два урожая картошки! Сейчас конец апреля... Подходит последний срок первой посадки, а на Конопляники не влезешь, ноги засасывает. Весна затяжная, дни уходят, как мне быть?

— Скоро разгуляется, — хочет успокоить его председатель.

Теперь, если и разгуляется, так и то целую неделю не

просохнет. Мне не скоро надо, а сейчас... Мне нельзя ждать! У меня сро-о-ки! — почти кричит Мирон.

— Что ты заголосил? — удивляется Нефед Степаныч. — Природа не дождевальная установка, я не могу завернуть кран.

— Кран ты не можешь завернуть, но можешь дать мне Стрелку!

На полуслове обрываются разговоры, все смолкло.

Неожиданная тишина.

Люди понемногу начинают понимать, чего добивается Мирон Батманов.

Стрелкой называется холм, что стрелой вонзился между Выремшей и Любицей. Века праздно высится он над полями вытопанный, обожженный солнцем. И никто еще никогда не нацеливался на него, не собирался его запахать.

— Зачем тебе Стрелку? — медленно спрашивает председатель, чтобы иметь время подумать.

— Я ее в несколько дней вспашу, посажу картофель, и у меня все пойдет по срокам, как по маслу. Если же я буду ждать, когда просохнут Конопляники, у меня сроки сдвинутся и ничего не выйдет.

Умный, но неособенно быстро соображающий и тяжеловаялый на подъем Нефед Степаныч задумчиво тянет:

— Стрелка-та Стрелкой, но у тебя по плану Конопляники.

Мирон боится возражать против плана, не зря же он составлен, его надо строго придерживаться, его сейчас уже надо выполнять, а приступать к делу нельзя. Как-то очень странно получается?!

— Я отступлю немножко от плана, но зато потом перевыполню: на Стрелке посажу картошку, а на Конопляниках посеют ячмень. В июне он будет, как непроглядная ночь, темный, густой...

Все молчат.

— Стрелка... Что Стрелка? — теперь уже тихо и просяще говорит Мирон. — Туда только пастух стадо гоняет на водопой и стоянку. Для этого найдем другое место на берегу Любицы или Выремши и дело с концом. Картошки два урожая выращу и весь колхоз досыта ячневыми блинами накормлю. А план есть план, я его уважаю, он правильно составлен, но вот препятствия в нем мы не предусмотрели...

Все находят, что Мирон здорово смекнул насчет Стрелки, некоторые завидуют ему и от зависти не прочь унять его прыть. Почему Стрелка ни с того, ни с сего достанется его звену. Сунься, но для картошки она как раз хороша. Почему эта мысль родилась у Мирона? Почему я не додумался раньше его? Обидно.

«Беспокойство рождает мысль, — мог бы ответить таким

Мирон, если бы они высказались. — Я беспокоился о двойном урожае, места себе не находил, отчаивался, и мысль родилась в моей голове. Я ненавидел безвременное ненастье, не спал, бегал по полям, искал и нашел. Теперь Стрелку поднимет мое звено и покажет, что и наше короткое лето немало стоит».

— Если каждый из нас будет нарушать планы, что же тогда будет? — бубнит кто-то глухо. — Зачем же тогда над ними голову ломать, составлять и обсуждать. Тогда лучше прямо выезжай в поле и начинай, как бог на души положит, по-старинному.

— Составлять и обсуждать планы надо, — слышится, наконец, голос Алексея Ивонина. — Каждый командир, бывает, на бумаге, бывает, мысленно, составляет план сражения. Скажем, к примеру, я веду бой по плану. Все идет хорошо. Вдруг в одном месте, где, по имеющимся у меня данным, можно продвигнуться без потерь, солдаты напоролись на пулеметное гнездо. По плану я должен здесь пройти, но ради его буквы не губить же мне людей. Я принимаю решение и направляю бойцов иным путем, направляю туда, где намечается успех, и выигрываю бой. План мой выполнен или нет? Выполнен! Нарушена только буква его, которая не совпала с действительностью.

Одно большое сражение Суворов начал пехотой. Передовые части ввязались в бой. Наблюдая за боевыми действиями, он заметил, что укрепления турок во многих местах не закончены... Суворова осенило! Не прекращая боевых действий, чтобы не привлечь внимания турок, он несколько перестраивает свои боевые порядки, раздвигает пехотные части (Алексей разводит руками, показывая, как Суворов делает промежутки в рядах пехоты) и в интервалы бросает конницу. Она прорвалась через укрепленные позиции и пошла — пошла неудержимой лавиной!

Алексей говорит так, как говорили ему в военном училище, воспитывая в нем офицера, но в этом месте он срывается с тона, глаза его горят, лицо становится пунцовым. Он взмахивает рукой, показывая, как сечет врага суворовская конница.

— В истории войн до того еще не было случая, чтобы кто-либо из полководцев рискнул прорывать укрепленные позиции конными силами. Турки дрогнули, и давай только алах ноги, но от конницы разве убежишь?!

В общем, через несколько часов Суворов покончил с огромной по тому времени турецкой армией. Выполнил он свой план? Выполнил, изменив его в ходе сражения... Если Мирон Батманов посадит картошку на Стрелке, а не на Коноплянниках, выполнит он план или нет?

— Выполнит, — слышатся голоса.

— Не-ет...

— Ты же сам доказывал сейчас...

— Нет, он перевыполнит: и картошку вырастит и ячмень. Стрелка поможет выполнить план, а не нарушит его. Можно сказать так: не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Мое мнение такое: бери, Мирон, Стрелку, поднимай вековую целину, желаем успеха!

— К-о-о-нечно...

— Чего на нее любоваться, — неторопливо говорят колхозники.

— Стадо в другом месте постоит...

Мирон Батманов хватает шапку со стола и вскакивает со стула:

— Можно, Нефед Степаныч? — нетерпеливо спрашивает он.

— Можно!

— Тогда я скомандую сейчас же своим гвардейцам: «В ружье!» и па-а-ехали в поле. На Стрелке дождь нам не помеха, там вода стекает, всегда сухо, там на эту самую стихию...

Последние слова он договаривает уже за порогом.

Мимо окон правленческой избы прямо по лужам с непокрытой головой шагает счастливый человек и, вычерчивая шапкой линии и круги, видимо, что-то размечая, рассуждает сам с собой.

— Академик наш хорошо придумал, — говорит Таня Букова.

— Все-е-х обставит, — с нескрываемой завистью заявляет Наум Чайнов. — Супесь, галка есть, но зато от сотворения мира та земля праздник справляет, с незапамятных времен там стоянка...

— Д-а-а, ухватил кусок! — соглашается дядя Петр Долотов и, представив себе, как радостный, возбужденный Мирон Батманов собирает сейчас в поле свое звено, добавляет:

— На такое дело даже в глухую полночь звено в одну минуту двинется. В проигрыше Мирон не останется.

— Кто хорошо думает, у того хорошо и выходит, — заключает Алексей.

— Зря вы раззавидовались на него, — вступает в разговор молчавший до сих пор сторож правленческой избы Никита. — Мы, бывало, не дурее его были, а на Стрелку не зарились. Вся же она на припеке, в жаркое время, ровно каравай в печи... Всю его картошку летом выжарит.

* * *

Тракторная бригада остановилась в Терехове. Здесь она рассчитывала использовать все машины, но у Вениамина Андронича нехватало обсохших участков, и бригадир пере-

вел один трактор в Думино. Здесь поля были еще ниже, и Нефед Степаныч оказался в большом затруднении.

— На Стрелку бы этого молодца, — неприязненно кивнул Нефед Степаныч на тракториста, который вел себя гордо, обрасталая свысока и говорил:

— Мне дела нет до вашего «обсохло, просохло...» Хоть искусственную сушку устраивайте, а чтобы к вечеру поле мне было...

— Но на Стрелке всего три гектара с небольшим, и Мирон там начал...

— Сегодня утром уже закончил, — сообщил Тихон Старостин.

— Остается направить на верхние концы Русакова поля, — решил председатель. — Больше некуда!

Таня с неудовольствием встретила это решение. Оно в некотором отношении расстраивало ее план.

Надо бы подбросить туда еще удобрений, да и хотелось, чтобы Русаково поле с любовью и вниманием к земле вспахал Тихон.

Но нельзя в такую пору держать трактор без дела. Отвертеться от неожиданного помощника Тане не удалось. Девушка тогда решила договориться с ним, чтобы он вспахал «лучше быть нельзя», «на отличку», но тракторист ей не понравился.

С нахальными глазками и развязными манерами молодой парнишка разговор о деле сводил на плоские шуточки, приставал с ухаживаниями.

Таня возмутилась и ушла. Парень не смутился. Он только посмотрел ей вслед и самодовольно ухмыльнулся.

Тракторист долго возился у машины, шугал обступивших ее ребят и рисовался перед ними. «Много ты понимаешь», «Носом не вышел», «Ну и запорол бы машину на первом заезде», — разносился по всей улице его высокомерный говор.

— Валерка Алфеев неожиданно расхохотался:

— Дяденька тракторист, Мишка-то Теплов что про тебя сказал!..

— Что он сказал?

— Он сказал, что ты кобенишься.

— Который тут Мишка Теплов?

Ребята посторонились, чтобы тракторист мог видеть Мишку Теплова во весь рост. Парень замахнулся на него ключом, чтобы испугать и обратить в позорное бегство, но мальчик не шевельнулся и смотрел прямо в глаза.

Тракторист опустил руки с ключом и подступил к Мише:

— Что это значит ко-обенишься?

— Ну заносишься, зазнаешься.

Мальчик одерживал верх.

Парень от досады потряс руками и засквернословил.

— Ругаются, когда не знают, что сказать, — заметил Миша и отвернулся.

К нему подошел Клим Кочетков, одобрительно коснулся плеча:

— Здорово ты его поддел. Думает, что он бог, а все остальные тумак.

Миша с недовольным лицом пошел прочь, в ногу с ним Клим Кочетков, а за ними вся орава думинских ребят. Юное Думино не хотело больше смотреть на зазнаю.

Потом тракторист пил чай, ужинал, курил и к ночи собрался на Русаково поле.

— Дня-то, видно, вам не было, — осторожно заметила квартирная хозяйка. — Или думаешь, что ночная кукушка больше накукует.

— Ночная работа почетнее. Обо мне в районной газете писали: тракторист Козлятин применяет ночную работу...

Когда Думино уснуло, он, включив фары, начал пахоту.

...Сердце Тани чуяло что-то недоброе. Ей не спалось. Она лежала, прислушиваясь к шуму трактора, доносившемуся с Русакова поля.

«Шум жиденький, похоже, что очень легко идет», — мелькнуло в мыслях Тани.

Коротка весенняя ночь. Недавно за крутым изгибом Любицы погасла вечерняя заря. Прошел час, и вот уже немного поодаль от того места появилась светлая полоска, а затем край неба пронизали первые лучи еще невидимого солнца.

В избе посветлело. От первых лучей солнца расцвели узоры на вышитой скатерти.

Таня поднялась и стала неторопливо по своей привычке аккуратно одеваться.

— Что рано вспорхнула, аль о своем поле думается? — спросил Назар, ксторый теперь в старости часто засыпал в любое время дня и мало спал по ночам.

— Думается, дедушка, — с легким девичьим вздохом ответила Таня: — надо поглядеть.

Она с удовольствием умылась холодной, принесенной вечером с родника водой, тщательно причесалась, накинула на плечи легкую курточку и безлюдной улицей вышла за село.

Прохладный ветерок задорно веет ей в лицо, необъятные просторы полей притягивают к себе ее восторженный взгляд.

В зарослях Выремши домовито хлопочут певчие птички, любят и с любовными, звонкими своими песенками вьют гнезда.

Таня останавливается и с трепетно бьющимся сердцем слушает их разноголосое пенье, любитесь хлопотами.

Вдалеке желтеет вспаханная супесь Стрелки. Батмановское звено уже вышло на свой участок. Колхозницы, следуя за пахарями, то поднимались, то опускались по отлогому

скату. Они старательно садили картошку. Голоса их не доходили до Тани, и оттого их труд показался ей безмолвным и напряженным.

Солнце поднялось над Стрелкой и щедро залило светом крутое, супесчаное поле, и все вокруг повеселело и засияло. Работающие на Стрелке скинули теплые куртки, пахари подстегнули лошадей, Батманов что-то прокричал, размахивая рукой, и дело пошло еще живее. Таня позавидовала им: они дорвались до настоящего дела, а ее звено еще только собирается приступить к нему.

Трактор зашумел близко, на другом берегу реки.

Таня поднялась выше против течения Выремши, по мосту перебралась на другой берег, обсохшей тропкой поднялась на бугор и вышла из ветел, когда тракторист вел уже борозду в противоположную от нее сторону. Таня пристально посмотрела ему вслед. Отвальные доски плугов возвышались над землей неровно: первая сидела низко, три остальные значительно выше.

Таня догнала трактор и вгляделась в работу плугов. Три лемеха брали тонкие пласты, а четвертый крайний от целины врезывался на полную глубину и закрывал грехи первых трех.

«Сердце мое чуяло, что это дрянь-парень», — сказала себе Таня и строго крикнула:

— Сто-ой!

Тракторист оглянулся и остановил машину.

— В чем дело, барышня? — снисходительно спросил он, и глаза его забегали из стороны в сторону.

— Прекрати работу! — прямо сказала Таня. — Уезжай отсюда.

— Вы, грешным делом, с ума не спятили? — насмешливо проговорил парень, — какой-нибудь винтик из головы не обронили?

— Меня этим не собьешь, — спокойно ответила Таня. — Я совершенно серьезно говорю: прекрати!.. Такую работу мы не примем.

— В чем дело!? — стараясь изобразить неподдельное возмущение, воскликнул тракторист. — Я работаю, а ко мне приходят и мешают, суют свой нос, куда не следует...

— Сам знаешь в чем! Три лемеха у тебя только землю скребут.

Тракторист соскочил с сиденья, выхватил из кармана складной метр, отогнул два коленца и, присев на корточки, опустил в борозду:

— Законные восемнадцать сантиметров — не придерешься.

— Ты смеряй вторую, третью и четвертую борозды!

— Как я тебе их смеряю? Они же под землей.

— Тогда мы сами смерим.

Таня повернулась и решительно направилась к селу.

Вскоре появились на Русаковом поле Нефед Степаныч, Алексей Ивонин и Тихон Старостин.

— Э-э! Сколько он за ночь набарахлил, — сказал Тихон, оглядывая вспаханную часть Русакова поля.

— Нормой старался блеснуть, — отозвался Алексей.

Трактор шумел натужно.

Козлятин пахал теперь всеми плугами на все восемнадцать сантиметров.

Он проехал мимо, не взглянув на пришедших, как будто не имел к ним никакого касательства.

— Козлятин, остановись! — крикнул ему председатель.

Вскрыли пласты ночной пахоты.

— Как это называется? — спросил Нефед Степаныч.

— Ночью, понимаете, не досмотрел...

— Если не умеешь смотреть ночью, работай днем, а не шатайся, — назидательно сказал Алексей.

— Я перепашу! — уверенно заявил Козлятин, видя, что перед ним люди смиренные, толковые, спокойные.

— Не надо! — вспыхнул председатель, возмущенный ложью и уверенностью этого наглеца. — Убирайся от нас ко всем чертям. У Вениамина Андронича ты, верно, также набарахлил... Я ему сегодня же скажу. Сухим из воды не выйдешь. Обманщиков мы терпеть не будем.

— Ла-а-дно, я уеду, но запомните, что вы у себя не увидите больше ни одного тракториста, — пригрозил Козлятин.

— Как ты смеешь говорить так, — прикрикнул на него Алексей. — Ты всех трактористов круговой порукой связал что ли... Они и глядеть-то на тебя не станут, если узнают о твоих проделках! А мы сделаем так, что они узнают.

Он окинул Козлятина уничтожающим взглядом, резко повернулся и пошел. К нему присоединились Нефед Степаныч и Тихон Старостин.

Козлятин вызывающе посмотрел им вслед:

— Не-ет, Козлятина голыми руками не возьмешь.

Он вытащил из кармана аккуратно сложенный листок районной газеты и щелкнул по нему пальцем:

— Вот оно!.. Перевыполнение норм и экономия горючего. Полностью имя и фамилия... На весь район известно!

Немного погодя, в окно правленческой избы донеслось отдаленное гиканье, пронзительный свист.

— Что там такое? — встревожился Нефед Степаныч. — Еременч, выйди, узнай!

Никита вышел, узнал и доложил:

— Это ребята Козлятина провожают.

Алексей вернулся сегодня домой пораньше, снял с себя рабочую одежду и стал собираться на открытое партийное собрание.

Он тщательно побрился, с наслаждением надел свой офицерский костюм без погон и обул новые хромовые сапоги. Затем, вполголоса напевая фронттовую песенку, вышел на крыльцо. Сверкая блестящими начищенными сапогами, он упругой походкой вернулся в избу, убрал на место сапожные щетки, вымыл руки, смочил лицо и волосы одеколоном и причесался перед зеркалом. После этого он отыскал в ящике комода широкий желтый ремень, туго подпоясался и стал, как будто, выше и стройнее.

Паша, управляясь с домашними делами, то и дело входила и выходила из избы, тайком оглядывая мужа восхищенным взглядом.

— Не пора ли нам, Пашенька, двигаться, — сказал он ей, когда она закончила свои хлопоты по дому.

— Сейчас я тебе в этом платье не пара, придется и мне наряжаться. Ты подожди меня, я одной минутой соберусь.

Она ушла в горницу и скоро вернулась в синем шерстяном платье, в новых ботинках на высоких каблуках.

— Вот теперь идем! — улыбнулась Паша. — Будто на бал собрались.

— Хорошо одеваться надо на каждое собрание, чтобы оно выглядело событием в нашей жизни, — заметил Алексей. — Мы ведь не часто их проводим. Одежу мы шьем не для того, чтобы держать в сундуке. Она должна украшать человека. А износим, новую сошьем. Один кулак, бывало, купил своей жене платок. Она все берегла его, повязывала вниз лицом, чтобы не выгорел, да так и износила на изнанку, пропала красота платка. Мы не такие, скаредничать не будем.

Переодевшись, они почувствовали себя празднично и весело и шли к избе-читальне, оживленно переговариваясь и улыбаясь друг другу. Видя Ивоновых приодетыми, в хорошем настроении, колхозники решили, что сегодняшний вечер не совсем обычный, и сами постарались получше приодеться.

Открытое партийное собрание проводилось впервые за все время существования колхоза, и потому люди собрались дружно и держались подтянуто, необычно серьезно, переговаривались шопотом.

В зале было тихо, никто не курил. Ребята вели себя скромно. Если кто из мальцов забывался, то взрослые брехали на него такие взгляды, что он немедленно отходил куда-нибудь в уголок. Алексей выступил на этом собрании с речью о весеннем севе.

Говорил он просто и живо:

— Весна нынче позатянулась, товарищи... Стояла все такая пора, о которой мы говорим, что у нее на один день семь погод: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, а снизу метет. Прошла она, эта муть, наступили теплые дни, жарит солнце... Завтра начнем пахоту! Как мы подготовились нынче к весне?

Алексей по памяти сообщил, сколько починено плугов, борон, телег, сбруй, вывезено удобрений, организовано звеньев, положено в амбары и хранилища семян.

— Все звенья получили участки, огляделись, сработались и успели уже закалиться на маленьком, но трудном и кропотливом деле. Нелегко себя чувствуешь и немного видишь красоты, когда разбрасываешь навоз или разливаешь жижу, а тебя хлещет дождь или пронизывает леденящий ветер... Звенья подкормили всю площадь озимых! Это еще небывалое явление в жизни нашего колхоза. Трудились охотно, не было случая, чтобы хоть один человек отслушался звеньевого или не вышел на работу. Это тоже говорит о многом! Говорит о том, что люди поверили в нас, поверили, что руководство колхоза с помощью партийной организации выведет нынче колхоз к благосостоянию! Мы приложим все силы и старания, чтобы поправить артель, постараемся вырастить большой урожай, развернем жаркое соревнование! Каждое звено станет добиваться наивысшей чести. Борьба предстоит упорная... Тане Буковой, например, не захочется отставать от Мирона Батманова, а Алексею, скажем, Ивонину покажется зазорным шагать позади их... А разве позволит себе вести дело кое-как вечный наш труженик и самый первый заботник об интересах артели дядя Петя Долотов!? Разве помиряется с последними местами наши природные старательные земледельцы — Наум Чайанов, Павла Иволина и другие. Все звенья буду стремиться вперед, а мы станем помогать им и радоваться их успехам. Весна еще только начинается, а у нас уже есть свежие примеры хорошего и плохого отношения к труду.

Фронтовик Батманов по горло в ледяной воде перегаскал через разлившуюся Любицу два воза мешков с зерном. На фронте он воевал отважно и храбро, удостоен двух орденов Славы; здесь он проявляет трудовой колхозный героизм. Правление вынесло ему благодарность и премиовало.

Мирон Батманов додумался вспахать под картофель Стрелку, выгон, бросовую землю... Хорошая инициатива! Хорошее беспокойство о будущем артели! Некоторые говорят, что летом солнышко сожжет, выжарит там картошку, но я полагаю, что Мирон Карпыч не побоятся этого и что-нибудь сообразит.

— Две реки рядом, — отозвался с места Батманов, —

если потребуется, я со своим звеном выкупаю в них Стрелку.

Молодежь восхищенно рассмеялась: вот здорово сказано.

— Теперь другой пример. Тракторист Козлятин пахал Русаково поле мошеннически. Он хотел обмануть наш колхоз. Мы его прогнали с поля. Правильно сделали! И будем стоять на этом, кто бы нам чего бы ни говорил. Толкуют, что тракторная бригада, обслуживающая колхозы нашего сельсовета, больше никогда к нам даже не заглянет. Пусть не заглядывает... Сами все вспашем, а обманщиков, как эмтэсовских, так и своих, если они еще найдутся, станем гонять. В наших рядах место только честным труженикам.

Товарищ Букова не прогядела, что тракторист портит, похабит поле ее звена. Честь и хвала ей.

Завтра мы начинаем выборочную пахоту. Это уже начало весеннего сева. Проведем его, товарищи, так, чтобы получить нынче невиданный никогда в Думине урожай.

Держал речь и Нефед Степаныч.

— Я нынче чувствую себя так, как будто у меня отрастают крылья, — начал он.

— Дядя Нефед у нас скоро летать будет, — сострил Валерка Алфеев, притулившийся у косяка открытой настезь двери.

Все рассмеялись: взрослые тихо, сдержанно, юнцы звонко, залиристо.

Усмехнулся и Нефед Степаныч:

— Вы смеетесь, но именно это я хочу сказать, могу даже повторить. Между прочим, это правильное выражение, я его в литературе встречал. Так вернемся к делу. Прошлую весну я вступил на пост и без малого целый год был одинок со своими председательскими думами, трудностями, неувязками. Нынче же мне и правлению разумно и твердо помогает партийная организация, а в результате, вы сами видите, что у нас нынче совсем иная обстановка: подготовка к севу и настроение людей несравнимы с прошлогодними, партия придала нам энергии и работоспособности.

Прошлый год у нас было (это уже, товарищи, второй параграф моего выступления) два огородных звена и одно полевое. Осенью мы смешали урожай (правда, он мало чем отличался от общего) и по совести не рассчитались (возможно бы звеньям дополнительной немного причлось бы).

Не побоюсь, товарищи, сказать прямо: моя вина. Отмахнулся от лишних хлопот и (не стану греха таить) пожадничал.

— Умей грешить, умей и каяться, — вставил свое слово дед Назар.

— Я еще раньше перед вами каялся (тогда меня партийная организация легонько поправила) и опять об этом гово-

рю, товарищи колхозники. Кажется, все ясно, но все еще приходится слышать, что, мол, и нынче может смешают и дополнительно не выдадут... Заверяю вас, товарищи колхозники, что это больше не повторится, ошибки свои я умею исправлять. Специалист теперь у нас по счетному делу (я говорю про Тихона Матвевича Старостина) замечательный, по каждому звену все будет учтено и насчитано! Касательно дополнительной не должно быть никаких сомнений!

Еще один параграф. Все успехи будем незамедлительно отмечать, всех выдающихся работников чествовать и премировать, чтобы задеть людей за живую струну. Народная мудрость говорит: кто едет, тот не стоит, а кто стоит—не едет. Наша цель — не стоять на месте, а далеко двинуться вперед!

Вопросы свои я все исчерпал, на этом и закончу.

Потом Таня Букова выступила, сообщила план своего звена и обратилась с вызовом на соревнование.

Затем руководители других звеньев говорили о своих планах, принимали вызов.

После собрания к председателю подошел Никита и спросил:

— Во сколько завтра звон подавать?

— Надо ли? — спросил себя Нефед Степаныч.

— Как пожелаете...

— О чем это вы? — вмешался Алексей.

— По летам работу у нас начинают по сигналу. В обязанность Никиты Еременча входит круглый год убирать и сторожить правленческую избу, а по летам утром и после обеда подавать звон. Завтра начало летних работ, так вот он и спрашивает: во сколько подавать звон, — разъяснил председатель.

— Дазно ли его ввели?—спросил Алексей. — При мне до войны не было.

— Говорят, вскоре после ухода Ефима Васильевича на фронт.

— Нефед Степаныч, может мы освободим деда Никиту от второй обязанности? Не оттого, что ему тяжело...

— Тяжесть невелика, — вставил Никита.

— Пусть поднимает людей на работу не звон, а сознание и дисциплина, интерес к труду.

— Освободим! — решительно проговорил Нефед Степаныч и добавил уверенно:

— При Ефиме Васильевиче во-время выходили и у нас выйдут.

Старик обеспокоенно потоптался на месте и неожиданно спросил председателя:

— Нефед Степаныч, а начисление дня труда после отмены звона снизится?

— Будет такое же, — успокоил его председатель, — твой звон трудом не считается и никакими нормами не предусмотрен.

Дед отошел и удовлетворенно сказал своему другу Назару, с которым на всех собраниях садился рядышком:

— Смело за дело берутся нынче наши начальники! Надо быть, своего достигнут.

— Ребята заботливые, — добавил Назар. — Особенно вот этот... как его?.. Лексей... Сын покойного Луки. Он хозяин своему слову. Если сказал, сделает. И рука у него легкая, счастливая. У него пойдет дело на лад!

* * *

В ночь перед выездом в поле Алексей Ивонин спал мало. Он лежал, старался забыться, а думы не давали ему покоя, одна сменяя другую.

Прежде всего он недоволен был своей речью, произнесенной на собрании. Она ему нравилась, когда он говорил, а теперь казалась сухой. Надо бы найти такие слова и вложить в них такие чувства, чтобы люди настроились трудиться поистине беззаветно и не сомневались относительно результатов своего труда.

«Скорей бы расцветало, — думал он, ворочаясь с боку на бок. — Пять лет я не ходил за плугом, за бороной, за селкой, а это ведь привычное мое дело».

Алексей представил себе тихое утро, голубую дымку над полями, трели бесчисленных жаворонков в небе, запах парной весенней земли. Вот он идет за плугом, и в душу проникает такая тишина, что сердце начинает биться ровно, спокойно.

В ясную весеннюю пору труд в поле ему всегда казался наслаждением. Вспомнилось, как он мальшом выбегал к отцу в поле. Путь казался длинным и таинственным, Алеша шел долго и, наконец, каким-то чутьем находил отца, который неподдельно удивлялся, увидев своего малыша:

— Пришел. Такой-то маленький, на такую-то даль! Толковый, стало быть, будешь. Молодец!

Потом припомнились первые дни пашни в колхозе, когда сразу отправлялись в поле десятки пахарей и среди их юноша — Ивонин Алексей.

Не забудется никогда и день, когда он увидел впервые трактор. Помнится, душу сначала охватило крайнее изумление, затем веселье и радость. Объединяясь и развиваясь, это ощущение изумления, веселья и радости у одних разрешалось тем, что они начинали приплясывать, другие громко выкрикивать слова восхищения, третьи, забыв обо всем, бежали за трактором, а женщины затянули песню.

Трактор пахал тогда целину, незадолго перед этим расчищенную из-под кустарника. В одном месте из-под лемеха вырвался увесистый корешок и старику Алфееву, который, низко пригнувшись и пристально разглядывая, почти вплотную следовал за плугом, так угодил в лоб, что тот откинулся назад. Все думали, что старик выругается, а он довольно рассмеялся и восхищенно воскликнул:

— Вот это дерет! С корнем! До самого материка! Тут бы лошадь живот надорвала, а эта ничего, только пофыркивает!.. Си-и-лушка!

Потом припомнил он себя молодоженом. Перед окончанием работы на поле перед ним неожиданно появлялась Паша — любимая, красивая, жизнерадостная...

— Я по дороге за тобой зашла, — объясняла она свое неожиданное появление: — Ой, как много ты сегодня пахал!

Где бы то она ни работала, ей всегда было по пути зайти к Алексею и похвалить его работу.

...Успокоенный приятными воспоминаниями, перед утром Алексей крепко заснул. Его разбудила Паша.

— Пахарь, проспий первую-то борозду, вставай, — с ласковой насмешкой сказала она.

Алексей быстро поднялся и увидел, что его деятельная и заботливая жена истопила уже печку и поставила самовар.

— Уехали? — встревоженно спросил Алексей.

— Нет, успеешь еще чаю выпиться.

— Не опоздать бы, надо итти.

— Рано еще, только сейчас рассвело.

Алексей позавтракал и выпил чаю.

— Вот теперь иди, — сказала Паша, — я сейчас уберусь, отнесу сына в ясли и следом за тобой приду.

— День сегодня должен быть хороший! — твердо заявил Алексей.

— С утра он хмурится что-то, — разочаровала его Паша.

Алексей покачал головой и так вздохнул, что Паша поспешила его успокоить:

— Я думаю — разгуляется...

Час был еще ранний, и колхозники только собирались у конюшни. Солнце скрывалось за облаками, и утро выглядело пасмурным.

— Дождь бы не собрался, — заговорил Наум Чайнов. — Испортит нашу первую борозду.

— Не должно, — солидно молвил дядя Петя Долотов.

— Что не должно? — переспросил бригадир Семен Саввич.

— Быть дождю не должно!.. Вчера солнце садилось на чистое место, и ветер не затихал вечером, а это обозначает, что день должен быть ведренный.

— День будет ясный, — вступила в разговор Анна Добро-

хотова. — вчера с выгона первой в село вошла красная ко-
рова.

Мужчины рассмеялись, понимая ее шутку.

— Эта примета самая верная, — отозвался Семен Саввич, — и нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. — Высказывайте, у кого какие приметы есть, да и в путь!..

— Пора, пора, мужики, — заторопила Анна Доброхотова. — Будет или не будет дождь — там увидим, а пока час да наш.

— Аннушка, тебе бы отдохнуть надо, — обратился к ней старик Алфеев, по привычке подергивая плечами, будто старинный армяк был тесен ему, и он хотел в нем удобнее чувствовать себя.

— Что это, дедушка? С какой стати? — удивилась Анна. — Я еще не стара, мне на покой рано.

— Теперь после войны у нас пахарей мужеска пола хватит.

— А я за время войны так пахать привыкла, что и отстать не могу!.. Нравится мне эта работа. Вот и все. Да еще: хозяин-то у меня не вернулся, мне нужны для семьи большие трудодни.

— Тогда паши, милая, паши, — смешался дед. — Мы не препятствуем... Ведь я только к тому сказал, чтобы тебя пожалеть, мол, не устала ли и не тяжело ли.

— Не беспокойсь, дедушка, не тяжело.

— Теперь, Анна, можешь пахать, дедушка Алфеев разрешил, — усмехнулся Мирон Чайанов.

Тут подоспела Паша и сообщила, что вторая бригада, конюшня которой находилась в другом конце села, двинулась уже в поле.

Разговоры мгновенно смолкли, колхозники, опережая друг друга, поспешили к лошадям, быстро вывели их из стойл и принялись запрягать.

Подкормленные к весенним работам лошади вскоре бодро шагали в поле, а за ними шли пахари, безмолвные, сосредоточенные.

«Вот и началось, — подумал Алексей. — Теперь на полгода завертится колесо полевых работ: сев, прополка, подкормка, пары, сенокос, жатва, молотьба...»

— Будем пахать выборочно, — сказал Семен Саввич, когда приехали в поле, — в низинах сыро. Я еще вчера осмотрел сухие участки и обмерил.

Он быстро расставил пахарей по участкам, и они принялись за работу. Алексею достался участок недалеко от леса. Пароконный плуг жадно врезался в мягкую землю и стал валивать толстый и широкий пласт.

Самое трудное провести первую борозду. У хорошего пахаря она должна быть совершенно прямой.

Одной рукой держась за ручку плуга, другой за вожжи, Алексей провел борозду, как по линейке, и с удовольствием подумал: «Я не разучился пахать, дело по-ошло».

Не успел он проехать и ста шагов, прилетел грач, опустился на свежий пласт и, важно склонив голову, пошел вслед за пахарем, оставляя крестики на влажной сизой поверхности пласта.

Участок, который поднимал Алексей, подходил почти вплотную дальним концом к молодому березняку, сначала показавшемуся Алексею темным и безжизненным. Свирикала в нем какая-то пичужка, будто звала кого-то или жалела о чем, но часа через полтора Алексей заметил, что березняк ожил, в нем словно сверкнули зеленые огни и послышались разнообразные птичьи голоса. «Листочки-то уже с полушку», — порадовался Алексей.

Солнце одним краем вырвалось из-за облаков и пронизало свежую листву своими горячими лучами, березняк засверкал. В небо поднялось столько жаворонков, что, казалось, воздух журчит там, вверху, тысячами звонких ручьев, бегущих по камешкам.

Алексей почувствовал, что ему жарко, скинул куртку, аккуратно свернул ее и положил на моховую кочку в конце участка.

«Денек-то разгуливается! — обрадованно сказал он себе. — Ни одной ветринки, бла-агодать».

Вскоре солнце поднялось над облаком и ярко осветило широкое поле. Алексей осмотрелся вокруг. Пепловая утренняя дымка отошла далеко — к линии горизонта. Над пластами вспаханной земли поднимался легкий пар, и сизый оттенок на поверхности пластов, высыхая, пропал.

Взгляд Алексея невольно остановился на дяде Пете Долотове. Тот шел за плугом, слегка склонив свою большую кудлатую голову, бросал изредка лошадям какие-то ласковые слова, и они у него рьяно стремились вперед, влад потряхивая длинными, тщательно расчесанными гривами. Он шел за плугом легко, вольно и, казалось, что пахота не стояла ему никакого труда.

Немного поодаль от него пашет дед Алфеев, маленький, суховатый старичок. Он уже нагрелся, скинул свой старинный армяк, фуражку. Он ходит за плугом в розовой рубашке, и седая голова его серебрится в лучах солнца, как елочная игрушка в огнях свечей. «Интересно бы подсчитать — сколько этот древний человек за свою долгую-долгую жизнь вспахал земли», — подумал Алексей.

По другую сторону от Алексея трудится на участке своего звена Паша. Она идет за плугом своей обычной гордой походкой, чуть откинув назад голову, и напевает какой-то переливчатый мотив, как бы подражая жаворонкам. Милая

Паша! Все-то все она умеет делать и делать легко, проворно, не зная устали.

На поле, недавно сплошь белевшем обмытым вешними дождями прошлогодним жнивьем, расплываются темные пятна пашни. Около каждого пахаря они расплываются, и на глаз даже издали можно определить, кто больше, кто меньше вспахал. Шире, чем у всех, расплылось темное пятно вспаханной земли на участке дяди Пети Долотова. «Как будто не торопится, а всех опережает», — думает о нем Алексей и погоняет своих лошадей.

А солнце поднимается выше и греет щедро и ласково. Дед Алфеев вскидывает свою маленькую серебряную голову, сладко жмурится и вдруг громко кричит на лошадей: «Шевели-и-ись! Давай темпу!» Песня Паши звучит явственнее и протяжнее.

— Вот пришло оно — золотое времечко!.. — кричит Алексею Наум Чайанов. — Теперь только повертывайся... Один такой день, говорят, год кормит. В такой день с поля уходить не охота... И устали нет.

«Пахарь по призванию», — думает о нем Алексей. — Прелесть своего труда чувствует».

Наум Чайанов останавливает лошадей, подходит к Алексею и задушевно говорит:

— Алеш, птички-то заливаются! Слышишь? Лучше музыхи.

Он прислушивается к птичьему щебету в березняке, к трелям жаворонков в вышине, обводит взглядом поле и говорит:

— Где еще такую прелесть найдешь! Я здесь до вечера пробуду, лошадей стану кормить прямо в поле, чтобы на дорогу времени и силы не тратить. Мне еду и корм лошадям сюда принесут: я весть об этом домой пошлю, а завтра сам все с собой захвачу.

Он свертывает цыгарку и закуривает. В поле так тихо, что дымок еле-еле расходится в неподвижном воздухе.

* * *

Детство Гриньки Агеичева прошло в Думине. Отец его Антип Агеичев, длинный и тощий, с бородкой в три волоса, ходил по деревням, селам, городам с точильным станком на плече и вопил однообразно осипшим голосом: «Точить ножи, ножницы, бритвы править».

Заработок был копеечный, к тому же Антип непрочь был пропустить козусечку и являлся домой без гроша в кармане.

Земли Антип не имел. На дворе ни лошади, ни коровы, ни овцы; избенка да десяток грядок — вот и все хозяйство.

Летом сынишка бобыля с голодухи подымется рано, сядет около своей покосившейся избенки и затоскует в предчувствии длинного, голодного, пустого дня. Хочется ему поделать, поработать, заняться чем-нибудь, покататься хоть бы на телеге, а дома, как говорится, «ни одной делины», не к чему руки приложить и никого нет: отец где-то бродит, а мать ушла на поденку. Убежит Гринька на село, приладится у кого-нибудь, смотря по времени года, возить навоз, сено или снопы. Покормят вечером за это — хорошо, не покормят — и так ладно, зато на телеге накатался досыта.

Осенью люди овощи с огородов примутся убирать, а у Агичевых на грядках чисто: давно все съедено. Хочется Гриньке и морковки и репки, заберется в чужой огород, но этак спроста, неосторожно, без всякой уловки, и вот уже, глядишь, гонят его по улице, кричат, улюлюкают, идут к родителям жаловаться. Отец, если случаем оказался дома, отмахнется от жалобщика и проворчит:

— Нешто за ним углядишь...

Истощенная, вечно угрюмая от беспросветной нужды мать лихорадочно сверкнет глазами и угрожающе проговорит:

— А вот сейчас я с него шкуру спущу-у...

Метнется туда-сюда, отыскивая в пустой избенке что-нибудь такое, чем бы с Гриньки «спустить шкуру», ничего, конечно, не найдет, как-то разом опустится вся, жалостно взглянет на сынишку и проговорит упавшим голосом:

— Ох, ты го-о-ре ты мое гореванье...

И опять посмотрит на тощего сынишку жалостно-жалостно.

Пришедший поглядит на горемычное житье Агичевых, покачает головой и уйдет, не дожидаясь, когда мать «спустит шкуру» с несчастного Гриньки. Выйдет на улицу, встретит приятеля и скажет, кивая на бедняцкую избенку:

— Ну и голь... Такая голь, что парня высечь нечем.

Приходит глухая осень. Овощи убраны. Теперь Гринька безнаказанно ходит по огородам, высматривает, не завалилась ли где в борозде луковица, репина, листок капусты, не осталась ли где невытащенной морковка, брюква. Все найденное он сует за пазуху, потом отправляется в овраг, садится в яму, из которой мужики берут песок, и без помехи предается чревоугодию.

По зимам мать вязала на скупщика, из его ниток, кружева. К этому она старалась приучить и сына, но Гринька рос непоседой. Мать отлучится к соседке, вернется, а Гриньки уже дома нет. Босой, без пальто и шапки он, так и знай, умчался на другой край села к разлюбезному дружку-приятелю, у которого есть щегол или книжка с картинками.

В сумерках Гринька вернется, шмыгнет прямо на печь и лежит, трясется, зуб на зуб у него не попадает...

— Смотри — скоро добегаешься, — угрожающе пророчит мать.

Ее предсказание сбывалось. В середине зимы в Думине уже знали, что Гринька лежит под иконой: горит весь, как огонь, того гляди, представится. Сердобольные соседки вместе с истрадавшей матерью заключали, что он «больше не жилец на белом свете», но какая-то потаенная сила, тлевшая в его изможденном тельце, удерживала Гриньку в жизни.

Приходила весна, в кривое оконце со стеклами, залепленными вдоль и поперек лучинками и бумажками, заглядывало солнце, и Гринька поднимался со своего смертного одра. Он оживал не от лечения, не от сладкого куска, которых никогда не знал, а от вешнего тепла и света, словно корешок подснежника. Напряжением всех сил он перебирался из-под иконы к свету, к теплу кривого оконца. Изболевшее сердце матери не могло спокойно выносить это трогательное зрелище, свидетельствующее о победе гринькиной жизни над смертью, и она говорила сквозь слезы радости:

— Ох, горе ты мое гореванье, измучился ты и меня измучил.

Гринька сознавал, что он в тягость не только родителям, но и соседям. Слова матери, которые она произносила машинально, не придавая им значения, звучали для него приговором, и он моляще просил:

— Ма-ам, дай пожить хоть одно летичко!

Мать спохватывалась, видя, что сын понимает ее слова в полном их смысле, и говорила душевно, ласково:

— Да живи хоть не летичко, а сто лет, я буду рада, только не хвораи, не мытарь меня и себя.

Приходило лето, летичко, жизнетворная пора, благодатное время, когда не надо ни шубы, ни валенок, ни теплой печки, и Гринька опять на полгода оживал.

Великая Октябрьская революция произошла, когда Гриньке исполнилось десять лет, и переменяла его жизнь. Однажды в избенку Агеичевых пришел молодой, сильный мужик, бодрый и веселый, одетый в потрепанную солдатскую одежду. До сих пор Гринька его в Думине никогда не примечал, но он Гриньку, видимо, знал хорошо. Солдат-мужик развернул перед мальчиком узел и объявил:

— Вот тебе, Гринька, обужа и одежда.

Переложив все вещи по одной на другое место, он громче, нарастав проговорил:

— При этом же тебе, Гринька, будет еще обувка и одежка!

И переложил все с особым смаком на прежнее место.

Мальчик заметил, что все это одно и то же, только переложено два раза с места на место, но все-таки, казалось, что всего тут вдвое больше. Вдруг солдат выпрямился и скомандовал:

— Обувай-одевай!.. Жи-ивво!

Гринька поспешно оделся и обулся.

Ловкий солдат одернул и пригладил одежду на Гриньке, сильными пальцами, словно клещами, пощупал, хорошо ли гринькиным ногам в сапогах, и остался доволен:

— Как по мерке все шито. Ра-а-асчудесно! Ну, а теперь марш к Серафиме Петровне, а то до нас дошла весть, что ты — этакий верзила дома сидишь.

Мать озадаченно молчала и только под конец спросила:

— Петр Авдеич, от кого ему этот дар?

— От комитета бедноты.

— Он, значит, за бедных.

— За бедных, — подтвердил солдат и быстро ушел. Он куда-то торопился.

Знаменательнейшим событием в жизни Гриньки Агенчева стал этот «марш к Серафиме Петровне», но тогда мальчик, не помня себя от радости, не сразу догадался, чего от него хотят. Он спросил:

— Ма-ам, а зачем к Серафиме-то Петровне?

— По что к попу ходят? — в свою очередь спросила мать.

— Молиться.

— К фершалу?

— Лечиться.

— К учителю?

— Учиться.

— Ну, так вот, за этим тебя к Серафиме-то Петровне и посылают. Десять годов тебе, а ты ни шиша еще не разумешь. Зачем, говорит, к Серафиме-то Петровне. Аяй, вот разум-то. Такие-то уж читать умеют, по второму году учатся...

— Так мне ведь не в чем было ходить, — старался оправдаться Гринька.

— Вот теперь ты обут и одет, беги скорее в училище, раз тебе от комитета приказано. — Гринька пустился в школу и с того дня стал учиться.

Ученье озарило, наполнило смыслом дни маленькой гринькиной жизни. Он теперь не бегал босиком, в одной рубашонке по сугробам, и недуги оставили его.

Гринька оказался пареньком старательным, жадным до знаний, способным и во все годы ученья радовал Серафиму Петровну своими успехами. После окончания школы его, как очень «смышленного по письменному делу», приняли помощником делопроизводителя в волостной совет. Там отсидел за перепиской бумаг два года, а затем по командировке волостной комсомольской организации укатил на рабфак. По окончании рабфака легко попал в педагогический институт и в двадцать шесть лет был уже Григорием Антипычем, заведующим семилетней школой, а через несколько лет директором техникума.

С Великой Отечественной войны он вернулся в звании подполковника. Обком предложил ему партийную работу в знакомых местах и направил секретарем райкома в тот район, в тот бывший уезд, в который испокон веков входило Думино.

Родные места зовут. Родная сторона до конца дней манит человека к себе, как приветливая душа матери.

В первые солнечные дни первоначальной весны ему так захотелось заглянуть в родное село, что Григорий Антипыч на день отложил все и рванулся в Думино на юрком, безотказном райкомовском вездеходике.

Он выехал рано и прикатил в Думино часам к восьми утра.

На краю села Григорий Антипыч остановил машину, прошел на кладбище и долго бродил там, с трудом отыскивая дорогие могилы.

Нашел в разных местах два низких холмика, постоял у того и у другого, низко склонив голову.

Поклонившись праху родителей, вернулся к машине, тихо доехал до края села и вновь остановился. Не мог он проехать мимо того клочка земли, на котором стояла когда-то родительская избенка.

На этом месте лежали теперь длинные и толстые бревна, а поодаль высилось уже с десятков венцов новых, необычно широких срубов.

«Зажиточный кто-то строится, — подумал Григорий Антипыч, — домино комнаты на четыре ставит».

Мимо проходила девушка. Он спросил ее:

— Кто на этом месте строится?

— Колхоз... Дом под детский сад ставит...

Григорий Антипыч медленно обошел то место, где находилась бедная крохотная избушка, в которой он родился и вырос. Бывало сразу же за углом начинались крестьянские полосы, до которых нельзя было коснуться, ступить на них. В стародавние времена сельский сход, выделив Агеичевым лянтыш земли на краю села, запретил им держать куриц, а то чего доброго помнут посевы, до которых рукой подать. И Агеичевы многие десятки лет это установление соблюдали.

Григорий Антипыч медленно ходил сейчас там, где протекало его детство, и глядел в землю, будто старался найти тут следы маленького Гриньки Агеичева. Потом поднял взгляд на поднимающиеся венцы новых срубов, и отрадная мысль мелькнула у него:

«Раньше тут бродил понуро или сидел тоскливо испитой, одинокий, несчастный мальчик, а теперь здесь, на этом месте — в колхозном детском саду будут расти, играть, шуметь десятки дружных, крепких счастливых ребят».

Когда новый партийный руководитель только еще приехал в район, в Думине уже из дома в дом переходила гордая новость:

— Теперь секретарем-то райкома у нас наш думинский Григорий Агечев. Из бедноты вышел и большого ученья достиг! Вон теперь ему какие дела доверяют!

Когда же Григорий Антипыч приехал в родное село, его здесь немногие узнали. Давно он здесь не бывал.

Нефед Степаныч был на восемь лет старше Григория Антипыча. Когда Нефед вернулся с гражданской войны, Григорий только что окончил сельскую школу, разность возрастов в молодости резко сказывалась на их отношениях, а потому они сейчас были знакомы только как односельчане.

Председатель встретил секретаря райкома с чувством собственного достоинства, сдержанно, но внимательно.

Поздоровавшись, приезжий скинул с себя плащ, причесался и поудобнее уселся около стола.

— Тихон Матвевич! — обратился председатель к бухгалтеру. — Надо сюда Алексея Лукича!

Тихон Старостин сам понимал, что без Алексея Лукича сейчас никак невозможно, быстро прибрал на столе бумаги и вышел на волю.

Нефед Степаныч гостеприимно предложил секретарю райкома:

— Идемте, выпьем чайку с дороги.

— После. Успеется еще... Я ведь только что из дома, — сказал Григорий Антипыч и после непродолжительного молчания спросил:

— Как дышит наше Думино?

— Надеждами.

— А пока отстают?

— Налаживается.

— В какой мере?

— Двинулось уже вперед.

— Если только что двинулось, следовательно, до этого стояло. Или вернее — отставало.

— Выходит, что так...

Присматриваясь друг к другу, нащупывая нить разговора, они перебрасывались такими незначительными словами еще некоторое время.

Секретарь райкома не торопился, умел слушать собеседника, никак не подчеркивал свое общественное положение и тем расположил председателя к себе.

— Враг сюда не дорвался, все здесь сохранилось в целости, но война, конечно, и здесь сказалась, — задумчиво говорил Григорий Антипыч: — Причин отставания много... В одних отстающих артелях одни, в других — другие... Что, по вашему мнению, на здешней артели больше всего сказалось?

Нефед Степаныч начал приводить причины, незаметно разговорился с полной откровенностью и насчитал их много.

Секретарь райкома терпеливо и внимательно выслушал его и заключил:

— Много причин вы привели, но выходит, что основная — в руководителях... После Ефима Васильевича, видимо, здесь не нашлось равноценного ему по уму, силе и уменью.

— Не нашлось, — подтвердил Нефед Степаныч. — Он очень хорошо знал людей и умел вести их за собой. После его сменилось много председателей и ни один так руководить не умел. Были и такие, которые старались только пользоваться своим положением...

— Значит — он умел работать и стараться, — вставил Григорий Антипыч, — жил, как говорится, интересами артели?

— Правильные слова, но не только в этом дело. Я тоже стараюсь, но у меня так не выходит, — признался Нефед Степаныч. — Я могу хорошо, крепко сообразить, но не сразу, не скоро, а он моментально, бывало, смекнет. Умел он действовать на людей и строгостью, и серьезностью, и веселой, и усмешкой... Много не растабаривал, никому не потворствовал, а народ любил его. Вот теперешний секретарь нашей партийной организации Алексей Ивонин чем-то похож на него. Правда, характер у него совсем другой, но колхозники начинают крепко любить Алексея. Есть в нем, по-моему, какая-то большая теплота и высокое понимание людей... Вот он, легок на помине! Я только тебя помянул, а ты тут как тут... Присаживайся.

Алексей присел, взглянул на собеседника Нефеду Степаныча и ничего не сказал.

— Знакомься, если незнаком: новый секретарь райкома. Не встречал еще его?

— Нет, — сказал Алексей.

— Я недавно только приехал, — проговорил Григорий Антипыч, протягивая Алексею руку: — Григорий Агеичев... Как и вы — думинский. Земляк. Когда я здесь жил, вас, наверно, еще и на свете не было.

— Нет, я видал вас в селе, — возразил Алексей. — Смутно это помню. Видно, еще очень мал был. Крестьяне говорили: студент. Вы тогда, наверно, студентом приезжали летом в село.

— Да, я тогда несколько раз приезжал, родители мои еще здесь живы были. После же их смерти я до сих пор ни разу не заглядывал в Думино, а на войне, представьте, чуть ли не каждый день вспоминал родное село и постановил себе после войны обязательно заглянуть сюда. Вы оба были на фронте?

— Оба, — ответил Нефед Степаныч. — Я старшиной вернулся, а наш Алексей далеко махнул: ка-питаном!

Григорий Антипыч подробно расспросил Алексея о его боевом пути и заинтересовался, как он чувствует себя в колхозе, что делает. Алексей Ивонин рассказал о своем возвращении и встречах с односельчанами, создании первичной партийной организации в селе и сел на своего любимого конька: увлеченно заговорил о звеньях.

Выслушав Алексея, заговорил Григорий Антипыч:

— Смело и с размахом собираетесь вы использовать звеньевую форму труда. За это можно только похвалить. Повседневню укрепляйте и поощряйте звенья, держите с ними постоянную связь, берегите их, следите за их успехами и недостатками во все глаза, чтобы всюду было, как говорится, лажено и глажено. В звеньях, да еще при индивидуальной сдельщине каждый может проявить свои способности и получить по своему труду. Вводите эту форму труда прочно, навек! Звеньевых не захваливайте, обращайтесь с ними ровно, воспитывайте и почитайте их, постепенно создавайте им авторитет. Бывает так в некоторых артелях: звеньевого хвалят, превозносят до небес, потом охладели и забудут. Он сперва загордится, а потом, оставшись без помощи и внимания, растеряется, услышит вместо похвал упреки и насмешки, тут и получается, что хвалили, хвалили, а потом под гору и свалили. Постоянство необходимо в каждом деле, а в этом особенно...

Григорий Антипыч помолчал и поднялся со стула.

— Мы еще успеем наговориться, а сейчас идемте в поле, — предложил он, — посмотрим сев...

Он оделся и первым вышел на улицу. За ним последовали председатель и Алексей Ивонин.

За углом стояла маленькая машина, кузов которой напоминал перекошенную коробочку. Диковинку разглядывало, тихо переговариваясь и споря, кажется, все поколение думинцев в возрасте от шести до двенадцати лет.

— Говорят, маленький он хворал все время, — слышалось среди ребят.

— Как бы все время хворал, так бы умер.

— Вот и не умер, а выздоровел и учиться пошел.

— Отболелся разом, да и дело с концом.

— Д-а-а, рассчитался со всякой хворью, взялся, братцы мои, учиться да и пошел, и пошел...

Нефед Степаныч всплеснул руками и насмешливо воскликнул:

— Ма-ас-совое гулянье, посвященное автотранспорту... Привет любителям автомобиля!

Ребята смутились и подались в сторону. Нефед Степаныч подошел к ним, погладил двоих по головкам и пристально взгляделся в лица ребят.

— Не хочется нарушать ваш праздник, — вздохнул он, —

но придется убрать от вас машинку, а то ведь (знаю, сам был таким) вам надо посмотреть винтики, гаечки, ручки, таблички и узнать, чем гудит... Еременч, отпри!

Никита открыл ворота двора правленческой избы. Григорий Антипыч сел за руль и ловко вкатил во двор свою коробочку.

Когда он вернулся со двора на улицу, Алексей заинтересованно спросил:

— Где вы управлять машиной научились?

— Я служил в механизированной части. Ну и... пришлось научиться.

* * *

За селом Выремша изгибается широкой дугой. В ее изгибе — поле, похожее на громадный серый мешок, разостланный для просушки.

На краю горизонта сбились в кучу белые облака, верхи которых как будто пришиты к небесной синеве палящими солнечными лучами. Где-то вдалеке погромыхивает гром, и оттуда изредка налетает порывами свежий ветерок. В поле жарко. Всюду зазеленела трава. На весенней влаге, под горячим солнцем она растет не по дням, а по часам.

— Первый гром, — говорит Нефед Степаныч, прислушиваясь к отдаленным раскатам.

— Мы не стали мельчить участки, — сообщает Григорию Антипычу Алексей, — а отмахнули каждому звену по целому уголку. Это поле в плане, приложенном к акту на вечное пользование землей, значит, как урочище. Поротые концы.. Его мы целиком препоручили звену Наума Чайнова.

Наум сеял овес. Над красной грядкой сеялки возвышались только его плечи и голова.

— Со звеньевым надо повидаться, — молвил Григорий Антипыч.

— Он сюда направляется, сейчас здесь будет.

Григорий Антипыч вглядывается в приближавшегося сеятеля, и теплая волна воспоминаний теснит его душу.

Секретарь райкома и звеньевой росли одногодками. Сколько раз в детстве Гринька Агеичев летал стрелой через сугробы и заструги снега босиком, сверкая красными, как у гуся, ногами. Они часами сидели, рассматривая книжку (она каким-то образом попала в избу Чайновых с барского двора), щедро прослоенную картинками сражений, портретами полководцев.

Приближаясь, Наум Чайнов прищуренным взглядом рассматривает людей, дожидających его на конце участка. Нефед Степаныча и Алексея Ивонина он узнает сразу, а вот третьего никак узнать не может. В шляпе, в черном плаще—

кто такой? До войны сюда часто журналисты заезжали, корреспонденты разных газет. Может быть опять нашим колхозом решили заинтересоваться.

Наум подехал и остановил лошадей, здороваясь, степенно приподнял фуражку и вопросительно взглянул председателю в глаза, дескать, в чем тут дело, может быть я нужен вам.

— Иди сюда, старый друг, — раздается голос незнакомца. — Не узнал меня. Немудрено... Давно мы с тобой не виделись.

Наум всматривается и вдруг узнает в городском человеке дорогого дружка детства, далекого детства — Гришу Агеичева. Он стремительно подходит к нему, крепко жмет руку и приветливо смотрит в лицо. Они стоят, смотрят и молчат, стараясь найти друг в друге знакомые черты.

Первым нарушает молчание Наум и взволнованно говорит:

— Надумал, значит, навестить нас, вспомнил!..

— Никогда не забывал, только был далеко... Теперь живу близко, рядом с вами.

— Слышал, слышал, что у нас в районе! Хорошо. Знай наших думинских... Не лыком шиты... Да-да, хорошо... Давно ты от села оторвался, а все у нас тебя считают своим и гордятся! Да-а... Вот как... У нас теперь, значит, в районе первым секретарем!.. Помогай нам поправляться-то. Сами-то мы приняли, теперь нам только бы не остыть да не сбиться.

— Зачем остывать... Остывать нельзя... И сбиваться не надо! Звеню руководишь?

— Взятся за звено, не знаю, что выйдет... О высоком урожае мечтаю... Хочется побольше снять.

— Сколько на этом поле собираешься получить?

— Похвалился я снять довоенный — центнеров пятнадцать.

— Я думаю, что снимешь. Земля тут, кажется, надежная и возделал ты, видать, ее хорошо.

— Землица ничего... Ну и навозцу я в нее подкинул нынче порядком... Торфу навозил... К тому же она кровью и слезами наших предков удобрена. Об этом я никогда не забываю. В названии поля они об этом память оставили...

— По-о-ротые концы, — вдумываясь в слова, отдельно произносит Григорий Антипыч. — Я много раз с детства слышал это название, но не доискивался до смысла.

— А смысл в нем большой! Я сам отыскал его в зрелых годах, когда историей заинтересовался, — увлеченно говорит Наум и принимается рассказывать о жестокой, злоехидной барыне, о измученных крепостных, доведенных до последнего предела нищеты, о ножике с ручкой из слоновой кости.

— Долго допытывались: кто барыню порешил — заклю-

чает Наум Чайнов. — Вот сюда выводили всех мужиков и баб, парней и девок, даже детей, которые были постарше, и пороли в кровь... О том и осталась память в названии — Поротые концы.

— Он у нас! страсть любит историческое, — замечает Нефед Степаныч, — всю здешнюю историю изучил. Я ему советую все это в книжку записать.

— Что ж, достану вот толстую тетрадку и всю испишу, пусть думинские ребята читают и помнят, как их дедам-прадедам доставалось.

— Следует заняться, — говорит Григорий Антипыч, — дело благодарное. Прошлое не надо забывать. Займись, займись.

— Вот уже осенью, когда посвободнее будет, а сейчас надо хорошего урожая достигать. Приходи ко мне ночевать! Я живу все на том же месте и все в той же избе, только подновил ее малость после приезда с фронта. Буду рад!

— Спасибо.

— Ну я поехал досевать.

— Счастливо. Желаю больших успехов.

Перешли Выремшу и поднялись на Русаково поле.

Над горизонтом поднялся широкий край темной тучи. Белые облака, пронизанные палящими лучами солнца, поднялись выше, а верхи их растрепались на мелкие клочья. Гром явственнее доходил до слуха, играя глухими перекатами. Птицы в зарослях Выремши притихли и только где-то в дебрях ее журчал родник, роняя свои светлые струи в реку.

Звено Тани Буковой раскладывало по участку торфо-навозный компост. Здраваясь со звеньевой, Григорий Антипыч сказал:

— Односельчанка, а вижу первый раз. Сколько молодежи тут без меня подросло! И хорошей, как видно, молодежи.

— Говорят, что вы здешний, а я вас тоже первый раз вижу, — улыбаясь, заговорила девушка.

— Тутошний, — стараясь чем-нибудь повеселить девушку, усмехнулся Григорий Антипыч, — но выбыл отсюда лет двадцати с походом.

— Сколько походцу-то?

— Года три...

— Многонько!

Григорий Антипыч спросил Таню, много ли у звена земли, сколько гектаров вспахано, сколько удобрений положено и каких. Таня складно на все ответила и пожаловалась, что мало минеральных удобрений.

— В районе получено три вагона их, — вставил Григорий Антипыч.

Таня, оказывается, знала в них толк и сказала, сколько и под какие культуры она положила бы минеральных.

— Поезжайте и привезите, — сказал Григорий Антипыч.
— А дадут ли нам?
— Если не дадут, я скажу, чтобы дали...
— Спасибо, — поблагодарила девушка.
— Таня, покажи товарищу Агеичеву козлятинский участок, — обратился к ней председатель.
— Что — Козлятин пахал? — спросил Григорий Антипыч.
— Я недавно о нем заметку видел. Он молодец! Нормы перевыполняет...

Нефед Степаныч подмигнул Алексею. Ивонин хотел что-то сказать секретарю райкома, но его перебила Таня:

— Сейчас увидите, какой он молодец.

Она выступила вперед, продолжая по пути:

— Может он везде так перевыполняет, как у нас: один плуг землю ковыряет, три другие поверху скребут.

Председатель с Алексеем в нескольких местах руками разгребли, подняли пласты и показали «козлятинскую пашню».

— Видите! — заговорил Алексей. — Три плуга он пускает поверху, а четвертый, крайний от целины, на полную глубину и закрывает последним пластом грехи...

— Вижу, вижу, — сказал Григорий Антипыч. — Хитро он вам напакостил. Хорошо, что вы досмотрели...

— Звеньевая заметила, — кивнул Алексей на Таню, — она страдает за этот участок...

— Хоть он и хваленый, а мне тогда не понравился что-то, и я решила за ним присмотреть...

Григорий Антипыч насушился и сурово проговорил:

— Теперь мы его похвалим по-другому!..

Опять пересекли Выремшу и вышли в раздолье яровых полей.

Тут на огромном пространстве виднелись работающие люди. Они пахали, бороновали, сеяли. Среди них выделялся высокий человек. Он шел за плугом, не сгибаясь, изредка касаясь пальцами ручки плуга.

— Дядя Петя Долотов! — обрадованно воскликнул Григорий Антипыч, — по осанке узнал. Величественная осанка... Многих здесь забыл, а его помню великолепно.

Григорий Антипыч поспешно устремился к пахарю и, подходя к нему, громко окликнул:

— Дядя Петя, здорово!

Старый пахарь останавливает лошадей, взглядывается и удивленно шепчет:

— Гри-и-ша... Неужели?

Григорий Антипыч в порыве обнимает дядю Петю и крепко прижимается щекой к его бороде.

— Давно не бывал, а, видно, не забыл меня, — дрогнувшим голосом говорит Петр Авдеч.

— Не забыл!.. Разве можно забыть... Я, как сейчас тебя

вижу, когда ты мне принес одежонку от комитета бедноты, пошутил надо мной и послал в школу!

— Неужели помнишь? — удивился старик.

— Помню и считаю, что только с того дня началась моя жизнь.

Григорий Антипыч сделал два шага назад и с головы до ног оглядел дядю Петю: бородатый, широкоплечий, высокий... В густых волосах еще только кое-где начинает пробиваться седина, а маленькие светлоголубые глаза попрежнему светятся умом и жизнерадостностью.

Тем временем и дядя Петя оглядел Григория: небольшого роста худощавый, с продолговатым выразительным лицом, темнорусыми волосами, он в темносинем костюме и широком черном плаще выглядел молодым и стройным... Перед старым пахарем стоял бывший Гринька, едва не погибший в прежние времена от голода и холода, а теперь человек с высшим образованием, педагог, подполковник запаса, партийный работник.

— Ты тогда, работая в комитете бедноты, революцию вершил в Думине, устанавливал новую власть и казался мне орлом, но и теперь еще глядишь соколом. Как ты, дядя Петя, живешь, как чувствуешь себя? — спросил Григорий Антипыч.

— На здоровье не обижаюсь пока, может вот оно под старость покачнется и начнет, помногу ли помалу ли, сдавать, а пока держусь...

— Ты еще, конечно, старым-то себя не считаешь?

— Рано, Гриша... Я в партию вступил, звеном руковожу, хочу с молодыми потягаться, славный урожай вырастить... Эвановцу-то сколь со своим звеном натаскал! И минеральных достал, да еще таких, что одну похлебную ложку разведешь в ведре воды и польешь целое пространство, подкормишь тысячи растений.

— Дядей Петей не нахвалимся мы, — вмешался Алексей.

— Нельзя захваливать-то, — напомнил Нефед Степаныч.

— Дядя Петя от похвал не испортится, он умный.

Григорий Антипыч коснулся рукой плеча Петра Долотова и проговорил восхищенно:

— Богатырь ты, дядя Петя, у нас! Говоришь с тобой, глядишь на тебя и чувствуешь в себе прилив сил.. Ты сама жизнь — большая, могучая, русская...

— Да, я уж по всей отделке русский...

— Будешь, Петр Авдеч, в городе, заходи ко мне в гости!

— Спасибо! Ты бы ко мне сегодня вечером забежал!

— Может забегу...

— Буду ждать... Загни для памяти палец. Поеду долаживать.

Старик тронул лошадей и пошел за плугом — прямой, спокойный, уверенный.

Зашли на Стрелку. Там было безлюдно. Ранний яровизированный картофель дал первые всходы. Нефед Степаныч с Алексеем, перебивая друг друга, рассказали о Мироне Батманове, о его инициативе и старательности.

Туча закрыла солнце и одним краем достигла Думина. Упало несколько тяжелых капель. Вдали висел серый полог дождя.

— Там знатно поливает, — кивнул Нефед Степаныч. — Дождь теперь кстати: корешки у травки обмоет и для всходов хорошо.

Наступило полуденное время. Колхозники отправлялись на обед. Нефед Степаныч повернул к селу.

— Надо к Серафиме Петровне отсюда по пути зайти, — вспомнил Григорий Антипыч.

— После бы, — молвил Нефед Степаныч.

— Надо сейчас, а то она обидится... Скажет: мимо шли и не зашли... Да и повидать мне ее хочется. Я слышал, что она жива и здорова и попржнему учителствует. Только, наверно, очень постарела.

Серафима Петровна с небольшой группой ребят трудилась на пришкольном участке. Заметив еще в воротах трех мужчин, она приставила к глазам пенсне и вгляделась. Алексея Ивонина и Нефеду Степаныча она узнала сразу, третьего не могла узнать.

«Кого это они сюда ведут, — подумала она, — может кто из города приехал».

Серафима Петровна сложила пенсне, двумя пальцами заправила под панамку седую прядь, оглянулась на школьников (не шалит ли кто) и приготовилась к встрече.

Григорий Антипыч выступил вперед и с чувством произнес:

— Здравствуйте, Серафима Петровна!

— Здравствуйте, — строго ответила старая учительница и настороженно замолчала, ожидая вопросов.

Нефед Степаныч и Алексей переглянулись: «Не узнала».

— Я ваш бывший ученик, Серафима Петровна... — Может, припомните меня.

— Да-а... Вы у меня учились, — Серафима Петровна открывала дрожащей рукой очешник: — Вы в каком году у меня окончили школу?

— В двадцать втором...

— Совсем недавно... Только четверть века! Пустяковый отрезок времени, секунда, если принять во внимание, что земля существует миллионы лет...

Старая учительница приставила пенсне к глазам, всмотрелась, и лицо ее оживилось, стало спокойным и ласковым

— Узнала: Агеичев... Гриша Агеичев... Великовозрастным ко мне пришел... На два года старше других первоклассников... Занимался усердно и способности были... Усваивал знания прочно...

Нефед Степаныч и Алексей Ивонин легко вздохнули и вновь переглянулись: Серафима Петровна у нас еще молодец, помнит, все хорошо помнит. Двадцать пять лет прошло, сколько за это время она через свои руки ребят пропустила! Можно позавидовать такой памяти.

Железная крыша школы неожиданно так зазвенела, что все оглянулись. Ребята с грядок бросились к школе. Дождь хлынул такой обильный, что пришлось впритруску спешить за ребятами.

— Ну, Серафима Петровна, дождь загнал нас к вам в гости, — пошутил Нефед Степаныч.

— За это я благодарна дождю, — бойко, с искренним радушием заговорила Серафима Петровна. — Проходите ко мне, будем чай пить и разговоры разговаривать. Медом угощу! Прошлогодним, конечно, нынешнего еще нет.

Григорий Антипыч удивился:

— У вас свой мед? Вы пчеловодом стали?

— Представьте себе... Да еще таким, что выходи кума любиться. «Нельзя в деревне прожизаться и без коровы оставаться» — говорит моя техническая работница: — В деревне надо жить по-деревенски... У меня корова и пчелы! Посидите, поскучайте без меня, я сейчас все приготовлю...

— Серафима Петровна, не надо, не беспокойтесь, — взмолился Григорий Антипыч. — Посидите лучше с нами, отдохните! Ну, какие мы гости... Мы просто зашли... Не утруждайте себя!..

— Нет, нет и не говорите, — запротестовала Серафима Петровна и быстро вышла из комнаты.

— Э-эх, — вздохнул Григорий Антипыч, — доставили мы ей хлопот.

— Это вон Нефед Степаныч виноват, — укоризненно молвил Алексей.

— В чем?

— А намекнул...

— Она и без моего намека затащила бы... Разве ты не знаешь ее.

— Раз так обернулось дело, придется покориться. Не думал я, что мы хлопот ей доставим, — еще раз вздохнул Григорий Антипыч и заговорил о весеннем севе в Думине. Его интересовало все: количество лошадей и рогатого скота на севе, качество семян, состав звеньев... Сколько положено удобрений и каких. Сколько в колхозе трудоспособных и кто из них уклоняется от работы?

А на улице хлестал дождь. Поредет, приутихнет да вновь

приударит. В промежутках между грядками засверкала вода. Село уже несколько раз скрывалось за пеленой дождя.

Серафима Петровна принесла мед и ватрушки. Алексей догадался пуститься на кухню и принести вскипевший самовар.

— Догадливый вы человек, — похвалил его Григорий Антипыч.

— Надо же помочь Серафиме Петровне.

— Правильно. Чуткий вы человек и не хочется мне огорчать вас, но придется...

— Огорчайте... Что ж делать, — пожал плечами Алексей и смутился.

Серафима Петровна настороженно прислушалась.

— Да-а... Придется... На вас жалоба в райком поступила. Жалуются, что вы обижаете демобилизованных...

Лицо Нефед Степаныча расплылось в довольной широкой усмешке.

— Кто жалуется? — спросил Алексей.

— Его имя сейчас мелькнуло в числе уклоняющихся...

— Что тут спрашивать, — вмешался Нефед Степаныч. — Известно кто — Саша Ныртиков. Меня он, видно, оставил в покое, за тебя принялся. Теперь ты ему приглянулся. Демобилизованный обижает демобилизованных...

Нефед Степаныч громко рассмеялся.

Серафима Петровна облегченно вздохнула и махнула рукой:

— Я думала что-нибудь важное... Ныртиков давно на жалобах специализируется... Ему бы за эти зряшные жалобы высыпать надо...

— Что это за человек? — спросил Григорий Антипыч.

Алексей хотел что-то сказать, но Нефед Степаныч перебил его и подробно рассказал о всех своих столкновениях с Сашей Ныртиковым...

— Что ж вы церемонитесь с ним, — с ноткой возмущения заявил Григорий Антипыч. — Теперь не начало коллективизации, убеждать в пользу коллективного хозяйства нет надобности... Не хочет работать в колхозе, исключите!..

— Так придется и сделать, — согласился председатель.

— Нет, — возразил Алексей. — Я хочу выправить его!

— А есть возможность? — заинтересовался Григорий Антипыч.

— Есть одна возможность... Я постараюсь использовать ее. А с исключением надо погодить... Дело в том, что вместе с ним оттолкнешь еще одного человека, а тот человек — неплохой, только забытый... Это я про Ивана Косачева говорю, — пояснил Алексей Нефеду Степанычу и Серафиме Петровне. — Надо признаться, что настоящей работы с людьми у нас нет... Иван Косачев может быть хорошим колхозни-

ком, если в его душе пробудить хорошие качества. А за ним, по-моему, пойдет и Ныртиков. Они связаны какой-то странной дружбой, два совершенно разных характера...

— Попробуйте тогда, Алексей Лукич, вразумить их, — горячо проговорил Григорий Антипыч. — Людей нельзя терять. Если есть хоть малейшая возможность, постарайтесь.

— Я ничего с ним поделать не мог, — признался Нефед Степаныч. — Если ты сумеешь их привлечь, честь и хвала тебе, Алексей Лукич.

— Да-а... Это очень запущенные ребята...

— Хороши ребята: Ныртикову четыре десятка, а Косачеву за полсотни, — покачал головой Нефед Степаныч.

Все рассмеялись. Серафима Петровна не обиделась, она также от души рассмеялась и пояснила скороговоркой:

— Это я по-своему выразилась... Привычный термин на язык подвернулся... Надо бы сказать — запущенные дяди...

Мужчины громко рассмеялись. И самой Серафиме Петровне это выражение показалось смешным.

— Извините, Серафима Петровна, но вы смешите нас, — сказал Григорий Антипыч, сдерживая смех.

— Мне сегодня весело, оттого я и смешу... Мои ученики посетили меня, не забыли, не прошли мимо! И рада я, что из вас вышли настоящие люди! Ну, а насчет запущенных Алексея Лукич подумает. У него есть хорошая способность подмечать тонкости характеров и видеть в человеке хорошее.

— На том, видно, и порешим, — заключил Нефед Степаныч, вставая. — Спасибо за угощение, за привет, за ласку! Надо нам, товарищи, двигаться.

Поднялись и Григорий Антипыч с Алексеем, стали благодарить.

— Посидите, — просила Серафима Петровна. — На воле еще дождь.

— Прошел, Серафима Петровна, и солнце выгулялось.

— Разве... А я и не заметила.

Серафима Петровна вышла проводить гостей, наговорила им добрых пожеланий и просила не забывать свою старую учительницу.

Дорога расплылась.

По колеям и рытвинам к Выремше неслись мутные ручьи. Солнце светило жарко и весело.

Нефед Степаныч подставил под солнечные лучи ладонь и определил:

— Через час и дороги и поля обсохнут. Этот дождик на пользу. Теперь все пойдет в рост.

Вспаханые поля, словно в дыму, тонули в испарениях земли.

Зной зыблущейся сеткой колыбался над ними.

Вечером, после работы, было создано открытое партийное собрание, на котором секретарь райкома рассказал о международном положении, делах и днях родной страны.

Он умел не только хорошо говорить, но и донести до слушателя каждое слово, запечатлеть в его памяти каждую мысль. В этом редком умении объединялись искусства — оратора и педагога. Они верно служили ему и на фронте и оченьгодились в партийной работе.

Вместе с Григорием Антипычем колхозники пытливым и умным взглядом окинули весь вольный свет. Они ощутили всю силу и страсть борения советского народа, частицей которого являлись сами, за справедливость во всем мире, за мощь и счастье родной страны. Они слушали и чувствовали необходимость еще больше трудиться, сделать отсталое Думино достойным своей родины.

Серафима Петровна вслушивалась в каждое слово, и глаза ее сияли от восторга. Можно ли было думать, что из тощего, бледного, забитого нуждой, замкнутого мальчика, каким он явился к ней в школу, выйдет вот этот руководитель района, человек, вооруженный знаниями и умением воспитывать людей.

Поздний час, но на улице почти светло. В селе ни одного огонька. Тишина. Только из ближней избы доходит до слуха тихая песня матери, убаюкивающей ребенка.

Колхозники группами расходятся по домам.

— Девушки, теплы-ынь-то какая, — томно говорит Груня Мягкова, растегивая короткую курточку, крепко стягивающую ее полную фигуру.

— Очень интересно он говорил, — слышится восторженный голосок Оли Резцовой. — Мне все-то всешеньки стало понятно.

Наум Чайанов мечется от группы к группе.

— Кого тебе? — окликает его Мирон Батманов.

— Григория Антипыча... Он ко мне ночевать обещался...

— Хватился... Его давно дядя Петя Долотов к себе увел.

— Неужели перехватил? Не может быть...

Наум пускается дальше, но Мирон останавливает его.

— Пробегашь ночь-то... Сказано, что Долотов позаботился пораньше тебя. Успокойся и ложись спать, скоро в поле... Сейчас почти самая короткая ночь, заря с зарей за руки здороваются. День еще немного прибудет, а потом начнет убывать. На Петровки, говорили старики, час убывает. Лето пролетит, как праздничный день. Надо успеть все вырастить и убрать.

— Лето еще впереди, а сейчас только пора света и цвета, рождения и роста, — говорит Василий Гарин, поэтически

любящий природу. — Соловьи прилетели, за-аливаются... Слышите, что творится на Выремше!

— Из-под носа выхватил, — сокрушается Наум Чайанов. — Хотелось с ним чайку выпить, потолковать... Мы ведь с ним в детстве неразлучные были... Таким другом можно гордиться... Да, братцы, наука не пиво, в рот сразу не вольешь, ее умом надо долго-долго вбирать. Я к науке малое отношение имею, а знаю, сколько времени и сил надо потратить, чтобы так много знать и так ясно уметь излагать... Я про Григория Авденчева говорю!

— Агенчева, — поправляет его Алексей Ивонин.

— Ну Агенчева... Все равно.

— Нет, не все равно. Во всем точность нужна!

— Точность тоже наукой дается, а я к ней исподволь... только в досужий час... С Григорием мы ровесники... Не пошел я во-время учиться, а такая же полная возможность была. Ка-аюсь... Стал бы образованным, как и Григорий. Он вона как развился! Любота послушать его!

— Ровно фонарем все осветил, — вторит ему Никифор Наседкин, — в голове у него хорошо варит... Он и у Серафимы Петровны первым шел. Мы, бывало, только смекнем, а он давно понял...

...После собрания Петр Авденч Долотов увел Григория к себе. После ужина хозяин уложил гостя в летней горнице, чисто прибранной и вымытой после зимы.

Григорий Антипыч утром собрался домой. Перед отъездом он сказал Нефеду Степанычу с Алексеем Ивониным:

— Вас надо похвалить за то, что вы принялись подымать артельные силы. Планы выполняйте неукоснительно, но пусть народ проявляет еще свою инициативу!.. У вас есть хороший пример с Батмановым... Сумейте использовать его... Приучайте думинцев смекать о колхозных делах, как о своих, добивайтесь того, чтобы колхоз крепко держался на инициативе и заботе колхозников.

Алексей Лукич, вы мало просвещаете людей политически. Я знаю, что у вас есть агитаторы, которые раз в неделю проводят беседы. Это хорошо, но мало. Постарайтесь подобрать, а если нет их, воспитать агитаторов из среды самих колхозников, которые имеют возможность беседовать при каждом удобном случае, пользуясь примерами повседневной жизни колхоза, бригады, звена... Бывает, что люди работают вместе, а глядят врозь. Агитатор, который трудится с ними, может их научить и глядеть на каждое дело вместе.

Звеньевым помогайте! Они говорят, вчера я слышал: звено вести, не бородой трясти. Затянули песню, так ведите ее до конца, а то в прошлые годы, говорят, вы бросали звенья на полпути.

С уклоняющимися особо займитесь. Серафима Петровна

правильно говорит, что они запущенные... Запустили их, потеряли связь с ними, утратили влияние. Если найдутся совершенно несправимые, исключите, чтобы ничего у вас не оставалось развещающего здоровый коллектив.

Еще одно обстоятельство. Вы люди хорошо грамотные, а у вас ни стенных газет, ни боевых листков... Вы полагаете, что это бумажки, не имеющие особенного значения... Что, дескать, в них толку? Нет, они имеют большую силу! Я не говорю, что вы сами должны выпускать стенгазеты и листки. Мало ли у вас способных людей!

Будете в районе, заходите ко мне, и я к вам загляну.

* * *

В обеденный перерыв Алексей Ивоинин отправился в Выгонцево. Он шел к Ивану Косачеву и думал: «В нем есть хорошая сторона: он отзывчивый».

Иван Косачев, усталый, заветренный, с запекшимися губами, сидел у окна и ошипывал убитую утку.

— Гость дорогой, — обрадовался он, увидев Алексея. — В самый раз пришел: сейчас мы ее (он подкинул вверх тушку утки) сварим, и будет у нас пир на весь мир.

— Я не в гости пришел, — сказал Алексей, подавая руку, — с какой стати ты меня угощать станешь.

— А с такой, что ты мне по душе!

— Вот как! Приятно! Чем же я тебе по душе?

— Не заносишься, народа не сторонишься, ко мне вот не поленился зайти...

За спиной Ивана играл утиными перьями мальчик лет трех-четырёх, тихий, бледненький, молчаливый.

— Твой кавалер-то? — спросил Алексей.

— Мое позднее яблочко, — с умилением ответил Иван. — У меня все дети от первой жены на крыло поднялись, я на второй женат, этот листопадничек — от нее.

— А где она?

— Не знаю... Я пришел с охоты, ее дома не было. Сейчас узнаем. Юра, где мама? — спросил Иван сынишку.

Мальчик что-то ответил тихо, стеснительно. Он не выговаривал несколько букв, некоторые другие заменял посильными для себя.

— Ушла в лес за дровами, — перевел Иван ответ сына.

— Ушла в лес, его одного оставила!? — удивленно проговорил Алексей, кивнув на мальчика.

— Почему ж не оставить... Ничего ему не сделается... Он погуляет, в избу придет, посидит... Избу мы не запираем — позариться у нас не на что... Ему тут полная воля...

— Пользуясь этой полной волей, он может забрести ни-
весть куда. Он же ведь еще крошечный. Нельзя так небреж-

во относиться к ребенку. В колхозе круглый год работают ясли, сейчас открылся детский сад. Там питание и уход, а он здесь без присмотра... Его туда надо определить.

— Надо бы, да, пожалуй, не примут: мы с женой поотстали от колхоза-то...

— До того «поотстали», что стесняетесь туда и показываться-то.

— Неловко, — признался Косачев. — Чувствуешь себя среди колхозников будто виноватым.

— Ни покоя в душе, ни зажитка в доме, — многозначительно заметил Алексей, оглядывая избу. — Живешь ты, по всему видать, скудно.

— Не богато, Алексей Лукич. — Со вчерашнего вечера бродил и только вот одну утку добыл. Ночевал в лесу — назябся, утром вымок на дожде, а потом испекся на солнце, еле домой ноги притащил.

— Стало быть без артели не мед.

— Не мед, — согласился Иван.

Жизнь на ошшибе, утомительная и во многих случаях безрезультатная охота изнурили и разорили его. Он ловил случайный заработок и упускал постоянный. Он сидел сейчас рядом с Алексеем усталый и разочарованный.

— Берись за ум, иди в колхоз работать, — говорил Алексей. — Мотаешься ты тут в тоске один-одинешенек, а там у нас нынче оживление, подъем.

Алексей рассказал неторопливо и как бы между прочим о звеньях, видах на трудовень и дополнительную оплату.

Косачев заинтересовался, стал спрашивать, прикидывать. Задумывался, молчал и вновь спрашивал. Выходило так, что трудовень и дополнительная оплата за работу в звене могут принести по сравнению с тем, что он добывал охотой, сбором грибов и ягод, — целое богатство. Он приободрился и заговорил живее:

— А я слышу: Алексей Ивонин впереди на всякой работе идет, налаживает, увлекает... Раз, думаю, он взялся, значит, дело пойдет. У него голова толковая, с ним можно работать, на него можно положиться.

— Что ж, положишься на меня, вступай в мое звено, будем вместе урожая и достатка добиваться!

— К тебе с охотой вступлю... Записывай хоть сейчас! Кто у тебя еще в звене?

Ивонин перечислил имена и фамилии.

— Христина Теплова — хорошо, — одобрил Косачев. — Эту бабу за двух работников можно считать. Ну и другие подходящи... Но без разбору ты, Алексей Лукич, не принимай, а то ведь есть такие, которые любят на шеромыжку... Из-за них один только разброд в звене пойдет.

— На шеромыжку нынче не выйдет, за счет других не

поддудит. У меня в звене индивидуальная сделыщина: вот тебе шмат земли для пашни или подкормки или участок посева для прополки или косьбы, качественно ли и сколько ты сделал, столько тебе и запишется.

— Бери больше земли для звена, — предложил Иван, — сделаем. Работать так уж работать!

— Земли много, хватит с нас, только трудись в полную силу. Завтра придешь?

— Да ведь оно... это самое... конечно можно... А прибыль-то будет ли?

— Станешь работать, так будет!

— Надо еще с Ныртиковым поговорить...

— Поговори. У меня к тебе есть серьезная просьба. Скажи ему, что если он вместе с тобой не приступит к делу, из колхоза его исключим. Посоветуй ему хорошенько подумать. Вразуми его по-дружески...

— Постараюсь. Вместе завтра придем.

— Да скажи ему, чтобы поберег бумагу, — добавил Алексей.

Иван Косачев понял, на что намекнул Алексей:

— Да, Саня пописать любит... Кляузничает от нечего делать...

— Ты, Иван Степаныч, человек разумный, — твердо сказал Алексей. — Подействуй на него, как друг. Пусть он включается в настоящую жизнь, а кляузы бросит. До свиданья, завтра встретимся.

— Погоди, сейчас утку сварим, свежей дичинки попробуем!

— Велика утка... Вам самим нехватит.

— Что уж, на что хватит, считаться не приходится, — не отставал Косачев.

— Нет, кушайте на здоровье... Завтра жду в четыре утра!

— Алексей Лукич, посиди! Ей богу, мне тебя уточкой угостить охота. Ты вот зашел и я как-то ожил весь...

— Некогда мне...

— Хоть часок еще!

— В поле надо отправляться!..

Алексей Ивонин вышел. Косачева что-то осенило, он стукнул себя ладонью по лбу и кинулся вслед за Алексеем.

— Алексей Лукич! — крикнул он Ивонину и, когда тот оглянулся, запальчиво проговорил:

— Истрать еще одну минуточку, я забыл тебе свою охоту показать. Эх, и охотка же у меня!

На лице Ивана Косачева он прочел такую детски-искреннюю мольбу, что побоялся испортить так хорошо наладившиеся отношения, и вернулся:

— Ну, ну, покажи...

Он вошел в избу. Иван с пути куда-то исчез.

Вскоре за стеной послышался частый и мелкий топот. В сенях что-то грохнулось и с бряком покатилося. Открылась дверь, и в избу ввалился Иван со своей охоткой: большой костромской гончей и такой же породы крупным щенком.

Они ласково и признательно лезли к хозяину целоваться, прыгали, радостно визжали, а он с притворной строгостью отбивался от них.

Наконец, ему удалось внушить, что ласки ему надоели, пора кончать. Тогда собаки занялись другим: с громоподобным лаем закружились по избе, вскочили на лавку, с лавки на стол, со стола на деревянную расшатанную кровать, с кровати на посудницу у печки. «Позднее яблочко» скатилось под лавку и не выглядывало даже оттуда.

— Утку-то съедят, — крикнул Алексей.

— Не тронут, — уверенно ответил Иван, — они выдержанные...

Собаки носились по избе, громыхали лаем, взвизгивали, а Косачев любовался и расхваливал их, как лучших представителей замечательной породы русских гончих.

— Охотка замечательная, — похвалил Алексей, чтобы порадовать хозяина. — Собачки рьяные...

— Таких теперь не найдешь! — распалялся Иван. — Пойдем осенью по чернотропу или по первой пороше на охоту, поглядишь, каков у них поиск и гон... Ты увидишь, какая это красота.

— Пойдем, — наскоро согласился Алексей, чтобы не терять времени.

Он поспешил на волю, завернул за угол избы, прошел мимо окон и остановился около двора, прислушался.

Со двора слышались протестующие взвизгивания и успокоительные слова хозяина:

— Ну, чего.. Тише, ти-и-ше! Довольно, нагулялись!..

Иван водворял свою охотку на место.

На другой день, после отъезда Григория Антипыча, в Думино вступила тракторная бригада Степана Густомесова.

В правлении он заявил председателю, что его бригада направлена сюда по указанию секретаря райкома исправить мнение думинских колхозников о трактористах. Затем он сообщил, что Козлятина из МТС прогнали, поступок его осуждали и осуждали во всех тракторных бригадах.

Степан Густомесов просил Нефедя Степаныча «дать больше простора», отвести его бригаде самые крупные участки весеннего клина, чтобы трактористы могли размахнуться во всю ширь.

Вышли оглядеть поля. Степан Густомесов шел рядом с председателем, покачивая толстыми, могучими плечами,

прочно ступал тяжелыми, сильными ногами, оглядывал окрестность, изредка задавал вопросы.

Поодаль молча следовали за ним трактористы.

Горячо жгло солнце. Высоко в ярком голубом небе недвижимо стояли легкие перистые облака. Знойное марево трепетало над полями, словно светлая рябь озер хрустальной чистоты.

— Надо немедленно пахать, удержать влагу в земле, а то поле поминутно сохнет, — озабоченно проговорил Степан Густомесов.

Оглядев поля и наметив участки, вернулись в правление.

Трактористы — крепкие молодые парни, чувствовали себя здесь по-юношески стеснительно и скромно уселись на стулья вдоль стены.

Степан Густомесов все еще говорил с председателем.

Наступило обеденное время. В правление набилось много молодежи посмотреть прославленную по всему району густомесовскую бригаду.

Трактористы (некоторые из них были в шлемах танкистов) сидели прямо и безмолвно. Одни курили, другие дремали, третьи разглядывали окружающих. Около них щебетала Оля Резцова, напевала Груня Мягкова, разговаривали и пересмеивались другие девушки.

Степан Густомесов, закончив разговор с председателем, погасил папиросу и положил окурочек в пепельницу. Тотчас же прекратили курение и трактористы. Бригадир взял от стола председателя стул и сел напротив их. Разговоры прекратились, стало тихо. Бригадир будет проводить беседу с трактористами. Интересно.

Степан Густомесов сдвинул шлем на затылок и положил свои большие руки с толстыми пальцами на колени.

— Танкисты! — сказал он густым басом и сурово поглядел на трактористов. — Танкисты, я на вас надеюсь. Надо показать пахоту высшей марки!

— Есть, — ответили его «танкисты».

Степан Густомесов приподнял рукав кожаной куртки и посмотрел на часы:

— Час дня или по-нашему — по-военному тринадцать ноль-ноль... Пошли!

Степан Густомесов грузно поднялся и переставил стул к столу председателя. Трактористы вышли на волю.

— Постановочка дела, сразу видать, у него в бригаде фронтная, — заметил Нефед Степаныч. — На беседу потребовалось ему ровно две минуты.

— Видать, что почти все они из демобилизованных танкистов, — определил Тихон Старостин.

— Да, — согласился председатель, — Григорий Антипыч, видать, прислал отборных...

На улице трактористы разошлись в разные стороны: одни устремились к машинам, другие направились на квартиру, легли спать и моментально уснули.

Тракторы гудели в поле круглые сутки. По ночам, словно длинные пальцы, обшаривали поля лучи тракторных фар.

Трактористы проводили за рулем по двенадцати часов. После смены приходили на квартиру, обедали; ложились спать и в ту же минуту засыпали. Потом вставали, ели, пили чай и уходили к машинам сменять товарищей. Степан Густомесов требовал все новых и новых участков, и Нефед Степаныч проводил эти дни около трактористов. Работой их он был доволен.

— Выворачивают такую землю, которая еще никогда наверху не была, — говорил он. — Глубоко берут. От материка... Этот слой должен уродить. Ста-арательные ребята!

— Не зря в песне-то поется, что кони стальные и пахари железные. Землю взбили, как подушку. Много на вспаханных ими полях будет жита, — заключил Петр Авденч Долотов.

* * *

На другой день после похода в Выгонцево Алексей увидел на завалинке своего дома Ивана Косачева рядышком с Сашей Ныртиковым.

— Ты, видно, по охотничьему делу рано привык вставать, — заметил Алексей Ивонин.

— Кто не поднимается с солнцем, тот не наслаждается прелестью дня... Говорят, что одному и топиться скучно, а потому я пришел не один. Вот, Саня тоже хочет поработать в твоём звене по всей силе-возможности... Может у него чего и получится...

— Пожалуйста, — снисходительно разрешил Алексей и добавил. — Только у меня в звене надо работать как следует!

— Он постарается...

— Я буду стараться, — глухо промолвил Ныртиков.

— Тогда милости прошу в мое звено, — радушно пригласил Алексей Ивонин.

Иван Косачев остался очень доволен, что сумел обставить вступление Саши так дипломатично.

Подошли колхозники.

— Товарищ Косачев! — воскликнули они в несколько голосов: — Сколько лет не видались! Жив и здоров. А мы думали тебя давно на свете-то нет...

— Да и Саша Ныртиков здесь!

— Братцы, кого мы видим!.. Ущипните меня! Может я сплю. Не верится. Не работать ли пришли?

— Работать! — вызывающе ответил Косачев.

— Ну, значит, хлеба нынче будут небывалые...

— К добру, к добру, — вступился за Косачева и Ныртикова Алексей. — Ничего удивительного нет...

— Как нет? — перебили его. — Сколько времени мы их не видали, и вдруг они... вот они... да еще в нашем звене!

— Ничего удивительного нет, — строго повторил Алексей: — Товарищи эти, как говорится, не допонидали, а теперь поняли... Увидели, что мы нынче укрепляемся...

— Увидели, что нынче не как прошлый год, — подхватил Косачев.

— Ты еще понятно, — говорили ему колхозники, — ты покладистый... А вот Ныртиков как решился? Это просто уму непостижимо!

— Александр здоровьем нынче стал лучше, — защитил его Косачев.

— Поправился?

— Поправился...

— Вот это хорошо.

— Здоровье дороже всего...

Алексей поднял руку. Это означало, что он просит выслушать его. Колхозники притихли.

— Косачев и Ныртиков пришли к нам работать! Они хотят искупить свою вину честным трудом в наших рядах. Корить мы их не будем, а поможем им всей душой полюбить артельный труд, научим их понимать, что домашние интересы, личные дела зависят от общих!

В общественных делах Алексей Ивонин казался строгим, взыскательным, а в семье и на работе был сердечным, ровным, спокойным человеком, ласковым отцом и товарищем.

Он взял звено крепко в свои руки, никогда ни в чем не подчеркивая своего я, не строжничая, ни на кого не повышая своего голоса.

Колхозники любили те минуты, когда Алексей перед началом работы проводил рукой перед собой, приглашая членов звена собраться в кружок, и говорил:

— Давайте подумаем, чтобы сегодня больше и лучше работать.

И начиналась беседа. Один скажет, другой подскажет, третий, глядишь, и новенькое предложит. Так в звене завелся обычай подумать, потолковать, воодушевиться утром в дружеской беседе.

День прихода Косачева и Ныртикова в звено начался такой же беседой.

— Осень говорит: я поле уряжу, а весна говорит: я еще погляжу, — начал Алексей. — Осень наш труд на полях красно не урядит, если мы его до вершины возможного не доведем. На картофельник мы навозили много торфа, но один он на урожае первый год мало отзовется, большого урожая участок не даст, а тогда не жди и дополнительной,

Если же торф полить навозной жижей и хорошенько перемешать, нынче же он покажет свою силу. Тогда можно считать, что сверхплановый урожай и дополнительная—в наших руках. Тогда осень урядит и участок нашего звена.

— Конечно, тут работы много, но она оправдывает себя, — раздался чей-то голос.

— Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет, — ответила за всех Христина Теплова.

— Надо полить, — несмело проговорил Иван Косачев, выглядывая из-за стены Алексея Ивонина. — Тогда она воспарение произведет...

* * *

Нефеду Степанычу сообщили, что Косачев и Ныртиков работают вместе с Алексеем, и он вышел посмотреть на них.

Дружки-приятели обливали жижей торф и перемешивали, переключаясь с Мироном Батмановым, который трудился по соседству с ними.

— Жмите, братцы, во все лопатки, — кричал Батманов.

— И то стараемся, аж пот прошиб, — отвечал ему Косачев.

— Вам надо постараться и за нынешний год и за прошлый!

— Мы постараемся, ты не беспокойся, — опять миролюбиво заговорил Косачев, но его перебил Ныртиков:

— Ты о нас не беспокойся, а почаще на бугорок гляди. Он скоро у тебя поужарится, зарумянится калачом, а потом и сухарем станет...

— А мы его размочим, — звонко прокричал находчивый Батманов.

— Вырешми-то хватит ли тебе для размочки-то? Она мелковата...

— Вырешми нехватит, Любицу почнем!

— Любицы хватит, но только она далековата...

— А у нас ноги есть!

— Ноги-то есть, да жилы-то хватит ли?

— У нас, не как у вас, жилы на все хватит.

Ныртиков смолк. Его сменил Косачев.

— Сушит, жарит и печет, — сокрушенно вздохнул он.

— Печет, — согласился Батманов.

— И соберешь ты на этом бугре два урожая печеной картошки, — ехидно свернул Косачев.

— Тебе же лучше, — живо отвечал Батманов. — Получишь на трудодни и прямо на стол — печь-варить не надо.

Мирон рассмеялся, довольный своей отповедью.

— Печеная к лежке, говорят, слаба, — не унимался Косачев, — скисает.

— У тебя не скиснет... Ты, наверное, немного заработаешь... В жару ты неособенно...

Между ними неожиданно появился Алексей.

— Товарищ Батманов! — укоризненно проговорил Ивонин и покачал головой.

— Мы ведь, Алексей Лукич, так... без сердца...

— Мы без сердца, — подтвердил Косачев.

— Для шутки...

— Если шутить, так надо повеселее, — сказал Алексей. К нему подошел Нефед Степаныч.

— Познакомься с моими верными помощниками, — многозначительно заявил Алексей.

Нефед Степаныч кивнул помощникам и спросил Алексея: — А верные ли будут?

— Обещали, а я думаю, что они своим словам хозяева.

— Алексея Лукича мы не подведем, — сказал Косачев. — Мы за этим вожакom хоть в огонь...

— Лучше в засуху, если навалится, — ответил Нефед Степаныч. — Нынче победить ее надо!

— С Алексеем Лукичем мы и в засуху устоим.

— Хорошо! Верю! Вы люди горячие, только поотстали от нас что-то. Но теперь мы будем вместе, — подбодрил их председатель.

С участка ивонинского звена он двинулся на Конопляники. Мирон Батманов встретил его весело и уверенно заявил:

— Ну и ячменя я здесь, председатель, вырашу-у-у...

— Не хвались началом, а покажи конец, — охладил его Нефед Степаныч. — Гляди — не оплошай в чем... Почему ты думаешь, что у тебя ячменя много будет?

— Нынче на осине почки были большие — к урожаю ячменя. Примета, Нефед Степаныч, верная.

Председатель усмехнулся:

— Если ты только на почки надеешься...

— Нет, — не дал ему договорить Мирон. — Я сделал все, чтобы он поднялся бурей и рос богатырем, а почки мне показали, что лето будет для него благоприятное.

От Мирона Нефед Степаныч завернул в звено Долотова.

Петр Авденч сидел на лужайке, отдыхал. Председатель подсел к нему и сказал сочувственно:

— Устал, старина... Тебе, знамо, трудно тягаться с молодыми звеньезымы, одолеют они тебя, но мы примем во внимание твой возраст...

— Они должны одолеть, — согласился Долотов.

— Сил и задора у них побольше, — добавил Нефед Степаныч.

— Силенок да и задора у них много больше, — повторил Долотов и помолчал.

— Но вот с моим племянником случай какой произошел, — заговорил он после паузы. — Он молодым еще тогда был, племянник-то мой... Старик-отец у него тогда оплошал, помер; сын оплошал, схоронить не успел, а старик ожил, да

доле сына и прожил. Вот какие истории со стариками-то бывают! Так что насчет потягаться с молодыми звеньевыми ты не беспокойся. Может еще будет солнышко и у нашего старого окошечка!

Нефед Степаныч тронул Долотова по широкой спине и восхищенно воскликнул:

— Вот я теперь вижу, что душа у тебя, старик, еще горячая!

— А я теперь вижу, что ты хитрый. Ты заговорил об усталости и молодых звеньевых, чтобы разбередить мою душу.

— Так тебе же это на пользу. Лучше не забудешь, что у тебя сильные соперники по звеньевой работе есть.

— Я никогда об этом не забываю.

Заглянул председатель и к Паше Ивоной.

В ее звено подобрались старушки и пожилые колхозницы. Они любили ее за спокойный характер, умную рассудительность и неподдельное уважение к старшим. Паша выглядела среди них очень молодой и свежей.

— Что подельваете сегодня? — спросил Нефед Степаныч, чтобы с чего-нибудь начать разговор.

— Счастье в оглобли запрягаем, — ответила острая на язык бабушка Стратилатова.

— Запряжете ли?

— Запряжем!

— Подкармливали и бороновали всё озимую пшеницу, а теперь третий день овес сеем, — доложила Паша.

— С овсом-то не опаздываете? Про него ведь говорится: сей в грязь — будет князь.

— Мы придерживаемся в своем звене несколько иного мнения, Нефед Степаныч, — мягко возразила Паша.

— Какого же?

— Не всегда он из грязи в князи выходит, — прямее своей звеньевой заговорила бабка Стратилатова. — Бывает так, что посеешь его в грязь, а тут холод завернет, озябнет овес-то, замылится и пропадет. Вот как правильнее будет: сей овес, когда босая нога на пашне не зябнет.

— Так вы бабушкиного мнения придерживаетесь?..

— «Сей в грязь» тоже, Нефед Степаныч, может бабушкино, — заметила Паша. — Оно тоже от стариков идет. Мы придерживаемся такого мнения, такого срока, какой считаем лучшим.

— Бабушки, Степаныч, не меньше других за урожай болеют, — сказала веско старушка. — Ты гляди-поглядывай!

Нефед Степаныч оглянулся вокруг, ничего не увидел и спросил:

— Куда поглядывать-то?

— Видишь тебя дружок зовет... Шумни ему, чтобы сюда шел.

Далеко, на меже, разделяющей владения двух соседей-колхозов, стоял Вениамин Андронич и призывно махал думинскому председателю рукой.

Нефед Степаныч не последовал совету бабушки, не шумнул, а сам поспешил к нему, как старшему по возрасту и опыту. Председатели встретились на меже. Поздоровались. Присели на лужок. Посмотрели на небо. Помолчали.

— Значит, сеешь? — спросил тереховский.

— Значит, сею, — ответил думинский.

— Каково дело идет? — спросил тереховский.

— Ничего-о! — ответил думинский.

— Говори: хорошо, — посоветовал тереховский.

— С какой радости мне говорить «хорошо»? — удивился думинский.

— С такой, что у тебя все звенья стараются, всю площадь уходом своим охватили, нас перегнали.

— В чем перегнали? — еще больше удивился думинский.

— Да в этом самом... У нас звенья давно бегут, и то еще общих полей много. Звенья у вас сильные, партийная организация живая, руководитель ее парень толковый... У вас теперь дело покатится вперед колесом. Я нынче говорю своим: старайтесь еще больше, а то, мол, наступит комар парню на ногу. Думино обставит нас. У нас все хорошо и хорошо, наше Терехово всё хвалят и хвалят, мы и думаем, что достигли всего, а взять критически, так дело обстоит только мало-малю подходяще, останавливаться нельзя, успокаиваться губительно! Успокоимся, говорю, и начнем опускаться, а Думино в это время рвется вперед, набирает разбег... Так и подтягиваю своих, а то ведь очутиться позади больно недолго.

— Конь урывом берет, а вол постепенно налегает плечами во всю силушку и прет воз вдвое тяжелее, — задумчиво проговорил Нефед Степаныч.

— О чем ты? — никак я в толк не возьму.

— Кто рвется, тот, к примеру, конем и будет. Думино при Ефиме Васильевиче работало и жило хорошо, а потом прорыв, отставание, застои, подъем, урыв, разбег... А Терехово тянет-подтягивает, налегает и подымается все повыше да повыше. Так-то, по-моему, вернее, чем урывом.

— Хотел было я сперва обидеться на тебя, а потом раздумал, вижу, что сказал ты со смыслом. Я советую вам так: урывом поднимитесь, а потом налегайте и налегайте.

— Налегли бы, кабы урыв удался.

— Удастся! По всему вижу!.. Теперь время нам и соревнование затеять... Вас оно еще подогреет.

— Что ж, потягаемся, — решительно молвил Нефед Степаныч: — у нас нынче, верно, что-то получше намечается.

— Озимые у вас хорошие, яровые и того лучше будут, — предсказал Вениамин Андроныч. — Хлеба много соберете.

Нефед Степаныч испытующе посмотрел в чистое голубое небо, глянул на палящее солнце и зажмурился, ослепленный на миг:

— Только бы не засушило опять.

— Не должно! Года на одно лицо не бывают.

Председатели поднялись с лужайки.

— До свиданья, Вениамин Андроныч, бывай здоров!

— Спасибо, ненаглядный мой. Поклон всем вашим думинским...

Вениамин Андроныч направился к своему Терехову и неожиданно вернулся.

— Погоди-ка, — крикнул он.

Нефед Степаныч оглянулся и подошел к нему.

— Секретарь райкома у нас был, — тихо сообщил Вениамин Андроныч.

— Ну и что он?

— Не понравилось ему у нас.

— Не может быть?!

— Не понравилось... У вас, говорит, все на председателе держится. Секретаря партийной организации пробирал... Вы, говорит, только числитесь... Хватил тот жару... Ну, кланяйся своим.

Председатели разошлись, но Вениамин Андроныч вскоре опять окликнул Нефеду Степаныча и сообщил:

— Мы дождевальную установку для огорода получили.

— Хорошо ли действует?

— Еще неизвестно.. Ждем не дождемся, когда наладят. Приходи поглядеть.

— Извести. Мне это очень интересно! Понравится, так может мы и у себя заведем.

— Вот в следующий раз встретимся, я тебе и покажу...

Председатели в третий раз расстались и задумчиво пошли в разные стороны: один в свое Терехово, другой в свое Думино.

— Сосед! — опять послышался голос Вениамина Андроныча.

Нефед Степаныч обернулся и подумал: «Что-то его беспокоит — никак отойти не может».

Тереховский председатель подошел к думинскому и вздохнул:

— А, все-таки, хоть дружба дружбой, а уступать вам не хочется. Все были тереховцы впереди и вдруг заместо их думинцы стали передовыми. Ухо-то даже не привыкнет...

— Привыкнет, если это сбудется, — усмехнулся думинский.

— Ухо-то привыкнет, но сердцу-то каково?

— Не хочется, видать, тебе уступать славу передового колхоза... Ты все думал, что тебе и соперников не сыщется.

— Ой, не хочется, — признался Вениамин.

— Так не уступай!..

— Вот я и жилищую изо всех сил, чтобы расти дальше, но трудно мне... Не зря же секретарь райкома сказал, что у нас все на указаниях держится, сил мало поднято. У тебя хороший помощник есть, а я все один...

— Партийного руководителя тогда надо хорошего, — подсказал Нефед Степаныч.

— Вот и дело-то все в этом, — неопределенно заключил Вениамин.

Наконец-то соседи-председатели расстались.

На границе владений двух колхозов Нефед Степаныч остановился.

За кустами неподалеку друг от друга работали звенья: одно из Думина, другое из Терехова. Вот они и вели разговор по поводу встречи двух председателей.

— Наш Ненаглядный подельнее вашего...

— Ну и наш-то заботливый.

— Заботливый, а поправить не может...

— Нынче поправимся!

— Давно вы собираетесь, да не вытягивает он вас...

— Нынче вытянет. Не один он взялся... У нас еще Иво-нин есть! У того голова-то поздоровей, чем у вашего!

— Так он у вас не председатель.

— Зато партийный секретарь! Он с низов берет и, может статья, так повернет, что мы впереди вас пойдем.

— Наш все положит, а позади не будет!

— А наши-то два — оба один оттуда, другой отсюда поднажмут и выведут нас наперед вас!

Нефед Степаныч сжал губы, прищурил глаза, как это делал всегда в минуты решимости, и быстро пошагал к Думину.

Конец первой части

Н. Сусленников.

В РОДНОМ КРАЮ

I

Заря с зарею сходится —
Так ночи коротки.
Девчата хороводятся,
Танцуют у реки.

В кругу шуршат сандалии,
Торопится гармонь —
Пустилась в пляс Наталия,
На талии — ладонь.

Наказ дают подруженьки:
— От имени звена
Ты бригадира лучшего
Переплясать должна.
И девушка старается
Под песню, хохот, свист.
Но чортом извивается
Андрюша тракторист.

То дробь замысловатую
Умело отобьет,
То шуткою крылатую
Нежданно щегольнет.

— Ходи, ходи, нарядная,
Подметок не жалей.
Играй, гармонь двухрядная,
Веселый звон разлей!

Эх, пой, гармонь,
Говори, гармонь,
У меня в груди
Не душа — огонь!

Эх, бей, сапог,
Выбивай, сапог.
Через всю войну
Ты протопать смог.

А теперь ты взбил
Пыль родных дорог,
Послужи, сапог,
Еще лет пяток!..

* * *

На траву упали звезды.
Ночь ушла — стоять устала.
Над туманными холмами
Алый шелк заря соткала.

Засвистели звонко птицы
Над сиреневым раздольем.
Все пошли из хоровода
Не домой, а прямо в поле.

* * *

Уж сколько лет,
Уж сколько зим
Влюблен в Наташу
Клим Судачин,
Но нет,
Не дружит счастье с ним,
Красив собой —
А нет удачи.
Записки ей писал не раз,
Она рвала их,
Не читая.
Но Клим
С нее не сводит глаз:
Грустит,
Волнуется,
Вздыхает...
Надеется:
Когда-нибудь
Не станет девушка гордиться
И вместе с ним
В далекий путь
Итти по жизни согласится.

Цветет черемуха, цветет,
Весна звенит в родной сторонке.
В полях работает народ,
А Клим — шофером на трехтонке.
Но беззаботен он всегда —
Не любит Клим перетомиться.
Устанет — велика ль беда —
Свернет в деревню,
Отоспится.

...Сегодня он в селе родном.
Пужинал,
Зашел к Андрею.
В саду уселись за столом:
— К тебе, Андрей, вопрос имею.
Вчера ты здорово плясал,
С тобой на круге —
Трудно биться...

Такую новость я слышал:
Никак задумал ты
Жениться?..
— Ну, да..
— Наташу взять решил?
— Да, только не теперь,
Не скоро..
Ну, прямо в сердце угодил!
Заныло сердце у шофера.
— И я люблю ее, Андрей..
— Ну, что ж, люби, не возражаю.
— Иду я с предложеньем к ней..
— Удачи всяческой желаю!
На этом кончен разговор.
По-дружески в саду расстались,
Однако редко с этих пор
Они лицом к лицу встречались.

II

Тихо в поле.
Вечер мгlistый.
Замолчали трактора.
Молодые трактористы
Отдыхают у костра.

Анекдоты, сказки, шутки
Молча слушает Андрей.
Сизый дым из самокрутки
Вьется около бровей.

День прошел в труде суровом.
Но, поди ж, — не спит народ.
— Дайте мне, ребята, слово! —
Бригадир раскрыл блокнот.

Встал с травы и руку поднял,
В воздух ткнул карандашом:
— Потрудились мы сегодня
Очень даже хорошо!

Но, товарищи — ребята,
Покривить душою грех:
Обогнали нас девчата,
Это просто — курам смех!..

А второй вопрос — газету
Я недавно прочитал:
Угрожает всему свету
Из Америки — Маршалл.

Говорить открыто стану —
Правду нечего таить:
Захотел Маршалл «по плану»
Целый мир закабалить.

Нам, солдатам бывшим,
Нужно
Повострее глаз держать
И своей работой дружной
Мощь Отчизны укреплять.
Нет, не будет манны с неба —
Как ты там ни говори!
Чтоб заполнить новым хлебом
Все сусеки и лари —
Надо всем в полях трудиться,
За свое богатство биться
От зари и до зари.

Вот и кончен мой доклад...
Сел. И смотрит на ребят,
А ребята говорят:
— Правду молвишь, бригадир.
— Поднимай давай.

— Веди!
— Есть такой проект решения:
К тракторам — без промедленья,
Впредь и день и ночь пахать!
Против нету?
— Не видать.

* * *

Угасли звезды. Диск луны
Уплыл за синий горизонт.
И утро ласковой весны
Раскрыло свой широкий зонт.

Взлетели жаворонки ввысь,
Запело дружно все вокруг.
— Иван, нажми!
— Андрей, крепись!
— Паши — спеши, Никита-друг!

И вдруг...
Чихнул, заглох мотор.
А вслед за ним умолк другой.
У бригадира — хмурый взор.
Взглянул и зло махнул рукой:

— Конец горячему! Беда!
Сказали подвезут, а нет...
Андрей туда,
Андрей сюда,
Идет в правленье,
В сельсовет.
Он замполиту позвонил:
— Бензину нету, выручай!
Ответ:
— Машину снарядил,
Везут горячее, встречай!

Дорога вьется средь полей,
Простор полей широк, широк...
Но нет машины.
И Андрей
Бежит в соседний хуторок.

Навстречу дед.
— Скажи, седой, —
Трехтонки нашей не видал?

—Видал, сынок,—шофер хмельной—
Старик на хутор указал...

Бежит Андрей.
Четвертый дом.
Резной, решетчатый карниз.
И одиноко под окном
Стоит зеленый грузный «Зис».

...Рванул скобу
И в дом вошел:
Шофер — как мак,
Не жизнь, а рай!
— Стаканы сушишь хорошо,
А нас подводишь, разгильдяй!
Шофер глазами заморгал:
— К чему, Андрей, такая прыть?
Часок рукам я отдых дал,
Успеем, некуда спешить.

А в общем — строго говоря —
Ты не начальник надо мной.
Из-за Наташи все.. А зря..
Давай, пообедем стороной!
Андрей вскипел:
— Уж если труд
Не ценишь ты — машину сдай!
Гуляй, как знаешь,
Кисни тут,
А нам работать не мешай!

Поднялся нехотя шофер,
Тряхнул курчавой головой..
Нажал стартер,
Взревел мотор,
Помчался «Зис» по столбовой.

А день идет,
Уже в зенит
Поднялось солнце.
Зной — сильнее.
Машина по полю бежит,
И лихо вьется пыль за ней...

* * *

Весь месяц не было дождей.
Трава поблекла и завяла.

Звено Наташи тридцать дней
Посевы от жары спасало.

Ломило руки от труда,
Девчата устали не знали,
Носили воду из пруда
И дружно всходы поливали.

А старики одно гудят:
— В такой поливке нету смысла,
Как ни старайся,
А дождя
Не принесешь на коромыслах.

Тоска берет глядеть на вас.
Не надрывайтесь, девки,
Бросьте.
Примета верная у нас —
Ненастье будет:
Ноют кости.

Но девушки свое в ответ:
— Мы все равно не прогадаем,
Там будет дождик
Или нет,
А мы добьемся урожая.

Он достигается трудом.
Участок трижды мы пололи,
И, хоть немного, но польем,
Чтоб утолило жажду поле.

...И всходы ожили опять:
Взялись,
Поднялись,
В жизнь вцепились!
И вправе девушки сказать,
Что своего они добились.

* * *

— Слыхали, девушки?
Андрей
Поссорился с шофером.
Из-за Наташи все — ей, ей! —
Поплыли разговоры.

— А Клим с бутылочкой сидел...
С горючим задержался.
— Андрей побить его хотел,
Да что-то растерялся!

— Два жениха!
— Вот это раз!
— Счастливая невеста.
— Кому она согласие даст —
Уж очень интересно?!

— У бригадира — новый дом!
— И у шофера — так же!
Гадать не будем.
Обождем,
Что нам Наташа скажет

Наташа только и всего:
— Ответ скажу не скоро вам.
Я замуж выйду за того,
Сильней люблю которого!

III

Вереницу туч тяжелых
Ветер западный принес.
Как из сотни автоматов
Грянул дождик — косохлест.

В поле пыльные рубашки
Мужикам пробил насквозь.

Шутят:

— Лейся — не размокнем,
Не из глины мы, небось!
Ты явился очень кстати,
Ждали мы тебя давно.
Напой-ка силой — влагой
В каждом колосе зерно.

Мы давали обещанье
Честь колхоза остоять.
Лейся, лейся, долгожданный, —
Слово надо нам сдержать!
...Дождь утих. Взглянуло солнце:
Поле в ярких искрах сплошь.
Приосанилась пшеница,
Гордо выпрямилась рожь.

А вот и липа зацвела
На пасеке, в саду.
Метнулась умница-пчела
К привычному труду.

Любовно смотрит пчеловод
На каждый белый куст:
— Медку получит наш народ —
Чаек не будет пуст.

И брага будет на столе.
Вот хлеб стране сдадим —
Тогда по всей родной земле
Мы праздник зададим.

И справим свадьбы молодым —
Я тестем быть не прочь:
Идет слушок — Андрей и Клим
В мою влюбились дочь.

Неплохо, право, двое враз!
В труде Андрей мастак.
Он — лучший тракторист у нас.
И Клим-то не дурак.
Но любит парень выпивать —
Не так самостоятельный.
Наталье дам совет избрать
Андрея.
Обязательно!

Дрожит под стройной липой тень,
Таскают пчелы мед.
По саду бродит целый день,
Мечтая,
Пчеловод.

IV.

Небо огненной жар-птицей
Загорелось надо мной.
Морем стелется пшеница,
Бродит ветер озорной.

В синей дымке тонут села.
На траве горит роса.

Слышу девушек веселых
Заливные голоса.

Льется песня молодая
Шире, громче, горячей,
И звенит, переливаясь,
Как серебряный ручей.

Мчатся кудри-завитушки —
Облака — в далекий край...
— Эй, подружки-хохотушки,
Подтянись, не отставай!

Дружно встали цепью белой,
Засучили рукава,
Раздаются то и дело:
Задуманные слова.

Торопливо в горсти жницам
Входит стеблей тесный строй.
До сырой земли пшеница
Клонит колос налитой...

...Льется песня, не смолкая.
Жнут девчата ловко, споро.
Вслед за ними вырастают
Золотые косогоры.

Солнце жжет неумолимо.
Тонет в небе паутина.
Горизонт — в прозрачном дыме.
Мчится по полю машина.

Подкатил водитель к жницам.
Держит руку под кудрями:
— Я прошу вас, мастерицы,
Нагрузить мой «Зис» снопами.

Из кабинки важно вышел,
Осмотрел рессоры, шины...
...Сноп к снопу — и воз все выше,
Глядь — скирда уж на машине.

— Ну, езжай! — кричат девчата, —
На ухабах — аккуратно!
Урожай у нас богатый,
Приезжай скорей обратно!

— Ладно, — Клим ответил жницам,
На сиденье залезая, —
— Все торопят. Накуриться
Ну, никак не успеваю!

Сел за руль. Нажал педали.
Был таков — следы простыли...
А девочки жали, жали,
Из бутылок воду пили,

Хлеб с ядреною крошкой
Торопливо в полдень ели,
Отдохнув, остыв немножко,
Снова жали, снова пели:

— Эх, ты ягода лесная —
Черная смородина.
Расцветай на радость людям
Дорогая Родина!

Наливайся соком спелым,
Чудо-яблочко — ранет.
Стороны родимой краше
Ничего на свете нет.

Праздник радости и счастья
В каждом доме — за столом.
Вот закончим пятилетку —
Еще лучше заживем. »

Эх, ты песня, думка-песня,
Быстрой ласточкой лети.
Край родимый,
Край любимый,
Веки-вечные цветы!
А когда пожар заката
Запылал над отчим краем —
Полоса была дожата,
Стихла песня молодая.

Отложила серп Наташа,
Еле спину разогнула.
— Вот теперь победа наша! —
И она легко вздохнула.

* * *

Как приятно освежиться
После славного труда.

Льется, плещется, струится
По крутым плечам вода...

И бежит Наташа в сенцы —
Где усталость!
Весел взгляд.
Обмахнулась полотенцем,
Приделась,
Вышла в сад.

Хорошо в тиши прохладной
Песни петь наедине:
«Где ты, где, моя отрада?
Ты приди, приди ко мне!»

...Приздумалась Наташа,
И слегка взгрустнулось ей:
— Что-то долго глаз не кажет
Ненаглядный мой Андрей?..

Сердце девичье не камень,
Ласки требует оно...
— Ты приди, утешь словами,
Я свиданья жду давно.

...Дверца скрипнула.
— Наверно
Это он? Я встречу с ним!..
Шагом медленным, неверным
Подошел к Наташе
Клим.

— Добрый вечер!
— Добрый вечер.
— Как живется?
— Хорошо.
— Поразвлекься что-то нечем —
На беседу к вам зашел.

А Наташа смотрит строго,
Голос девушки сердит:
— В пьяном виде?!
— Я немного...
Потерялся аппетит...

— Иль постигло злое горе?
— Нет. Но и не в радость жизнь...
— Ты себя и нас позоришь!
Клим, иди домой, просппись.

— Раз не люб — уйду, покину...
И ушел...
...Плывет луна,
И опять, как сиротина,
Ходит девушка одна.

Все Андрея ищет взглядом,
Об одном грустит — о нем...
Вдруг желанный, ненаглядный
Показался за плетнем.

Сердце радостно забилося...
И к плетню она скорей:
— По тебе скучаю, милый,
Заждалась тебя, Андрей!

Мимо яблонь,
Мимо вишен
Ходят.
Все молчит вокруг.
Тишина ночная слышит
Двух сердец
Единый стук.

* * *

Всю ночь до самого утра
Рокочат гулко трактора.
Стрекочут жнейки.
Там и тут
Кипит артельный спорый труд.

С гумна на станцию
Колхоз
Зерно отменное повез —
Идет обоз по большаку.
Поют девчата на току.

Наташа со своим звеном
Всю ночь безустали молотит
Расстались девушки со сном,
Отрадно молодым в работе.

Мелькают руки и платки,
Мотор ревет, гудит сердито,
Летят пустые колоски,
Зерно, как дождь, течет сквозь сита.

Колхозный старый счетовод
У фонаря сидит, считает,
И, кроме цифр, он ничего
Вокруг себя не замечает.

К нему Наташа подошла:
— Скажи итог, обрадуй, старый!
— Наташа, ты рекорд взяла, —
Пшеницы золотой сняла
По тридцать центнеров с гектара.

— Девчата!
Слышите — рекорд!
В колхозе мы на первом месте! —
И каждый рад,
И каждый горд —
Какой большой добились чести!

Однако — рано ликовать:
Есть отстающие бригады.
Чтоб честь колхоза отстоять —
Помочь на молотье им надо.

Но, как на грех, — умолк движок.
И молотилка стала.
Собрались девушки в кружок,
Наташа им сказала:
— Сейчас не время отдыхать,
Цепами будем продолжать...

Обычай старый не забыт:
Снопы рядком устлали,
И шесть цепов,
Как сто копыт,
Над полем застучали.

Седой колхозный сторож Влас
Стоит с ружьем в сторонке.
— Смотрю и радуюсь на вас,
Красавицы-девчонки.

Тряхнуть позвольте стариной...
Взял цеп,
Пошел вперед.
И кажется — весь шар земной
Насквозь сейчас пробьет:

Ах, цеп, мой цеп,
Колотушечка.

Ударь, девушка,
Ударь, душечка!
Чтоб градом пот
Катил со щек.
Ударь сильней!
Еще! Еще!

Старик бы поработать рад,
Да обессилел скоро:
— Уж очень невелик заряд! —
Сгорел задор, как порох.

Устало руки опустил:
— Отстать-то неохота,
Да вот старею. Мало сил
Для этакой работы.

Однако, здесь не лишний я,
Храню поля, стараюсь.
За хлебом к Трумену, друзья,
Никак не собираюсь.

* * *

Солнце всходит.
Вдалеке
Пар клубится на реке.
Золотой покрыты пылью
Листья кленов и берез...
Бой за хлеб,
За изобилье
Нынче выиграл колхоз.
Все в поту
И все устали.
Но у всех — довольный вид.
— Нам спасибо скажет Сталин, —
Председатель говорит.

* * *

Возле маленькой избенки
Кадки полные стоят
С новым медом.
Пчелы звонко
В чистом воздухе гудят.

Принаряженный, довольный
Ходит старый пчеловод:

— Эх, по всем статьям привольно
Наш колхозник заживет.

Хлеб и мед,
Морковь, капусту
Заработал — получи
И готовь себе по вкусу,
По достоинству харчи...

...Вдалеке пылит трехтонка.
Ворота старик открыл.
Прямо к маленькой избенке
Клим Судагин подкатил.

Погрузили кадки к ряду.
Укрепили. Воз готов.
— Мне, Матвей Егорыч, надо
Вам поведать пару слов...

За дубовый стол уселись,
Клим взволнован — нет лица.
Говорит он:
— Для веселья
Может выпьете винца?

Вам привез, Матвей Егорыч...
Усмехнулся пчеловод:
— У меня в такую пору
Хмель на разум не идет.

Выпить я люблю, конечно,
Но без времени не пью.
И тебе, мил-человече,
Бросить пить совет даю.

О тебе — хула в народе,
Пожалей, дружок, себя.
Даже девки в хороводе
Отвернулись от тебя.

Отряхнись, пока не поздно,
Поскорей за ум возьмись,
Бейся, Клим, за честь колхоза,
За свою судьбу борись.

В жар ударило шофера.
Тихо речь ведет свою:
— Дорогой, Матвей Егорыч,
Две недели как не пью.

Я стахановской работой
Порешил исправить грех.
На селе добыюсь почета —
Что я? Хуже, что ли всех?

— Так давно бы. Это дельно —
Вывод правильный нашел.
Это — польза для артели,
Для здоровья хорошо.

Клим собрался уезжать,
Надо главное сказать,
Что ночей не спит. Наташу
Днем и ночью видит он...

— Передайте дочке вашей
От Судачина поклон...

V

Едут сваты девку сватать,
Шапки белит пух-снежок.
Над дорогой дровни
Розный
Расплескали говорок.

— Эй, гони коней, Никита,
До кленового крыльца! —
Звонко цокают копыта,
Вьется снежная пыльца.

А кругом белеют крыши,
Тянет к небу сизый дым.
Ветер алый бант колышет
Под дугою,
Над гнедым.

Тают тропки под порошей,
Стройный тополь — в седине.
Край родимый,
Край хороший
Тонет в зыбкой тишине...

* * *

— Эх, вы, сени, мои сени! —
Порасправив кушаки,
На скрипучие ступени
Поднялися мужики.

Постучали в дверку чинно.
С паром в комнату вошли.
Запах сена и овчины
В избу светлую внесли.

— Здравствуй, милая хозяйка,
Нас, незваных, принимай-ка.
А хозяин — старина,
Хлебом-солью привечай.
Студено.
Давай вина —
Душу, брат, отогревай!

Для беседы предстоящей
Выпьем русской — настоящей.
И под матицу уселись —
(Замечай хозяин сам)
По лампадке одолели,
Рукавами — по усам.

— Мы-то, собственно, конечно.
Завернули невзначай.
Как велит обычай здешний —
Разделить воскресный чай.

Ну-с, и, кстати, дело можно
Небольшое разрешить...

...Издалеку, осторожно
Стали сваты заходить.
Из-за леса,
Из-за гор,
Из-за рек,
Из-за озер
Начинали разговор.

Скажут слово — отдохнут.
Скажут два — вином запьют.
А потом, в горячем хмеле,
«Вдоль по Питерской» запели.
А потом сказали: «Стоп!»
И пошли атакой в лоб.

— Кончил дело — гуляй смело!
Свадьбам времечко пришло.

Про Андрея Казакова,
Может статья, вы слышали?

Парень бравый, чернобровый,
Ордена есть и медали.

День и ночь в полях трудился —
Силы парень не щадил.
На работе отличился —
Новый орден получил.

Только вот беда-кручина:
После славных ратных дел
По неведомой причине
Наш Андрюша похудел.

Очи карие — в истоме.
Взгляд — загадка — грустью бьет...
А разгадка в вашем доме,
В светлой горнице живет.

И зовут ее Наташа,
Нет ее в округе краше,
Свет зари с ней не сравнится.
Девка часто парню снится.

Скучно очень одному...
Оттого и потому,
Как в народе говорится,
Надо молодцу жениться.

А хозяин хитровато:
— Ну и сваты!
Вот так сваты!
Мне, конечно, слышать лестно
Речи сладкие от вас.
Но жених уже с невестой
Сговорились и без нас.

Сваты рубят:
— Это точно!
Это — не секрет для всех.
А чтоб жили дружно, прочно —
И посвататься не грех.

Сам жених и вся бригада
Знать желают ваш ответ.
Говорить по сути надо:
Грянем свадьбу или нет?

Им в ответ:
— Спешить не след.

Торопить — закона нет.
Просто дело пожениться,
А вот век прожить — вопрос.
Взвесить все, как говорится,
Надо думно и всерьез.

И давай считать да мерить,
Взвешивать и утрясать...
— Ты, Никита, будь уверен —
Мы умеем отвечать.

Слово за слово, по слову
С прибаутками пошли —
Через лес,
Через еловый,
Через реки
И озера,
Через синие просторы,
Через горы Жигули —
К соглашению пришли:

— Пусть влюбленные сойдутся
На одной прямой дороге.

...Едут сваты.
Кони рвутся.
Светит месяц тонкорогий.

Июнь — ноябрь 1947 г.

А. Благов.

НАШЕ 30-ЛЕТНЕ

Нигде не сыщется на свете
Страны прекраснее моей!
Люблю ее, как любят дети
Родную ласку матерей.

Каких тревог она не знала,
Когда гремел военный гром?
Каких высот не покоряла
Она стахановским трудом?

Светлы безоблачные дали,
И путь наш солнцем озарен:
Победа там, где с нами Сталин,
И счастье там, где с нами он.

Пусть где-то злобствуют банкиры
И сеют ненависть свою —
Друзья борьбы, свободы, мира
Слились в единую семью.

За океаном слышны речи
Продажных, жадных слуг войны,
А наши руки, наши плечи
Большим трудом напряжены.

Мы говорим и снова скажем:
Умерьте грозный лязг штыка —
Страна советская на страже,
Страна советская крепка!

Она вперед глядит спокойно,
И мы, строители ее,
Встречаем с гордостью достойной
Тридцатилетие свое!

ПРИВЕТ ТЕБЕ, НАША СТОЛИЦА

До самой далекой границы
Горячие льются слова:
Привет тебе, наша столица,
Любимая наша Москва!

Гордимся мы, город могучий,
Твоею высокой судьбой.
Давно ли свинцовые тучи
Грозою неслись над тобой.

В жестокие дни, в непогоду
Ты солнце победы зажег:
Ты нашу упрочил свободу,
Счастливую долю сберег.

Согретый любовью народной,
В сиянии звездных огней
Стоишь, как маяк путеводный,
Ты — сердце отчизны моей.

Мы видим в красе небывалой
Твоих пятилеток плоды:
Дворцов молодые кварталы,
Заводы, проспекты, сады.

И Кремль над рекой величавый
Стоит, поседелый в веках,
Овеянный сталинской славой,
Воспетый на всех языках.

Вождя и учителя слово
Мы слышим как слово страны:
К труду и к науке готовы,
Стремленьем единым сильны.

Москва — это знамя свободы,
Великое знамя побед.
Так будет на многие годы —
На сотни, на тысячи лет!

До самой далекой границы
Горячие льются слова:
Привет тебе, наша столица,
Любимая наша Москва!

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕСНЯ

Земля подружила с весной.
Одеты в кумач города.
Звучат над свободной страной
Могучие песни труда.

В них сила советской державы
И гордость народная в них,
Сиянье немеркнущей славы,
Величие дней боевых.

Заслушалась даль голубая
И неба лазурная высь.
На праздник торжественный Мая
Желанные гости сошлись.

Проходят широким парадом
Строителей мирных полки,
Шагают отважные рядом
Герои, друзья, земляки.

Давно ли сраженья кипели,
Скрывался в дыму горизонт?
В походной заветной шинели
Боец торопился на фронт?

Сегодня он — воин вчерашний —
Вернулся к родному труду:
На стройке, в заводе, на пашне
В почетном стоит он ряду.

Путиами великого плана
За нашим любимым вождем,
Вперед и вперед неустанно
Мы к новым победам идем.

И красное знамя — на страже,
И песня летит за моря:
Да здравствует родина наша —
Всемирной свободы заря!

МЫ СЛОВО ДЕРЖИМ

Богат землей Гавриловский Посад —
Раздольны пашни, широки равнины!
В окружных селах отдыхает взгляд
На красоте невежинской рябины.

День августа прозрачно и светло
Раскинулся над полем без границы.
Вот Городищи — знатное село
По урожаям сортовой пшеницы.

Такой пшеницы в наши времена
Пока еще в округе не найдется:
Обильная зерном своим, она,
Как новый сорт, «Ульяновкой» зовется.

Толкуют люди, что пора придет —
Пшеница небывалая такая
По всем колхозам нашим зацветет,
По всем полям от края и до края.

Шумят вокруг надежные хлеба.
Владеет труд землю урожайной.
На озимых в разгаре молотьба,
На яровых уже гудят комбайны.

Упорно бьется каждое звено
За первенство в соревновании пылком.
Сквозным потоком спелое зерно
В мешки тугие сыплет молотилка.

Артельный труд и радостен и спор.
Он славу поднимает на вершину:
Здесь молодежный искрится задор,
Старик-отец не уступает сыну.

Скрипят воза с рассвета до темна.
Тяжелый груз по силе коням сытым.
Хлеб — родине! — У всех мечта одна —
Наполнить склады первосортным житом.

Счастливой жизни мудрому творцу,
Кто край родной ведет к великой цели,
Мы обещали Сталину-отцу
Дать урожай невиданный доселе.

Мы слово держим: на полях родных
Мы каждый день свои победы множим.
В любом труде среди передовых
Идут отряды нашей молодежи.

Хлеб — родине. Что выше и славней
Такой почетной боевой задачи?
Пусть заблестит заря грядущих дней
Еще светлей, нарядней и богаче!

ОСЕННИМ УТРОМ

Вот и осень. По лицу природы
Разлилась знакомая краса:
Словно бархат, зеленеют всходы,
Нарядились золотом леса.

Там и здесь над гладью полевой
Поднялись тяжелые скирды.
Нынче осень щедрою рукою
Заплатила людям за труды,

И пшеницей, и ржаною новью
Под навесом ширится гумно.
На току отмеряно с любовью
Государству лучшее зерно.

С каждым шагом к славе и к почету
Шли бригады сел и деревень:
Сколько счастья — за свою работу
Получить обильный трудовень!

Все мне мило в стороне привольной:
И луга, и рощи над рекой...
По полям, веселый и довольный,
Прохожу я — житель городской.

Я иду. Заря встает навстречу.
По реке — туманы полотною.
Пашет трактор где-то недалече —
Слышу гул мотора за холмом.

Сердцу песня будущая снится,
Весь живу я думаю одной:
За труды и славу больше ситца
Дай колхозу, город мой родной!

А дорожка вьется, убегает
В шелестящий, ласковый уют:
Тихий лес прохладой обнимает,
Да грибы приветливо зовут.

Будет время — вьюга за стеною
Запирует в сумраке ночей.
Не однажды утро золотое
Вспомяну я в комнате моей.

МОЛОДЫЕ САДЫ ЗАЦВЕТУТ

Это будет, я верю и знаю—
Полной мерой окупится труд:
По колхозному нашему краю
Молодые сады зацветут.

Ты полями идешь к деревушке,
Май веселым звенит ветерком.
Вишни, яблони, словно подружки,
Машут издали белым платком.

Шлет им солнце улыбку родную,
В золотой одеваает наряд.
Кто красу не полюбит такую?
Чей она не порадует взгляд?

Побеждающий труд пятилетки
Молодые поднимет сады:
Пышной кроной раскинутся ветки,
Наливные созреют плоды.

Будут дни урожаяв богатых,
И о славе колхозных садов
Много сложится песен крылатых,
Много скажется ласковых слов.

Д.м. Семеновский.

МЕЧТА

От простора широкого,
От полей да лесов
Я пришла, молодешенька,
В шум и звон корпусов.
Стала славной работницей,
Тку полотна, холсты,
А по ним распускаются,
Расцветают цветы.

Людно, весело в фабрике.
Смотрит солнце в окно,
И белеет черемухой
На станках полотно.
Ой, работа любимая,
Век мой скрасила ты,
Как зеленое полюшко
Красят летом цветы.

Рано утром с подругами
Я на смену бегу
И мечту задушевную
Я в груди берегу —
Дать деревне и городу
Ткань такой красоты,
Чтобы все нарядились,
Словно в поле цветы.

ЗДОРОВЬЕ

Надо солнце любить,
С вольным ветром дружить,
Обниматься с волной бирюзовой.
Слава крепким рукам

И румяным щекам,
Слава юности сильной, здоровой!

Солнце, воздух, вода
В тесной дружбе всегда
С молодой красотой и отвагой.
Надо быть силачом,
Резать волны плечом,
Спорить с зыбкой студеную влагой.

Бегай, прыгай, плыви,
Мяч летящий лови,
Закаляйся и духом и телом.
Будь умелым гребцом,
Будь атлетом-борцом,
Будь гимнастом искусным и смелым.

Надо солнце любить,
С вольным ветром дружить,
С бирюзовой волной обниматься,
Чтоб всегда и везде,
И в борьбе и в труде
Новых славных побед добиваться, —
Чтоб за родину-мать
В пору грозную встать
Против бури итти — не сгибаться.

ПОД ЮЖНЫМ СОЛНЦЕМ

I

Осеннюю изморозь, вестницу выюг,
Мы сзади оставили где-то,
А поезд несет нас все дальше на юг,
Туда, где и осенью — лето.

Бегут километры. Уже далеко.
Родная сторонка лесная.
И вправо и влево легла широко
Степная равнина без края.

Часами ты жадно глядишь из окна
В степные просторы. Не их ли
Чудовищным плугом вспахала война,
Изрыли железные вихри?

Но где же глубокие раны земли —
Воронки и рвы? Неужели,
Как раны на теле, они заросли,
Бесследно исчезнуть успели?

Где двигался танк и гремела стрельба,
Там, на поле битвы кровавой,
Прошли трактора и созрели хлеба
И травы пушатся отавой.

И вдруг — перед взором руины стены,
Оконных пролетов глазницы.
Так вот они, грозные знаки войны,
Трагической были страницы.

А рядом уж строится новый вокзал —
Большое красивое зданье,
И там, где огонь на обломках плясал,
Господствует дух созиданья.

Вагон потеплевший прокурен, обжит.
Друзьями мы стали соседям.
Не первые сутки наш поезд бежит
Мы где-то за Харьковом едем.

Подсолнухи, мельницы, будки, пруды
Пронесются в окнах вагона.
У хаток беленых пестреют сады,
Стоят тополей веретена.

Глаза веселят урожая дары:
У рельс золотыми холмами
Пшеница лежит; кукурузы бугры
Насыпаны ровень с домами.

Анисом, антоновкой поезд пропах,
Томатами алыми пышет.
Затеряны мы в черноземных степях,
Где все изобилием дышит.

А небо все чаще цветет синевой
Над ширью безлесной равнины,
И слух наш обласкан певучей молвой,
Приятной молвой Украины.

II

В то утро неласково встретил нас Крым:
Снежком да морозом колючим.

Трубя, наш автобус бежит по седым
И звонким от холода кручам.

Извилисты, узки дороги в горах,
Да ловки шоферы, не робки.
Навстречу, будя в нас тревогу и страх,
Несутся трехтонок коробки.

Как солью, покрыты вершин крутизны.
Сковал виноградники иней.
Колхозники возле дороги в чаны
Кладут виноград черносиний.

Но что там туманно синееет вдали
За пестрой грядой перевала?
Иль это с небес на равнину земли
Тяжелая туча упала?

— Товарищи, море! — сказал наш сосед.
Так вот оно, море какое!
И вдруг торжествующий солнечный свет
Зажег все пространство морское.

То вправо, то влево дорога ведет,
А дальние горы, как рама,
И море в той раме стеною встает
То справа, то слева, то прямо.

И вот уж под нами синееет оно,
Раскрыв неохватные дали.
О, море! О, синее диво! Давно
Мы встречи с тобой ожидали.

Давно мы стремились к утесам твоим,
В объятия влаги прохладной.
Прими же пришельцев, лазоревый Крым,
Полуденный сад виноградный!

Раскрой перед нами богатства свои,
Соленую пеною брызги
И надолго силы гостей обнови
Для творческой радостной жизни!

III

Ползут по вершине горы облака,
А ниже, по горному склону,

Идут кипарисы, дома городка
К морскому спускаются лону.

И в этих местах прокатилась война
Лавиной огня и металла.
Как много домов разгромила она,
Какие дворцы разметала!

Но смолкли, не рвут на куски тишину
Слепящие молнии фронта,
И мирно ребята играют в войну
Под ладную песню ремонта.

Взбираются козы на горный откос .
Огнями стрельбы опаленный,
И мальчик-пастух под ногами у коз
Находит пустые патроны.

Журчат голоса невидимок-цикад.
Звенит, как бубенчик, синица.
Кистями на лозах висит виноград
И грузно в корзины ложится.

И лакомки-осы летят на его
Тяжелое липкое золото.
Орехами, грушами, спелой айвой
Осенняя Ялта богата.

Уж крымское солнышко плечи твои
Окрасило в цвет шоколада,
И огненным хмелем играет в крови
Пурпуровый сок винограда.

Идем мы навстречу зеленым волнам,
А море поет и сверкает —
И молодость вновь возвращается к нам
И счастьем сердца наполняет.

IV

Дорога ведет в поднебесную высь,
Чертя повороты и петли.
По ней мы в заоблачный край поднялись—
К зубчатым утесам Ай-Петри.

Какой распахнулся пред нами простор!—
Вон тяжкая туша медвежья —
Гора Аю-Даг. Тут Гурзуф, там Мисхор
Раскинулись вдоль побережья.

Рассыпался сахаром город внизу,
Откуда пришли мы с тобою,
А море, качая свою бирюзу,
Вскипает каемкой прибоя.

Как ясно и четко нам видны с горы
Изгибы заливов и мысов,
Осенней листвы золотые костры
И темный убор кипарисов!

Глядим мы с вершины на эту красу,
И каждый в душе повторяет:
— О, пусть я с собою ее унесу,
Пусть вечно она мне сияет!

Орлиным гнездом на вершину горы
Закинута чья-то могила.
Цветов и венков погребальных дары
Любовь на нее положила.

И кто-то усердной рукой нанизал
На строгом простом обелиске
Строку на строку — имена партизан,
Зарытых под холмиком низким.

И мы перед холмиком этим стоим
В задумчивой тихой печали.
Они воевали за солнечный Крым,
За родину жизнь отдавали.

За море и горы их кровь пролита,
За свет, за тепло и обилье,
За то, чтоб цветущие эти места
Вовеки советскими были

Их подвиг вернул нам прохладу волны,
Дворцы, кипарисы, платаны.
И вот мы счастливы, мы жизни полны,
Мы дышим, они — бездыханны.

Товарищи, пройден ваш путь боевой,
И жизни конец и походу.
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу.

Но нет, вы живете. Вы — в наших сердцах.
Вы — в солнечном свете и ветре,
Вы — в тучке сквозной, что гостит на зубцах
Гранитных утесов Ай-Петри.

Все памятью вашей овеяно тут:
Тропинки над глубио ущелий,
Пещеры, где вы находили приют,
Дубравы, где пули свистели.

О, холмики братских солдатских могил!
Их много везде: над Невою,
В Поволжье — повсюду, где фронт проходил,
Змеясь бороздой огневою.

Их много у тихих дорог полевых,
И в городе, в грохоте улиц.
И нити незримые к душам живых
От этих могил протянулись.

V

Давно мы покинули юг голубой,
Но где бы теперь мы ни жили,
Всё будет нам сниться высокий приборь,
Весь в облаке радужной пыли.

Мы видим утесы Ай-Петри — венец,
Повязанный легкою тучей,
И горного леса осенний багрец,
И холмик могилы над кручей.

Как милое имя, мы шепчем: Мисхор.
Пред нами — равнина морская,
И волн многозвонных торжественный хор
Нет нам, поет, не смолкая.

М. Кочнев.

ГОРДОСТАЙКИН СЛЕД

Спальные сараи при фабрике, бывало, у нас клоповнями звались. Ан и в клоповнях не всем доставало места. Хоть бы на полати зимой — и то бы ловко. Особливо кто из пригородков, да волостей ходил домой спать. Фабрика, она не считается с погодой, вьюжливо там или нет в поле. Потемну в пять утра засвистит в железную свистульку, будь, приятель, к своему часу у станка.

В Докучаеве-селе жили почти сплошь фабричники. Ткацкая купца Садофья была по тому времени немалым заведением. Работал у Садофья Патрикей Лукошкин. Сам-то в ткацкой, а мальчишечка его, Митряшка черноглазый, шпульки мотал на машинке, ставил их на боронки. Какой он еще работник — десятый год недавно сошелся. Ему бы с горы кататься в ледяном лукошке.

Затемно встанет Патрикей, Митряшка никак глаза не продерет, словно мазаны патокой. Тычется носом в плечо отцу, пока тот облачает его в рваный зипунишко. Повезет отец маленького шпульника до фабрики на салазках. А не близко — верст без мала десять.

Подошла масленица широка — раскрывай ворота. Богатым, тем же купцам да фабрикантам, масленица-объедуха, деньгам прибируха, весела, привольна и раздольна. А ткачам, сам посуди, на что масленицу справлять? Другому и с себя-то нечего заложить. У купца на столе блины по аршину длины, у ткача на столе зимой и летом все одним цветом: капуста, горькая редька да пареная репа.

На всеедной-то неделе разненастилась погода. Исстари примета: какова пестрая, такова и маслена, тут и гадать нечего.

В малу масленку ведет Патрикей Митряшку по целику, голенищами снег черпает. В поле метет метелица, так седыми гривами и стелется — глаза уколи, темка.

— Ну, Митряшка, всеедная неделя озорна, а маслена и совсем лиха придет, — говорит Патрикей. У самого на усах звенят, как стекляшки, сосульки.

Следу нет. Сбился с дороги Патрикей. Кругом на тракту

к Докучаеву-селу овраги. Плутал, плутал, пока рассвело — видит от фабрики-то влево взял, да и далеконько ухлестал. А работа не ждет. Пришел, а уж там начали.

На маслену хозяин деньги выдает. Патрикею и Митряшке за полмесяца две гривны на обоих. Патрикей считал: не меньше, как целковый ему под расчет.

— Что это больно мало? — Патрикей-то спросил.

— А то это: оба вы три раза опоздали, долго больно спите, господа Лукошкины.

Садофий — хозяин, слова не скажет без злого умысла.

— Да ведь хвиль взялась эвон какая, вторую неделю метет и метет, света белого не видно. Не близко нам. Хоть мальчишку-то бы в спальный сарай, — просит Патрикей.

— Коли тебе далеко, я найду ближних. Вон вашего брата у ворот каждое утро табуны гуляют.

Что хозяину тужить? Взвеселил он ради масленой Патрикея: еще раз опоздай и ступай, куда знаешь.

Везет Патрикей Митряшку домой. Устал, хрипит, как старый кузнечный мех, с присвистом, все захребетника Садофья пушит. И погоду-то ругает. Совсем замаяла бездорожица. Митряшка в зипунишке окоченел, зубами стучит. С кислых фабричных щей не выиграет кровь.

Дома Митряшка — шмыг на печку, за трубу под дерюжку. На печке отошел. Под боком у Митряшки мурлычет его верный приятель, серый полосатый кот. Хорошо дома-то. Просит Митряшка с печки:

— Тятка, а тятка, потешил бы ты меня ради масленицы хоть один раз в жизни: купил бы мне расписную «кобылку» с горы кататься. Вон Евлашке привезли с базара, даром что он и дорогу-то не знает до фабрики.

Отец подпер кулаками бороду, невеселый сидит за столом.

— У Евлашки отец в лавке аршином играет, а я в мастерской челноком. На хозяйском челноке не озолотишься, сынок. Рад бы потешить тебя, да, сам видишь, не на што.

Высыпали вечером на гору докучаевские мальчишки маслену встречать. У Евлашки — нос кверху. У одного у него расписная кобылка. А Митряшке отец корзинку подморозил, сенца в нее положил.

Гора за Докучаевым высокая, крутая. Нацелили ребята на скат корзинки, корыта и кобылки. Кричит Митряшка:

— Давайте гадать, у кого лен дольше всех уродится?

Это гаданье местами водилось на масленой. Кто дальше прокатится, у того лен будет выше. Как бревешки, один за другим покатались с горы. Митряшка первый, за ним вся гурьба неугомонная. Все тоже больше мальчишки фабричники. Толстощекий Евлашка не скатился и до половины горы, застрял в сугробе, как хомяк в мякине. Митряшка себе на диво катится и катится, будто бабушкин колобок с окна. Уж

и не видно его с крутой горы. Словно ветром гонит его по белому ровному полю к Великше-реке, а до нее-то не меньше как полверсты.

Вдруг видит Митряшка: на кочку горностайка вскочила, вспыхнули у нее глаза, как два уголька в горнушке, и кричит она:

— Не катись, остановись, не замни мою стежку, может тебе пригодится моя дорожка!

Тут только остановился Митряшка. Не тронул горностайку. Он помнил, как бабка Анисья рассказывала вечерами за прялкой хорошие историйки про этого зверька-заступника. Воротился Митряшка на гору такой веселый, словно полон карман леденцов ему насыпали под горой.

— А у нас-то уродится лен долог и коренист, и головист, ага, что!

И забыл чудачок, что для них полосы давно нет в поле.

Побежали мальчишки на большак. Купцы едут домой с базара. Стал пострелята у дороги, давай гостинцы выманивать. Так на маслену уж водилось в нашем краю. Как кто едет мимо, Митряшка запоеет и мальчишки тоже:

Иван, Матвей,
Подавай лаптей,
Рыбки кусочек
С коровий носочек.
Леденец с огурец,
Бараночку с колесо,
Пирожок с подожок!

Купцы-то во хмелю, гонят, как ошалелые в кованных возках. Выпросишь ли у них? Вот едет в розвальнях бобыль безрукий, старый солдат, Софрон, челночник. Он по зимам челноки точил на продажу. Запели ребятишки:

Месяц, ты, месяц,
Выгляни в окошко,
Дяде Софрону
Освети дорожку.
У дяди Софрона
Руки золотые,
У дяди Софрона
Кони молодые.
Он карманом потрясёт,
Всем гостинца привезет.

— Ах, вы, угольцы, ах вы, тужилки по честной масленице, ну, так и быть, за доброе слово, за умную песню нате, ловите, промеж собой делите!

Кинул ребятам связку баранок. И Митряшке баранка досталась.

Прибежал домой Митряшка веселешенек:

— Тятка, тятка, у нас уродится самый дологий лен. Я всех дальше с горы съехал.

Почесал отец в черной бороде, покачал головой:

— Эх, сынок, наш-то загон давно купил Сазан, была когда-то у нашего дедушки соха, да кобылка плоха, но уж так давно это было, что даже я сам не помню.

Не подумай, братец, что ткачи гуляли всю маслену неделю. Только вечера посвободнее. Один денек всего давали на отгул-то.

В базарный день пробегал Митряшка с ребятами по обжорному ряду, в vareжке-то всего-навсего семитка. Много ли на нее купишь? Кое-как наскребла, намела мать на овсяные блины, да стакан патоки взяли в долг. Вот и вся маслена у ткача. А там опять заговляйся весь год редькой да хреном, да кислой капустой. По такой масленой стоит ли много тужить?

Однако в прощальное воскресенье потемну сбегал Митряшка с ребятами-фабричниками потужить по честной масленой. Смотрел, как под горой, за рекой жгли теплыни, как большущую, выше мужика, соломенную куклу в сарафане бросили в поля, песни пели, вокруг костра водили хоровод. Это ли не радость ребятам, другой-то много ли!

В ночь на чистый понедельник разыгралась в поле планида, земля и небо затонули в снегу. Снег так и вьет с земли, так и крутит. Инда вьюшка в трубе брякает. Но какова ни будь погода, а, как положено, в четыре часа проснулась бедняцкая слободка. Замигали огоньки в низеньких окнах. Вышел на крыльцо Патрикей, глянул, ночь черным-черна. Повздыхал:

— Ох, не доедешь нынче до фабрики. Замаяла ты нас, злая зима. Парнишку ты мне совсем заморозишь.

Решил Патрикей, хоть на недельку, пока дороги хорошей нет, попроситься на квартиру к знакомому сапожнику Лаврентию. На Потекуше он жил. Хоть и невелика хоромина у сапожника, да, чай, не откажет. Собрал Патрикей пожитки, сундучок — на салазки в передок, веревкой привязал, сзади посадил Митряшку. Повез. Ветер навстречу так и сечет, снег — жесткий, словно железные опилки. За прогон вышел — вешек не видно. Полез целиком. Снег — выше колен. Торопится не опоздать бы на фабрику. На полверсте из сил выбился. А итти надо.

Митряшка в заплапанном зипунишке съезжился позади сундучка: то ли дремлет, то ли нет. Расписная кобылка из ума у него нейдет. Ветер под зипун залетает, за воротник сыплется снег. Понимает Митряшка — отцу-то больно тяжело. Слез с санок:

— Тятка, я пешком пойду.

— Ладно, сяди уж. Пешком-то приеду я с тобой к морковкиной заговени.

Опять сел на салазки Митряшка. До рассвету-то еще да-

лече. Сел да и задремал на грех паренек, когда санки к кустам подъехали, в самых-то глухих местах. В оврагах не дорога, а наказание: то с горы, то в гору.

На повороте наклонились санки, Митряшка-то сонный и свалился в глубокий снег, весь с головой ушел.

Долго ли дремал, не помнит Митряшка. Опамятовался, встал, понять ничего не может. Отца не видно. Надо бы оглядеться, а он с испугу метнулся да не в ту сторону, заплутал по кустам, едва ноги из глубокого снега вытаскивает малый. Кругом кусты обступили. Ветер с ног валит, относит крики Митряшкины совсем в другую сторону. Отцу-то и неслышно, везет санки, торопится.

В потемках-то Митряшка шел, шел да и скатился в овраг. Из оврага кое-как выполз. Кричать боится — волков бы на себя не накликать. Прикинул, в какой стороне фабрика, и пошел туда.

Уж кустарник проехал отец, оглянулся, а на санках-то один сундучок. Так сердце и упало.

— Митряшка, Митряшка! — кричит отец. А сынок и не отзывается. Где потерял Митряшку — и не помнит Патрикей. Не замерз бы мальчишка. Отец-то да обратно. А без того устал до крайности. Бежит с саночками по кустам старым следом. Нет паренька нигде. Все кусты, овраги пробежал, дошел до самой околицы. Так и подкосились у Патрикея ноги. С горя да с усталости сел на сундучок, закурил. Не придумает, что и делать ему теперь.

Той порой Митряшка увидел за кустом два знакомых глаза. Будто две спелых малиновых ягоды лежат на снегу. Он да к тем огонькам. Это сама горностайка, белая шубка.

— Здравствуй, Митряшка, — говорит она ему, — ведь ты не туда идешь, куда тебе надо. В той стороне тебя лихо стережет. Там голодный волк с волчихой вышли на охоту. Иди по моему следу.

И горностайка повела за собой Митряшку. Лапками стежку шьет, стежка серебром сияет, обернется, как фонариками, глазами освещает путь Митряшке. Чего еще лучше-то? Горностайкин-то след и пороша не берет. Скоренько вывела она Митряшку на высокую гору в Старый бор. Отсюда видны все ее владения. Говорит пареньку горностайка, что она, мол, тоже не бездельница, а добрая рукодельница, может прясть, может ткать, только не любит торговать. Что спрядет, что соткет, добрым людям в прок пойдет.

— Слышала я, что ты хороший мастер у себя в шпульной. Не сможешь ли мне? Я ради твоего умельства сослужу тебе службу немалую. Старая бездельница метель вчера здесь шла, всю мою пряжу спутала, помоги мне ее распутать да навить на шпульки.

Удивился Митряшка: не сугроб лежит, а мотки пряжи. И

верно — все-то перепутаны, кончика не найдешь. Без уменья-то не знаешь, за какую ниточку взяться. Тут луна выглянула. Совсем погода стихла. Митряшка вынул ножичек-складничек, быстро выстрогал из крушины цевки и, невелик колоброд, смастерил машинку шпульную. Нашел кончик нитки, стал распутывать пряжу на тальки, как десять талек, так и куфта готова. Стал навивать на шпульки. Так-то весело шпульки кружатся. Не успеет надеть шпульку, а она готова.

Все возможно, что горностайка и устроила провер молодому мастеру. Дескать, дело-то свое любит ли, не таит ли свое мастерство от других. Как Митряшка дело наладил, горностайка к нему с благодарностью:

— Спасибо, я теперь и сама доделаю. Хоть зипун на тебе худой, зато ты мастер большой.

Митряшка беспокоится: не поспеет он теперь к своему часу на фабрику. А вдруг за ворота вытурят?

Горностайка словно глянула ему в душу.

— Эй, помощники-рукодельники, полно вам спать, пора зорю встречать!

За снегами чут-чуть забрезжила полоска алая. Прилетел дятел-набойщик в оранжевой жилетке. Сел на дубок, заколотил в колотушку. Вылез из-под сосны у ручья старый плотник бобер, стал точить топор. Синица-браковщица, хвост половничком, зачирикала в кустах. Все помощники явились. Говорит горностайка:

— За твое доброе мастерство, Митряшка, вот тебе две цевочки с моей пряжей. Когда придет трудная минута, вставь ее в челнок, челнок сам летать станет, а мотальной колесо само пойдет. Знаю, ты хочешь кататься на расписной кобылке. За твое доброе мастерство Бобер Бобрович даст тебе полозок-поскользок, поедешь ты на нем до своей фабрики.

Не успела горностайка сказать — полозок-поскользок сам подъехал к Митряшке. Да полозок-то какой, лучше расписной кобылки, есть и сиденьице, есть и куда ноги поставить.

— А ты, дятел, пока заря не расцвела, окупись в снег, засвети свою жилетку и лети над моим следом, коротким путем, все с горы, прямо к фабрике. Счастливым путем, Митряшка!

Запорхал дятел над кусточками под сосенками, под елочками. Жилетка атласная светится на нем золотым фонариком. Горностайки след на снегу лежит до фабрики.

Катит, летит Митряшка на полозке, аж дыханье захватывает, сердечко так и прыгает в груди от удовольствия. Мимо пней, мимо кусточков, через коряжины, через залежины перелетает полозок по воздуху, а следа горностайки не теряет. Дятел путь указывает.

Что за полоз-самокат! Попал в беду парень, а беда-то, гляди, счастьем легла за пазуху. На таком-то полозу Садо-

фий купец никогда не ездил, да и не приведется ему. Весело Митряшке, веселей, чем на масленице. У волка под самым носом проскочил полозок. Гам! — щелкнул волк зубами, а уж Митряшка за полверсты. Лисице-куме по пушистому хвосту прокатил, зайца перегнал, что взапуски с ним пустился.

За полозком облачком стелется белая метелица, веселая, миткалевая. На снегу море розовых искорок. Купецкую тройку позади оставил Митряшка, из-под полоза брызнул снег в глаза купцам, посыпался за енотовы воротники. У молодницы под коромыслом словно ветер прошумел полозок, задел Митряшка шапкой за ведро, закачалось оно.

— Ах, ты, катучий колобок, — вскрикнула молодница, а уж Митряшка за околицей — на ополице.

Мимо деревенских фабрик, под низкими окнами в пригородке прокатил Митряшка, в оконца озорно стукнул палочкой, прокричал:

— У купца-то дочь, что ни прясть,
ни ткать!
Только по воду ходить, с горы
ведра катать.

Девушки ткачихи глянули в окна, а уж полозок-поскользок далеко, на горе.

Катит Митряшка и песенку распевает, ту самую, что в веселый час отец певал на праздниках:

— У батюшки, у матушки
Хороши больно ребятушки:
Не лежат на печи,
Все фабричники-ткачи!
Как на фабрику пойдут
Звонко песню запоют
Про калинушку,
Про малинушку,
Про московски калачи.
Что за парни, за ткачи!
А как с фабрики пойдут —
Не гуторят, не поют
Про калинушку,
Про малинушку.
Ломит спину, ломит грудь,
Так и хочется уснуть.
У батюшки, у матушки
Хороши больно ребятушки!

У самых у железных ворот остановился полозок. Минута в минуту поспел Митряшка в мотальную. Ждут его и машинка, и шпульки, и порожняя боронка. Заглянул в ткацкую, где отца пара стояла. Отца нет еще. Где он? Опять опоздал — теперь от хозяина не открестишься. Чего доброго, выгонит отца с фабрики, а все через кого? Через Митряшку: свалился с салазок.

Обмер Митряшка, как увидел, что Садофий ведет к отцовской паре незнакомого ткача.

— Заступай, пускай станки. Больно у лентяя Патрикеев

масленица широка. Теперь будет знать. Походит без шапки по конторам, покланяется.

Ушел хозяин. Глядит Митряшка издалека — не тут-то было: как ни старается новый-то работник, но станки отцовы пустить не может. Позвали мастера, а мастер-то не может. Другого ткача от ворот привел Садофий, а у этого еще хуже. Что за притча такая? Садофий и мастер не поймут.

— Какую-нибудь гаечку унес с собой Патрикей, — решил Садофий.

Как ушли от станков, Митряшка шмыгнул к ним, вставил шпульку дареную, и начал станок сам работать, сам челнок летать. Митряшка к своей машине. И колесо-то у него само вертится. Сама пряжа ровнехонько наматывается на шпульки. За отцовой парой он зорко приглядывает, как початок сойдет, он подбежит и шпульку сменит, а сам опять к своей мотальной машине. И там и тут дело-то идет, да, гляди-ка, получше, чем у других. У отца на миткале ни подплетины, ни проточины, у Митряшки на нитке ни узелка, ни сукрутинки, ряды ровные, шпульки белые, как яички. Патрикей словно купанный, бежит к воротам прямо с санками и сундучком. Из конторы навстречу ему Садофий в волчьем тулупе, в шапке-ермолке, как у благочинного.

— Эй, ты, пьяница разгульная, постой, — кричит Садофий, — ты чего станки поломал?

— Я не ломал.

— Как не ломал? Пойдем, я тебя носом ткну.

Пошли. У Садофия после обжорно-то купеческой масленицы еще хмельной мутью свет застилается. Встал он, как баран около ворот, и не поймет ничего: оба станка Патрикеевы ткут.

Прогирает Садофий осоловелые глаза:

— Бознат, что дееется! Давеча стояли, мастера не слушались, сейчас ткут. С чего бы это им вздумалось?

— А я им наказывал, когда уходил, дорога-то плохая, так вы, мол, в случае чего не ждите меня, сами тките, — Патрикей поясняет.

— Диковина! — разинул хозяин рот.

— Какая ж диковина? У нас, у ткачей, такой обычай, коли время есть, можно и за станком товарища приглянуть.

— Ну ладно, тки, а вечером зайди в контору, там я еще погляжу, — буркнул Садофий себе в воротник и ушел.

Митряшка подбегает к отцу.

— Тятка, я раньше твою пришел. Тятка, не тужи, это я твои станки пустил. Тятка, теперь и нам полегче станет. Ужо домой поедем, я тебе все скажу. Пока молчи, никому не рассказывай.

И отбежал опять веселый к своей мотальной.

В лесу той порой падал снежок. Уж потерялся под поро-

шей горностайки след. Усердный стукальщик — дятел стучал по основному дуплу своей громкой колотушкой, как набойщик по верстаку. Горностайка брала в лапку смолы ягодку, натирала смолой полозок-поскользок, чтобы подать его вечером к воротам фабрики, когда Митряшка с отцом выйдут со смены.

КАМЧАТАЯ СКАТЕРТЬ

Глубока-широка Волга-матушка. Стар и славен город Ярославль. Несчетны цветы весной на лугах заволжских.

Подстать привольницу-раздольицу вешнему скатерти камчатые ярославские с цветами лазоревыми, с узорами невиденными. Не част-крупен дождик поливал их, не солнце красное согревало, не сыра земля те цветы, узоры раскрасила добрым людям на радость, на любованье большим городам по всему белому свету.

Политы были те цветы лазоревы, узоры хитроумные следами заглавного ткача-переборщика. Взрастили-то их, возлежали неустанные руки умелые, в мозолях да в трещинах. Вымеряны, выверены точным глазом. Хоть и бедная голова, но вдумчивая разузорила те салфетки, скатерти.

Все бы хорошо, одно, слышь ты, плохо, накрывали теми скатертями чужие столы боярские, дворянские, а то и царские. Пировали пиры за теми зваными, бранными столами, мед рекою лился, да все мимо нашего рта. Не только чарочкой угостить, добрым-то словом мастера помянуть забыли. Им то что!

Старые люди знавали: ой, как солоно было за переборным станом ткачу-переборщику. Камчатное белье ткать тяжелее, чем в гору камни таскать. Скатерть да салфетка любят веселую, с улыбочкой расцветку. Расцветка-то на ткани не пером, не кистью писалась — все той же уточной ниточкой набиралась, ниточка к ниточке, и вдоль, и поперек, и накрест, и в обход.

Переборный стан во сто раз похитрее подножечного. Скатерть соткать, особливо, как бывало, к царскому двору, это не то, что кусок тика или чешуйки. За переборный стан из сотни ткачей может один погодиться, да и то не всякий. На переборном-то на один волос сфальшивил заглавный ткач, выкрикнул не тот номерок, переборщик дернул не за ту ниточку, вот те и дыра на скатерти. В таком разе зачинай узор сызнава.

А встарину-то как было: дыра на новине — прут на спине. Хуже того бывало: через твое доброе старанье родного края навек лишишься. Не приглянулся мастер хозяину, не го-

разд в своем деле, сначала по-домашнему накажут, потом упекут на Камчатку.

Да, братец мой, хороши, цветисты были ярославские скатерти, мягко, бело бельё камчатное, сколько милостей нахватал хозяин мануфактуры от царицы Катерины. Но однажды так угодил ей скатертью, что упала царица в обморок, а все бесценные труды ткачей по воле, по прихоти прахом пустила, по ветру развеяла.

В те поры ровно ураган по всем селам, городам прошумел. С понизовья вольного, с далекого Урала — вольный ветер повеял. Беглых объявилось много, как в лесу опять после теплого дождя. Да и то сказать: не от добра добра ищут.

Раз из спального сарая утекли пятеро ткачей Ярославской мануфактуры. Ах, ты грех какой! Деньги за всех содержателем плачены! Все пятеро — приписные, к мануфактуре привязаны по гроб.

Содержатель наведывался в сыскное заведенье, мол, нет ли у вас беглых каких.

— Как не быть? Их каждый день приводят. Вчера пятерых захватили. В кузильке, глянь, не твои ли?..

Пошли в кутузку. Кутузка в подвале каменном. Оконце под самым потолком, как в скворешне, да вдобавок решетчатое, за железом. А там полеживают пятеро молодцов на полу. Один — детинушка-богатырь, по всей стати ему на стругах плавать. Заводит он с тоски-кручины:

Хороши наши ребята,
Только славушка худа.

Остальные все в раз подхватывают:

Это правда, это правда,
Это правдица была.

Не ворами нас зовут,
Все разбойниками.

Это правда, это правда,
Это правдица была.

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина помощнички.

Это правда, это правда,
Это правдица была.

Вошел хозяин с караульным в кутузку:

— Что еще за скоморошки тут?

Один дудку из сапога вытащил. Пошла весельба, как на масленице. И караульный им нипочем. Запевала Балабилка Кудрявич сметил, тут же песню повернул на другой лад.

У дядюшки Петра
Мы украли осетра.

А друзья еще лучше:

Это правда, это правда,
Это правдица была.

Из-за Волги кума
В решете приплыла.

Это правда, это правда,
Это правдица была.

Тоже со сметкой парень—сразу все и свел на пересмешку.

— Не твой? — спрашивает караульный.

— Может и мой, всех-то разве упомнишь? — ворчит хозяин, попрекает молодцов; — небылицы плесть горазды, за переборный бы стан вас, послушал бы, как запоете.

Тут Балабилка Кудрявич вскочил:

— Сиживали и за переборным и за подножечным Надо—самому комару камзол парчевый соткем, блохе, императрице кафтанной, скатерть сладим. Песня делу не помеха!

Надоело, наприскучило мотаться парням. Люди рабочие. У рабочего человека от безделья душа вянет, сохнет, как цветок по осени. А им где не жить — так служить.

Вышли. Тряхнул хозяин золотым кисетом в сыскной коллегии, ну и все шито, крыто. Чужих людей признал за своих, прибрал к рукам, заладил на свою мануфактуру. Не ошибся, плут.

Балабилка-весельчак сразу сел за переборный стан. Ткет, песней сердце тешит. Прямо золотые руки, на какой узор ни глянет, снимет в точности, капля в каплю. Такие стал салфетки — скатерти ткать, что и на царский стол накинуть не зазорно.

Молодцы послушливые за помощников, за переборщиков...

Вот снова прискакал в Ярославль царский гонец. Белого коня привязал у крыльца к резному столбу, малаш прихватил, а сам в контору к Затрапезному — хозяину большой ярославской мануфактуры. Приказывает царский гонец хозяину: мол, к такому-то сроку соткать наилучшую скатерть на царский стол. Таково повеление царицы. Большой праздник в град-столице затеян, на пиrowанье вельможи пожалуют и заморские гости. Нужна скатерть в ширину-то пять аршин, а в длину — двадцать пять.

— Ладно, — говорит хозяин, гильдейский фундатор, — для их императорского величества порадею. За указец ее благодетельный отблагодарю от всей души нашей и верного сердца. На уточины из мастеровых людей жилы выдеру, а уж сотку и цветисто и добротню.

Гонец хлестнул плетью с золотою кисточкой по сафьяновым сапогам, шляпу с пером поправил, в седельце черкасское сел вдарил шпорами и погнал столбовою дорогой.

Вдохнул да охнул Затрапезный. Поддевку распахнул. От

царского-то заказа его в жар бросило. Заказ такой хоть и невнове, и дотоль не мало на царский стол поставлял он всякой красоты, а на этот раз что-то робость охватила. Угодишь ли? Слышал он от надежных людей, что после того, как кабальные люди вышли из покорности, да к новому царю опальному перекинулись, с той поры потеряла царица всякий покой. Уж и своих-то домочадцев приبلудных и то кой-кого расшугала: кого в Буй, кого в Калуй, а третьего за Можай-назад не приезжай.

Вошел хозяин в рисовальню, из ткацкой светлицы лучших ткачей-переборщиков покликнул, наказывает:

— Царскому столу заказ сполняю. Эта скатерть дороже всей моей жизни. Ты, Логин Арясов, бобыльский сын, срисуй цветы, узоры, чтобы царица, как глянула, духом бы воспрянула, а как на стол скатерть послала — сама бы цветком расцвела. Ты, Балабилка с помощниками, по узору сотки такую скатерть, чтобы нам с тобой царица прислала по золотой табакерке. Ни шелка заморского, ни пряжи золотой не пожалею.

Тут-то развязал он алую шелковую тесемку, бишь ты брат, развернул царский указец, что был в трубочку свернут, да напомнил:

— Ложась, вставая, в сердце, как отче наш, храните повеление монархини. Нерадивых, нерачительных ослушников хозяйской воли отдавать в мануфактурколлегию для отсылки на Камчатку, в каторжную работу. Слышали? А то сызнова прочитаю! Идите, да чтобы у меня сказано — сделано было! Кто хозяину не угодит, — так и ведайте, — тот по Камчатке соскучился.

Арясов Логин, бобыльский сын, как прирос к столу в рисовальной светлице, с раннего утра до позднего вечера сидит над белым листом, кисть в руке; в ложечках, в черепочках золотые, лазоревые краски перед ним. За косячатым окном зеленый волжский берег, вольная матушка-Волга, синее небо, отары белых облаков гуляют по небу. Логин порисует, порисует, да поглядит в оконце. Уж вот, кажется, хорошо вывел, дельно, цветисто, другие срисовальщики заглянут через плечо Логина на узор, присоветуют:

— Ловко, хватит! Неси! Клади кисть, а то испортишь.

Логин и вблизи-то глянет на узор и к двери-то отойдет, а потом возьмет узор — да в печь! Хорошо писано, но не лежит к сердцу.

Мнится, мерещится Логину свой узор диковинный, в уме-то этот узор крепко держит, явственно во всех изгибах видит, а вот положить по всем правилам на манерный лист никак не может. Дело, братец, тонкое. Хоть ты семи пядей во лбу, а бывает, сразу-то свою мысль не ухватишь во всей полноте-ясности. Тогда тебе—ни сна, ни отдыха. Сам себя маешь и не маять не можешь.

Сготовил Логин узоры примечательные. По краям-то цветы лазоревые тремя линиями, в каждом углу по корзинке с цветами. Вверху двуглавый орел распахнул крылья на всю скатерть, глядит в обе стороны, в когтях скипетр царский держит, под крыльями плывут по Волге корабли под белыми парусами. На крутом красном берегу Ярославль-город с теремами белыми, с церквами златоглавыми. Вдоль да по бережку крутому идет крестьянский сын, кажись, ведет за собой честной люд царице на поклонение. Это будто сам хозяин. Такова хозяйская воля была. А на красной горке царица в кисейном платье, две собачки кудлатые на золотых цепках впереди ее.

— Теперь-то, вроде, на стан отдавать можно, — решил Арясов.

Показал хозяину.

— Отменно, братец, — похвалил хозяин мастера.

Взял Балабилка узор, прикинул на свой глаз, поднахмурился, покусал желтый ус, головой покачал.

— Ладно, братец, вижу я на узоре свою точку. Без своей точки не выткать скатерть.

Кликнул Балабилка своих помощников: при такой ширине ткани, да затейливом узоре четыре помощника и то еле-еле поспеют. Балабилка себе в напарники взял Мартьяна Базанова, длиннорукого солдатского сына. Взял еще Беляя колченогого, Гроша Кириллу из матросов — крестьянского сына, да Гуся Андрея, чешской нации, солдатского сына. Парни бедовые, горячие, коль за дело возьмутся, только подавай.

Мартьян развел руками да к Балабилке:

— Выдюжим ли? Скатерть на царский стол, беды бы себе не выткать.

— Твое дело шнурок дергать. В ответе я. Помалкивай в кулачок, не стони над плавней куличок, — подмигнул Балабилка.

Сам он пряжу пошел выбирать нужной тонины и доброты. Пряжи льняной в складе года на три запасено. Но сколько Балабилка не выбирал, ни одна талька не приглянулась ему.

На господские тальки он вовсе не глядит. В крестьянских талька, сверху-то глянешь, тонка пряжа, поглубже копнешь, а в ней пасьмы две, а то и побольше из почеса напрядено. Из почеса скатерть не выткешь.

Одинаковой тонины и доброты тальку не подберешь. Пряжу разные пряжи пряли, на торжках ростовских да макарьевских куплена из разных рук. Отказался Балабилка на отрез из такой пряжи ткать скатерть. Посадил хозяин в прядильной сто лучших прях мачку тянуть из золотой тверской кудели. Приказал самой тонкой пряжи напрясть, такой, что и глазом сразу не заметишь ниточку.

Прях-искусниц немало на мануфактуре. Сто прях в ряд

сидят, сто веретен в руках поют. Напряли они пряжи тонкой, звонкой, сколь надобно, на тальки смотали, в пасьмы перевязали, на грудки по шестьдесят нитей разбили. На белильном дворе в Шадрике пряжу выварили, на вешала развешали, высушили на солнце. Из мотков на сновальные катушки да на цевки пряжу Балабилка с помощниками перемотал.

К шпулке-то сам сел и не зря, братец, на то он и мастер, не доверил ребятам-несмышленникам перематывать, чтобы рядок навить поровнее. Все сам сделал. Сам тальку на воробину наденет, сам и кончик нити на катушку замотает. Правой-то рукой колесо вращает, левой нить придерживает, чтобы не туго и не слабо шла. Потом мотки со сновального барабана с помощниками перевил на ткацкий навой. Ниточку к ниточке; положил основы по всей ширине навоя. По сорок ниточек в рядок. Нитки-то все разноцветные: золотые, оранжевые, шелк и серебро. Шлихтовать принялись. Тут, ой, как искусно нужно щетинкой водить, чтобы основы не оборвать и чтобы ниточки не склеить, сверху-то Балабилка щеточкой в шлихте ведет, снизу-то сухой щеткой пряжу приглаживает. Основы прокленваются и не пугаются. Без малого месяц впятером-то занимались. И то сказать: под скатерть заправить — надо голову иметь. Но самая-то трудность еще впереди. Такая страда, когда он за стан сядет, первый раз бердом пристукнет — да скажет:

— Начали-почали, поповы дочери! Помни свой номер, чтобы цветок на скатерти не помер.

В переборном-то стане сам чорт не разберется, не догадается, за какую ниточку дернуть. Каждой нитке в основе номер дан, сто веревочек висит — вот за них переборщики свои номера и дергают по счету.

Ткач старшой за станом сидит, на узор смотрит, да счет дает, когда какую ниточку поднять, какую опустить. Ниточки — то вниз, то вверх, то вниз, то вверх; то золотая нить лазоревой дорожку уступит, то лазоревая перед золотой посторонится. Чуть зазевался или от усталости пропустил свой номер, не доглядел заглавный ткач, ну и скатерть бросай, пустота останется в том месте.

— Ну, батан, ботать — ботай, да работать не мешай. Стоит нам не полениться, заставим Арясов узор улыбнуться, другим боком повернуться, который нам люб.

Не торопись сел Балабилка за стан, разок другой батаном пристукнул. Батан послушно ходит, только почаще дергай на себя.

В левой-то руке у него узор на бумаге, бумага перед глазами, по ней и трафь. Правая-то рука на батане, чтобы удобнее приколачивать уточину. Мартьян с челноком — сбюку, рядом с ним переборщики Беляй да Гусь Андрей, эти у номеров

— По птице и перо, по царице и скатерть, так что ли, чалдоны, как в таком разе не порадеть? — лукаво метнул серым глазом Балабилка, хмурясь в бровцах, посерьезнел — по узору счет почал. Тут, брат, не до зевоты, только номерки поспевай дергать.

— Два, один, десять, пять, сорок, восемь, пятьдесят!

Беляй и Гусь за концы веревочек — дерг, золотые и лазоревые нитки — кверху, голубые да розовые — вниз. Мартыан челночок — раз, Балабилка батаном — стук да стук, станина — в дрожь. Разноцветные основы словно в пляске. Как по команде — всяк на свое место, куда приказано, туда и становятся. Все слажено, все угадано. Со стороны глянуть — не работа, музыка.

Балабилка с узора глаз не сводит, батан взад-вперед, взад-вперед, челнок как окунек на волне.

— Пять, один, три, четыре, восемь, семь

Батан — тук, тук, тук.

— Три, четыре, десять, два..

Пальцы переборщиков, как у гусяров, — по основам в бег, в пляс. Не успел, кажись, Балабилка четнуть, а уж Гусь с Беляем — всяк за свою веревочку. И маленький узор, что на листе, теперь цветами на скатерти ложится. Лазоревые лепестки, бутончики, зеленые листочки узорчатые — всему свой цвет пряжа дала, без кисти, без красок.

Весной солнце не торопкое, долго оно на небесах. День-то с версту; ту версту мерял чорт да Тарас, а цепь-то у них оборвалась. Тарас говорит: — давай свяжем, а чорт — на глаз скажем. Жди, когда солнце вокруг ткацкой светлицы полный круг обогнет. За четырнадцать часиков за станом все косточки замозжат. За весь день-деньской с поларшина соткали. Узоры на скатерти зарницами, солнышком просияли. Балабилке усталость нипочем. В харчевне, не присев, похлебал щей купоросных и скорей за стан, сподручные тоже за ним.

— Давай, братцы, пока в руках-то зуд, пока дыр-то нет!

И те тоже в азарт вместе с Балабилкой, только счет подавай. Радость всем: дело-то наудачу! Без заминки, без задоринки, ни пролета, ни подплетины. Когда у мастера в сердце жар, тогда и работа навеселе. Балабилка держит узор перед собой, а в памяти у него старое да бывалое, житее его молодецкое, ночи темные осенние, ветры буйные да костры среди чиста поля, да песни, кои на фабрике петь запрещают. Все-то припоминается, и уж вроде перед ним не то, что на бумажке написано да на стан к нему прислано — перед глазами иной узор во всей явственности, да ткать его нельзя. А тот, который нужно, как в синь-тумане за заволочкой.

Однако у Балабилки ежечасно в памяти строгий наказ хозяйский: свернешь с узорчатой стежки — Камчатка тебе. Для

начала же отблагодарят плетью на хозяйском дворе или в юстицколлегии. Но так и тянет Балабилку свернуть со стежки узорчатой. Словно бес ему на ухо шепчет:

— Балабилка, четни за золотую нитку! Молодцу, что в рисунке народ ведет за собой, в очи-то огня брызги, в кудри-то ему черного шелку побольше. Чело-то бы ему высокое, а осанку молодецкую!

Чем узор ярче, тем на сердце горячее, тем чаще шопот в ухо Балабилке. Должен он четнуть на нитку простую, льняную, четнет на золотую или на черную шелковую. Помощники дергают за бечевочки. И встает, оживляется мало-помалу на скатерти удалец детинушка-холстинушка.

Бросил Балабилка узор, сам и смеется, и крестится.

— Ты что, Балабилка?

— Братцы, около меня бес-путаник: на уме у меня числа, на голосе-то у меня другие. Сам себе я не хозяин.

— Полно-ка тебе, братец, эва, как у нас цветисто. Коли бес с подсказкой, так спасибо ему, знать он за нас сухоруких, — подсказывают друзья Балабилке.

— Бедуха, братцы! Опять нам скоро сыскная изба.

— Ну, за такой узор — и от самой царицы не постыженье! — говорит Мартьян.

У Балабилки полон рот воды, бурдюками щеки, лицо круглое. Прыснул на метелку, которой ткацкий пух обметали, вокруг стана покропил да с причетом:

— Эй, бес, тебе путь в темный лес, иль под крайний стан, иль ко мне в карман.

Гусю и Беляю потеха на Балабилку — затейника, перемешника. Тут как раз в светлицу вошел хозяин, как журавль на тонких длинных ногах, в белых штанах, в камзоле синего сукна с красными отворотами, с золотыми манжетами.

— Что это у тебя здесь за половодье, Балабилка? Подумаешь, какой воеводский сын; то ему пыль, то чих, то тяжелый дых. Все с привередьем.

— До привередья ли! Ткацкая пыль, что фимиям по заутрене. Хуже история: бес под станом счет путает.

Узор хозяину по душе.

— Э, паря, за тканье отменно. А бесу в назиданье — вот...

Наставил хозяин углем на станине крестов, похвалил ткачей за старанье и ушел.

Балабилка с молодцами прямо с мануфактуры на Волгу. Из-за леса — желтый лоб месяца. Над лугами туман белый, как маркизетовая завеса. На крутом берегу, рядом с Волгой-то, и заходила в Балабилке силушка по жилушкам. Пыль да пух с кудрей, с плеч долой да рубаху холщевую — под ноги, руки вразлет, и весь он, словно из куска белого камня. Вольготно ему на высоком берегу. На спине от железных кале-

ных прутьев синие рубцы, отметка царева, а за что — а про что, только Балабилке и его товарищам ведомо.

— Эх, братцы, тонка нить у хозяина нашего, а прочна, крепче цепей железных. Ай, охота мне сигом в Волгу, белой рыбицей по волнам, да то низом, то поверх всех сетей, да в обход всех снастей в широкое море хвалынской! Где же он для простого человека свой обжитой угол на земле? — гаркнул Балабилка.

Вприсядку, да вприскок, вздохнул глубже, и, как чайка, со всего слету-маху в парную воду. На зыбучих волнах около бережка — пенный шопот. А уж он эвон где, — почитай, на самой середине, голова как поплавок из-под воды.

— Ух, братчики, гоже! — гудит Балабилка, — всем мать родная Волга-матушка. И питье у нее для нас и кормление, а козь жизнь не по душе, — так и вечный покой.

Словно дикий селезень, полощется Балабилка и на один бочок перевернется и на другой, а то ладошками хлоп-хлоп над головой.

— Эй, матушка-Волга, ждть своей доли мне долго?

То ли бор вековой на том берегу, то ли красавица Волжанка-служанка вроде бы с ответом

— Не-до-о-лго-о-о!..

— Чу, ребята, без обмана, без утайки. Недолго! Где-то здесь поблизости наша Волжанка-заступница.

Где раздолье, там и Балабилке веселье да приволье. На минуту да своя воля! Товарищи — к нему на стрежень, брызги дугой над ними звонкой россыпью. Молодцы друг дружке на плечи да через голову — в воду. Эй, гей!..

А потом опять с вопросом:

— Ждть нам своей доли долго?

И кто-то с другого берега с ответом:

— Не-до-о-лго-о-о!

После купанья — некуда, кроме как в свой клоповник. Вокруг барака — частокол, а на нем рогатки железные да гвозди.

У ворот — хозяин с жердиной в руке. К Балабилке:

— С кем это у тебя каждый вечер купанье?

— Ей богу, это не мы, кто-то с Волжанкой-служанкой перекликается.

— Ты, затейник, смотри у меня со своим языком! К каждому слову: Волжанка да Волжанка. А что она вам, мать родная, что ли? — И жердиной пригрозил.

Ночью в бараке храп. Нары в два яруса. Балабилка с боку на бок ворочается, досками скрипит, не до сна ему, не до лежания. Луна за окном. Узор занятный в душе у Балабилки. Кому от узора прибыль, а ему одна забота. Так другому бы горя мало, что срисовальщик навел, то и вытки. А этот — нет, не такой, у него любое дело с сердцем в обнимку.

Мартьян сбегал к шайке, что в углу под рогожей, испил так, спросонья, нос и бороду намочил.

— Ты что, Балабилка? Опять не спишь? Экий полуношник.

— Не до спанья что-то.

— Мыслями сон закрыт?

— Да какие это мысли. Так что-то, всякая чертовщина перед глазами. А ты что сейчас орал, словно тебя режут?

Мартьян чуть ли ему не в ухо:

— Сон видел страшный. И сейчас еще в жилах дрожь. Будто опять мы с тобой вместе с посадскими людьми стоим против страшной плахи, на том самом знакомом месте. На помост ведут наше солнце. Как он тряхнет плечами, и полетели с помоста палачи. Все вот слышится его голос, как, быва-лыча, под Оренбургом:

— Эй, чубатые, кудреватые, что задумались? И хуже бывало! Коли это, да не воля, чего ж вам боле!..

До самой зорьки прошептались под хламидой Мартьян с Балабилкой.

Рано на заре мурцовкой заправились, опять в светлицу к стану. На веревочках грузильца, железки да камешки, как монисты на цыганке. Балабилка узор в левую руку, а правой за батан, считает:

— Один, два, шесть, пятнадцать, двадцать пять.

Переборщики — за веревочки. Так изо дня в день, от тем-на до темна...

Долго трудились они над скатертью. Дошло дело до дву-главого орла и царицы-медяницы. Уж подол и царицены но-ги выткали, крыло орла начали.

Бежит хозяин.

— Пуще монархине обличие придадите подобающее, что-бы попримянее. Это всей скатерти гвоздь! Венец царский и прочее, со всеми бриллиантами, самоцветами. Чтобы без дыр-ки в голове!

Ткут наши работнички царицу. Стал Балабилка все чаще да чаще позевывать. Вестимо — ткать — не в бабки играть, — устать не диво. Да и у переборщиков-то прежнего задора не стало. Передергивают нехотя за веревочки.

— Два, четыре, пять, — считает Балабилка.

Андрей Гусь дернул веревочку, да не ту. Балабилка — стук, стук, бердом. Дальше:

— Семь, пятнадцать!

Грош опять было — за веревочку, а Балабилка ему:

— Стой, стой, брат. Бес меня путает!

— Что вы, черти сивые, аль не видите? Дырка у царицы на голове! — ахнул ткач.

— И с дыркой походит, — Балабилке этому все смешки да хаханьки.

Переборщикам пуще всего перед хозяином страшно. Чуть что — на Камчатку всех. Указ у него на руках, его власть и сила.

У Балабилки своя сметка: он да скорехонько где дырка-то была впледел шелковую ниточку. Дальше ткут, а уж еще каких-нибудь три дня, там и гонцы за скатертью прискачут. И так хозяин стоит над душой с палкой.

— К сроку не поспеете — семь шкур заживо сдеру!

Три дня, три ночи напролет да безвылазно корпели ткачи. Ночью их пятеро в светлице, да сторож, этот у печки спину греет да рассказывает про Волжанку-служанку. От усталости у Балабилки веки слипаются, муть в голове, по узору-то пятна оранжевые, то красные круги, нивесть откуда.

— Десять, двадцать... — голос у Балабилки дряблый.

— Сил больше никаких нет.

Глядь-поглядь на голове у орла дырка. Кто виноват? Сам ли спутался, переборщик ли, бес ли подсказал свою цифру?

— Эх, ребята, у царского орла голова со свещем, — вздохнул Балабилка и узор бросил.

А сторож:

— За это вам всем верный острог!

Мартьян починил голову орлу лазоревой ниточкой.

Пошел Балабилка на обед в харчевню за белильный двор, — узор на стан под челнок. Закусили наскоро, бегут в светлицу, а узору как ни бывало.

На воле было ветрено, стан стоял у окна, а окно-то приоткрыли, чтобы дышать было привольнее. Может и ветром унесло узор.

Полетело из светлицы в поварню, из поварни в белильный двор, по всем углам мануфактуры. Слушок-то сам Балабилка пустил:

— Чорт царицын узор украл!

От такой вести хозяин стал бел, как холст. Бежит в светлицу, губы синие, весь в лихорадке:

— Где узор с монархиней?

— Бес украл, пока обедали, — Балабилка ему.

— Дубинкой вас бездельников! Вороны вы, а не ткачи!

Балабилка ходит вокруг стана с причитаниями:

— Бес, бес, поиграй да опять отдай.

Доткать обличье-то царицыно осталось самую малость, а там и за детинушку так можно приняться. Да вот по-ди ж ты!

— Как же теперь? — мается хозяин.

— Я уж на глазок, у меня глаз памятный.

За все теперь Балабилка в ответе. Новый узор писать недосуг. Скатерть к царицыну празднику, а праздник на носу.

Хозяин с угрозой:

— Смотри же у меня: не подгадь дело, а то голову с плеч.

Через день подошел хозяин на скатерть глянуть, с ткачей пот градом, в пыли, в пуху они, света белого не видят.

— Пять, восемь, девять, двадцать, — кричит Балабилка.

Гусь и Грош в четыре руки дергают веревочки, не успеешь глазом моргнуть, а уж нужный номерок подняли. Беляй с Мартьяном челнок бросают.

Наклонился хозяин над узором, Балабилку спрашивает:

— Когда кончите?

— Сам не ведаю. Видно, к царице на показ бес узор отнес да и потерял во дворце. Подметало поднял, в ящик бросил. Бес, видать, копается в царском мусоре. Вот уж, наверно, чего-чего он только ни узнал о царице.

— Это ты про какую царицу?

— Вестимо, про мусорную...

Только скатерть со стана сняли, царские гонцы — к хозяину. И глянуть как следует не дали. Скатерть — красота удивительной. Под стражей повезли к царице.

Балабилка после той скатерти натрудил глаза. Больше недели над чугуном сидел да лечил картофельным паром.

А скатертник-хозяин ночей не спит, все ждет, какую же придет царица награду. Прежде-то баловала царица купца.

Идет он раз по канавке от котельной, где товар в шадрике кипятили на голом огне. По канаве — грязная вода, щелок, краски. Видит в грязи листок с узором. Остановился Затрапезнов, поднял узор. Слова никому не сказал об этом.

А той порой в царском дворце столы накрываются, графья, вельможи в золотых нарядах ко дворцу съезжаются, заморские гости туда же. Фрейлины на царицу духами прыщут, в парик ее рядят, кисейное белое платье надевают, шириной с рыболовную сеть. Сами тоже — в румянах, в белилах, в духах и нарядах, как полагается.

Вин, закусок, сладостей, да пряностей — воза.

Все камчатное дорогое белье вынули из царских сундуков ради такого пированья. Слуги в золотых рубахах, в белых чулках, в перчатках по самы локти, с подносами так и летают. Люстры зажгли, в каждой, поди, по тысяче свечек. Полы-то все зеркальные, всего тебя видно вверх тормашками. Вот как у них было. Не то что, скажем, в спальном бараке на мануфактуре у Затрапезнова.

Салфеток, скатертей у царицы побольше, чем во всем царстве, особливо ярославских. Слуга-вертихвост спрашивает:

— Какую, ваше императричество, скатерть прикажете на большой стол накинуть?

— Самую лучшую, что вчера привезли, от купца ярославского.

Как накрыли царский стол ярославской скатертью с лазо-

ревым узором, вдвое краше в царской палате стало. Вельможи, министры, заморские гости, спотайные полюбовнички, все в крестах да в лентах — обступили стол. Близко без царицы не подходят — ее ждут. Много у нас диковинок-диковин ткали, такая же — в первый раз. Один заморский гость и говорит:

— Я бы, кажись, за эдаку вещь никакого капитала не пожалел.

На разные лады скатерть расхваливают. Молодым кралям — и тем теперь не до плясов. Вздыхают, глаза закатывают, только и слышно:

— Ах, что за скатерть! Первое удовольствие!

— Бознат, кто ее и ткал!

Музыка в сто рогов сразу ахнула. Выплывает из золотых дверей царица, прямя, что бочка кисейная, подол-то на полверсты, его прислуги несут. Блюдолизы придворные — в дугу перед своей благодетельницей, им уж не до скатерти. Царица — кому кивок, а кому и того нет.

Издали заметила царица новую скатерть, так вся и вспылала, ладошками всплеснула:

— Что за узоры! Такая прелесть!

Подошла царица к столу, оперлась пальцами о скатерть и онемела. Стоит, словно статуя каменная, глаза оловянные стали, да как вдруг взвояет на весь дворец:

— А-а-а-а!

Вельможи да бароны аж глаза вылупили, — не свихнулась ли императричество. А она — хлоп в обморок. Тут слуги ее подхватили. Шум, гам, переполох. Давай императричество водой отливать. А она, чуть только очухалась, всех распахала, растолкала — да к столу. Свирепой тигрой на скатерть кинулась, стащила ее со стола, всю посуду перебила, давай скатерть ногами топтать.

Вельможам приказывает:

— Сжечь! Изрубить! На бумагу перемолоть! Все ярославские скатерти, салфетки — все на бумагу! На той бумаге я указы напишу, с супостатов кожу спущу. Тем, кто выткал на скатерти Емельку Пугачева, головы отрублю! Найти, поймать, схватить, перед мои очи поставить!

Забегали, заснофали гонцы, к коням кинулись. Ночь-полночь в Ярославль на мануфактуру скачут.

Бароны да вельможи начали скатерти со всех столов срывать. Да той же ночью и скатерти, и салфетки, и все камчатное белье дорожке покидали на воза и отвезли на царскую фабрику, все начисто перемололи на бумагу, все поизничтожили. Сколько старания ткачей было погублено! Что им бессонные ночи тружеников!

Гонцы прискакали на мануфактуру. Хозяин — ни жив, ни мертв. Балабилку с молодцами послал искать. Балабилки в

светлице нет. В барак побежали. На тюфяке, где спал Балабилка, под соломенной подушкой нашли письмецо затейников. Вот что, брат ты мой, было в нем написано:

«Прощай хозяин-каин и царица-блудница. В гости нас в скором времени поджидай. На судьбу свою не ропщу, твою фабрику, придет час, по ветру пушу. Пошли мы свое счастье искать. Нам с царями дружить не с руки. Не вхожи мы в тот высокий дом, а случится — и в негс зайдем. Теперь и ты повидала Емельяна Ивановича. А мы с ним за ручку здоровались. Ради него и ночей не спали на твоей погибельной мануфактуре. Ну, да ладно. По воле мы шибко соскучились.

Белый лебедь
На блюде не был,
Никем не рушен,
А всяк его кушал!

А мы и поболее прочих этого лебеда покусали.

Твой ткач, скатертный начальник Балабилка — крестьянский сын.»

Сгребли гонцы с Затрапезнова золотой пудовичок отступного и повезли Балабилкин манифест царице.

Вниз да по матушке по Волге, да по шелковым зеленым лугам, что раскинулись, как скатерти, идут день, идут ночь пятеро товарищей: Балабилка, Мартьян, Гусь, Беляй и Грош. Идут да свое счастье гукают:

— Эй, Волга, до счастья нам итти долго или недолго?

А с крутого красного берега, из-за лысых гор Жигулевских кто-то радует их раскатисто:

— Не-до-о-л-го-о-о!...

И сама дорога не камушком-дикариком, а мягкой травой-муравой стелется им под ноги. Не унывает Балабилка да и его товарищи голов не вешают. Да как же с Балабилкой и унывать-то! Идет он впереди, руками размахивает, приговаривает:

— Сапоги дорогу знают, только ноги подвигай.

БУНТ КРАСОК

Встарину-то запоздно кончали работу. Уж давным-давно за избушкой на небе повиснет луны горбушка, а на фабрике все еще трещат, гремят станки, полетывают челноки, набойщики деревянными чекмерями постукивают о манерки в набоешной. Рукодельники - набойщики узоры трафят. Хожалый по фабричному двору блямнет в колокольцо или в ржавый лемех, тут отворятся ворота

Вот так же раз в поздний час набойщик Денис Потапыч постукивал вырезным манером да приговаривал:

— Весна - красна, хозяйка лугов, хороши твои цветы — спору нет, а мои, пожалуй, получше. Вот придет черная сарафаница — осень и поблекнет твой наряд, а моим одуванчикам и розам не страшны ни выюги, ни морозы. Вот какие мои цветы — вдоль миткалевой версты.

За окнами звезды мигают. Тут вбегают в набойную два шульничка: Гришутка да Пашутка.

— Дяденька Денис, научи нас своему умельству.

— Полно вам, щеглятки, голые пятки, с моим-то умельством горя наживете. Что ни стараюсь, все хозяину не под сорт, на него не угодит и сам чорт. Вот нынче, чай, слышали, как разбушевался в набойной? Вы уж, знай, мотайте шульки, тоже ремесло почтенное.

А шульничкам-то охота к верстаку, поближе к цветам. Постояли, поглядели, как Денис трафит. То ли бабочка ночная белокрылая стукнулась о стекло или еще что, а за ней другая. Будто дождь серебряный от лесу-то прошумел под окном.

— Пашутка, глянь, что это?

А тот:

— Бабочка!

— Нет, щегляты, это два золотых зернышка упали с солнышка. Одно Гришутке, другое — Пашутке. Вот подите-ка, поищите их в траве. Найдете — ваше счастье. Я мальчишком тоже свое зернышко нашел, когда у дедушки Лаврентия сидел под рукой, краски растирал ему. Еще дедушка Лаврентий сказывал мне о тех зернышках.

Хоть шуткой да прибауткой обошелся с ребятами Денис, а на самом-то деле не до веселья ныне мастеру. И не больно шибко повздорил с хозяином, а сердце-то потревожил. Плохо что-то в тот вечер трафилось.

На улице, как в печке. Петька-певун на поветке глянет одним глазом в щелочку на звезды — на свои петушинные часы — не пора ли, мол, мне давать первый сигнал?

На фабриках тогда многие работали из ближних сел, там из Богородского, Дегтярева, Воробьева. Фабричники на воскресенье-то по большей части ходили домой попариться, бельишко сменить, ребятишек своих повидать, да мало ли что. Работящие руки дело себе и впотьмах найдут. Конечно, в понедельник ни свет-ни заря, живи ты хоть за сорок верст, а будь к сроку на фабрике.

Однако, на Иванов день, у Дормидонта Полушина взбрыкнули в колокол, сторож отворил ворота — повалили гужом фабричники. Уж пшеничный-то каравай луны висит выше Покровского собора. На других фабричных дворах — тоже брякают в колокольца.

Как народ высыпал, ожили улицы. До этого, как мертвые лежали, собака и та не тявкнет, потому, как их нет, почитай, ни в селе, ни в Посаде. Ткачу-то себя еле-еле прокормить, до собаки ли тут?

Фабричники, чужесельские, не заходят в спальные бараки, прямо от ворот, кто куда, в разные стороны.

Ребятишки, девчонки, сама-то зелень, шпульнички, калаброднички, подметальщики — лапотки, калишки через плечо и вперед устегали. У них ножки-то хоть и покорооче да повеселее.

Молодые парни с девками — те хоть в середочке, ну, а старики — эти позади всех. Старая нога, хоть и без сапога, но за молодой обутой все равно не поспекает. Не те годы.

В полях зарницы хлеб зорят, ныряют по небу-то.

Писцовских много работало на отходе. А к Писцову-то в ту сторону все лес да лес. И сейчас еще шумит зеленая грива. Тогда выше стояла она, дорожка петляла меж пней, между кустов. Сверху-то зеленым навесом свились сучья.

Вот, стало быть, идут о полуночи набойщики: Денис Потапыч, сугорбленный старик с подождком, да Игнат Полозов. Игнат недавно из-за ткацкого стана перешел к набойному верстаку. Приладил его к этому мастерству Денис Потапыч. По соседству в селе-то жили. Да и понятие, конечно, в набойном деле имел Игнат. Без понятия да прилежания не встрянешь в это умельство. И время такое не скупое выпало на счастье набойщикам. Ткачи-то стоят без шапок у ворот — только возьми ради бога, сколько ни положь! А набойщиков нехватало. Мастерство-то их почетное. Не всякого поставишь к набойному верстаку.

У ткачей на столе и в будни, и в воскресенье редька да квашена капуста. К набойщику же на стол в праздник случилось и бела рыбица заплывала.

Двое набойщиков шагают, промеж собой беседу мирно ведут. Обгоняют их ткачи веселой ватажкой:

— Эй, вы, черные рты, кумачевые животы, что не весело шагаете, или ассигнации тяжело тащить? Давайте поможем!

Набойщики им свое:

— А вы, щербатые челноки, путанные мотки, что больно весело катитесь, или новое ремесло ищите?

Ткачи трунят над набойщиками:

— Ой ли, у вас и кишки-то наверно все в красках, а тоже своим мастерством хвалитесь! У нас челночок — один деревянный, другой серебряный бочок.

— То-то и оно, челночок-то повернул свой серебряный бочок, только не в вашу сторону! — кричат набойщики ткачам вслед.

— Нам дорого не золото, не серебро, дорого мастерство! Нам и деревянный бочок светло светит, — не унывают ткачи.

Дальше, дальше голоса. Уж не слышно ткачей. Знать торопятся девок догнать у заимки, за ручьем. От неча делать Денис с Игнатом судачат. Игнат так и распевает петушком:

— Вон Ерема косой, Фирстов Додон давно ли, сказывают, трафили в набойной, а теперь оба выскочили в мастерки-хозяйчики.

— А тебе, Игнат, вижу больно охота в мастерки? — нытает Денис.

— Да и ты бы не отказался...

— Оpozдал, Игнат, прошло время золотое. Они начинали на заре, а ты спохватился на закате. Ерема и Додон это мелкота. Вон большие-то сомы понахватали за те годы. Война в люди вывела кой-кого. Француз-неприятель разорил путь-дорожку до Москвы. Спалил у московских и у смоленских купцов фабрики, а наши в это время не зевали. Посыпались от казны заказы. Тогда за год гребли прибытку—в двадцать лет не наживешь. Ну, и набойщики в ту пору пожили в свое удовольствие.

— Эх, маменька родная, — вздохнул Игнат, — что ты не спородила меня на свет двадцатью годами пораньше! Уж не отстал бы я от других.

За лесом-то стало погромыхивать. Ветерок пробежал по макушкам. Зашептались листочки. Последние звездочки пропали.

Набойщики идут, не торопятся. Дышать сладко, вольготно. Березняком к болоту спускаться стали. Светлячки — синие огоньки, под каждым пнем, под каждым кустом, хоть лопатой сгребай, столько ягод не зреет на поруби в урожайный год. Порхают, светятся. Сверху густым пологом сучья. Глянул Денис Потапыч кверху-то: и сквозь сучья видно, будто синие огоньки брызжут. Снял Денис Потапыч картуз, перекрестился:

— Не иначе нынче звездный дождь. К несчастью это знаменье.

Не успел промолвить, в березняке сполох за сполохом. Синие язычки взлетывают выше лесу.

Остановились набойщики.

— Это, небось, наши балагуры-ткачи хотят штофу голову отвернуть. Забрались в чащу, сухую елку подожгли.

И пошли туда. Ан не то. И штоф не стоит, и ель не горит. Хмельным здесь и не пахнет. У своего станок под березой кузнец — не кузнец, стоит добрый молодец, рукава засучены, при фартуке. Он и точит, и кует, он и песенку поет. Как ударит — так и брызнут из-под молотка и наковальни по всему лесу синие искорки. Упадут под кусты — светлячками и светятся.

Бьет удалец по наковальне, счастье мастеровым людям кует, наказывает светлячкам:

— Далеко лети — светло свети! В далеком краю светлая голова затуманилась. Разгони у мастера печаль! Оживи железо и сталь!

Во второй раз упал молоток:

— Пахарь-горемыка, поле орет, вырасти ему колосок и толст, и высок.

Так и пляшет веселый молоток по наковаленке:

— Под фабричной крышей ткет Ариша. Пусть ее миткали будут шире земли!

Знает удалец, где что делается на земле в этот час:

— В рудник порхни, засвети огни, чтобы не устала у рудокопа рука, не притупилась кирка.

Набойщиков не обошел добрым приветом:

— Еще по светлячку, на удачу каждому мужичку. Денису да Игнату, чтобы душе беспокойной лучше трафилось в набойной. Пусть они живут в согласии вместе, будут им скоро добрые вести.

Наши набойщики, было, на попятную, мол, тут, что-то не так. А умелец-то им:

— Добрые люди, нет ли понюшки у вас?

— Как не быть, что не угостить!

У Дениса Потапыча в кармане костяная тавлинка с нюхательным табаком.

— Что это делаешь здесь, не на своем месте? — спрашивают.

— Ковать — не воровать, не место красит мастера, а мастер место.

— Оно, вестимо, — согласился Денис.

— Я одной судьбы с вами. А забот у меня много. Счастьекую. Мне нужно столько раз ударить, чтобы каждому мастеру досталось по огоньку-светлячку. А сколько мастеров-то? Вот и мало дня, ночью стою у наковальни. Если мастеру свой светлячок не осветит, такой мастер и удачи больше не встретит. Так ли я говорю, фабричники?

— Справедливо! — согласились набойщики.

В грудинки-то, поближе к сердцу, каждому под фартук положил удалой молодец своей рукой по светлячку-огоньку. Наказывает перво-наперво ни в веселье, ни в беде под грудинку не заглядывать, что туда положено, никому не показывать. Ни о какой беде не печалиться, раньше своего времени не стариться.

— В мастерстве, сами знаете, порой ярка звездочка загорится, а темные люди хотят погасить ее. За семью горами вижу — загорелась уже моя железная звездочка. Не иначе, завтра свет ее придет и в наш край.

«Что же это такое, что за светлая железная звездочка?» — призадумались набойщики.

Денис Потапыч к умельцу с небольшой, доброй просьби-

цей, про Гришутку и Пашутку припомнил. Мол, ударь еще разок молотком — по светлячку на счастье Гришутке с Пашуткой.

— А умелец-то так сказал:

— Что не ударить? Моя рука не боится молотка. Да что зря ударять-то? Ваши-то светлячки пока вам светят, придет такой час, и Гришутку с Пашуткой приветят. Мой-то светлячок летит к человеку не на минутку, не на часок, на всю жизнь. Светит ему до старости.

И еще сказал добрый удалец:

— Мастерство и золото на одни весы не кладут.

— Как же так? Затем и трудимся, чтобы жить, — встрял Игнат, — рыба ищет, где глубже, а мы, где лучше.

— Ищешь мастерство — найдешь с ним и золото, ищешь золото — найдешь беду, — пояснил кузнец. — На больших фабриках бывал я не меньше вашего, на железных заводах живал. Всяких мастеров видывал на своем веку.

Денис Потапыч — вопросец ему:

— Ладно, мил человек, я с тобой согласен. Ну, а если ты идешь на свой огонек, своей дорогой, а тебя ссывают на другую?

— Не уступай!

— Как ты не уступишь? Нынче хозяин меня заставляет: пачкай ему не то, что прочно и красиво, а что денежно. Я ему говорю: да не только душа мастера, но и краски-то поднимут бунт, перестанут слушаться.

Отвечает Денису кузнец:

— Если встанут на твоей дороге, ты фартуком-то накрой кадку с красками и увидишь, что сильнее: мастерство или хозяин.

Видно, в хороших ремеслах — человек знаменитый, большой силы у него душа. Человек-то родится не с золотыми руками, прилежные руки золотят доброе мастерство.

В понедельник, ни свет-ни заря, набойщики — на своих местах. Дормидонт, хозяин-то, в набойном сарае опять соборует Дениса:

— Твой рисунок мне не под сорт. Говорю тебе: брось свои расписные узоры, делай, что велю. Вон другие работают не что цветисто, что сбыточно. В Астрахань возят. И я поеду в Астрахань.

Несогласно поморщился Денис:

— Да ить душа-то не лежит к их сорту.

— Не тебе торговать! Не твоя забота!

— Мне не торговать, не моя забота — да моя работа. Я так скажу: ведь человеку придется надевать этаку дрянь.

— За этот сорт попрежнему получишь те же три рубля ассигнациями! Хорошо радеть станешь — по гривне накину, — увещевает Дормидонт.

Денис ему в ответ:

— Без трех рублей не проживешь. Да не о трех рублях спор-то у нас. Я, допустим, мастер сапоги шить, а меня заставляют лапти плести. На это есть лапотники.

— Знаю я твоему умельству цену. Но перестань ты наводить тень на ясный день. Много будешь говорить, велю сторожу пошире ворота отворить! — сказал, как отрубил, хозяин.

— Ну раз на то хозяйское соизволение, что же, будем хоть узоры писать, хоть на голове плясать. Куда ты пойдешь? Но, вот что, Дормидонт Саввич, у красок характер есть, за их душу я не даю ручательства, — намекнул Денис упрямому владельцу...

Тот не раскусил орешек. Ушел.

Игнат Полозов набивал вместе с Денисом. У окна верстаки-то рядышком.

— Полно, Денис Потапыч, упираться-то, плетью обуха не перешибешь. Нам не все ли равно, благо обещал прибавить по гривне.

Больно польстился на посуленную гривну Игнат.

— Кому как, а по мне вовсе не все равно, — отвечает Денис. Нахмурил брови, чокмарем поколачивает по киянке.

— И тебе прибавит.

— Что ты гривну-то себе в душу положишь? — бросил Денис чокмарь на верстак.

— У меня карман есть, — ухмыльнулся Игнат.

— Ах, Игнат, не знал, что у тебя широкий карман, а то не посадил бы я тебя с собой рядом за верстак...

— Почему же? Что я, мастер плохой?

— Не плох, да зелен. Тебе свою руку и глаз надо, ой как, любить, беречь. Испортишь гривной — золотым рублем не поправишь, — ворчит Денис. — Если ты так ценишь свои руки, больше ты не подходи к моему верстаку. Доходи до всего сам.

Взъерошился Денис, снял обечку с волос, бросил на верстак и такую понюшку табаку проводил в нос, что полчаса чихал на весь небольшой сарай.

— Полно тебе дуться, Денис Потапыч, с тобой и шутки шутить нельзя, — заюлил Игнат.

Тут и вспомнил Денис про живого светлячка в грудинке под фартуком.

Накрыл фартуком верстак, цветы на ткани защевелились, накрыл фартуком кадку с красками, краски в кадке взбунтовались, закипели. Побежал Денис хозяина покликать, гляди, мол, что творится на верстаке да в кадке!

Пока он бегал, Игнат-хитрец из Денисова фартука светлячка-то и принял под свой фартук, себе в грудинку. Дормидонт пришел в набойную, а краски в кадке спокойны, цветы

больше не шевелятся на ситце. Обругал хозяин Дениса дураком.

— Что же это, насмешка, что ли? — загрузил Денис, обиделся на доброго умельца-кузнеца.

Игнат Полозов не дремлет: угождает хозяину, трафит, что Дормидонту под сорт. Денис Потапыч, однако, остался при своем. Может быть и выгнал бы Дормидонт Дениса за непокорство, но, зная, принял в расчет его проворство и переимчивость, — пригодится. Да и в набойщиках большая недостача, пробросаешься этак-то.

Игнат песенки поет, трафит линючую дешевку. За Игнатом — кое-кто из набойщиков тоже польстился, вишь, на лишнюю гривну. Доброе мастерство променял на дешевый носул.

С удачной выручкой-то после астраханской ярмарки им хозяин — еще по гривне!

Перестал Денис знаться с отступником Игнатом. Домой на воскресенье ходят теперь порознь и разговоров не ведут.

В грудинку-то под фартук заглядывать Денису заказано, кабы не этот зарок, уж он глянул бы. Раньше-то так тепло было у сердца под фартуком, словно горячее зернышко лежало. А сейчас — чуёт Денис — потерял он горячее зернышко, того светлячка. Зато у Игната теперь в грудинке два зернышка. Одно свое, другое краденое.

Денис Потапыч и думать не думает, что его выученик мог пойти на такой подвох. Наведаться бы в ту березовую палестину. Не раз проходил Денис мимо дорогой, поглядывал, да, видно, не попадал к удачливому часу. Так и не встретил кого ему надо.

Игнат той порой по пятишнице на день заколачивает. При жилетке, при часах ходит. Напускает на себя дюжее степенство, готов по норову-то своему в фабричные приказчики сесть. Более того — пало ему в голову, что теперь умельства и мастерства ему хватит по гробову доску. Не возьмет в толк, что мастерство-то его дешевое. А Денис глянет за его верстак, только вздохнет, нахмурится.

Дормидонт этому линючему хламу сбыт находит. Все на ярмарке валит, загребает денежки.

Денег Дормидонт в малы годы нахватал многонько, да и купил чудную машину. Первый из всех купцов в городе привез он ее на сорока лошадях, на дубовых полозьях по снегу. Через мост везли — сваи зашатались, мостовины поломались.

К воротам подъехали, на подмогу выгнали рабочих, всех ткачей, набойщиков. Машина-то как свистнет, инда всех оглушила. Не видали никогда такого дива.

На другую зиму везут еще пять машин. Новый каменный корпус сгрохали. Глянул Игнат на новые машины, ужаснулся:

— Братцы, медных дьяволов привезли.

Как пустили машины, пробу рабочую им сделали, Денис Потапыч увидел, какие у машины руки, попенял на Игната.

— Пустое мелешь. Такой дьявол ни в одном омуте не плавал, эти умные руки—большой науки. Они дела не подгадят.

С того дня, как уставили медные машины, старый набойщик сарай стал дышать на ладан. Больше половины набойщиков не нужны. Выгнал хозяин за ворота первого Игната, а за ним по скорости еще многих набойщиков уволил. Денис положил чокмарь и киянку на вечный отдых. Его оставили обихаживать умную машину. Сколько ни любит Денис машину, надивиться не может. Ее железные руки за сто набойщиков правят дело. Да как правят: за ними не угнаться живым рукам.

За Дормидонтом и другие купцы повезли на свои фабрики такие же машины. Смекнули: хоть и дорога машина, да выгодна. Хватит баловать набойщиков. Надоело потакать им. И с других фабрик сотни мастеров-набойщиков, стало быть, помели метлой. Приуныли набойщики. Пришла железная гостья — теперь только поспевай ткать.

Ткачей — нехватка. Набойщики-то и в тяжелые времена получали не менее двух целковых на день, а ткачи в золотое-то время — не больше двугривенного. Да те, кто работы не боится, хоть и с горькой болью за свое доброе мастерство, поглядели-поглядели, куда жизнь-то клонит, бросили чокмарь и киянку и взялись за челнок.

Но были и такие спесивцы: как, мол так? Да знают ли содержатели-купцы, кто мы есть? Душа не позволяет браться за челнок. Машина нас загубила, мастерство наше отняла, по миру пустила.

Пожалуй, больше всех из набойщиков точил зубы на машину Игнат Полозов. Другие тоже подпевали ему, особо, когда заглянут в кабак.

В ткачи Игната сватали Дормидонту. Игнат за обиду счел:

— Да я мастер! Набойщик, золотые руки! Я не чета какому-то там ткачам! С голоду умру, а в ткачи не пойду!

Как-то забрел Игнат к Денису в цех, поругать машины.

— Денис Потапыч, вот когда времечко пришло, вот когда светлячок-то нам сослужит службу. Пока не поздно, давай взбунтуем все краски против этих железных погубителей, разорителей.

— А к чему? — спросил Денис.

— Как к чему? Ты подумай: нынче меня пасть ненасытная схрыстала, завтра тебя сожрет. Тоже пошлют в ткачи.

— Я ткачей не боюсь, мастерства их не чуюсь. Надо будет, и в ткачи пойду, и в ткачах наживу своим рукам славу.

Не полюбился такой ответ Игнату.

— Дурака работа любит!

Палка-то о двух концах. Денис Игната — да другим концом:

— А вот дурак работы не любит!

Походил, походил Игнат без работы, видит, сколько не гуляй, надо становиться к делу. Но в ткачи не захотел. Выпросился в красильную ушаты с краской возить, поближе к красковарам. Сам нет-нет да и хвастнет перед фабричными:

— Не век этим железным дьяволом нас разорять и убыточить! Припасен у меня на грудинке против них смертный порошок.

Раз по вечеру сидели набойщики в кабаке. Денис да Игнат, с ними еще мастерки Додон Фирстов и Ерема Кривой, эти тоже когда-то с набойщиков зачинали свое дело. Успели в хозяйчики выбиться, по собственной светлице поставили в Посаде.

Хлебнул Игнат молочка от бешеной коровки, завел старую песню:

— Говорил и по гроб твердить не устану: всю жизнь машина сгубила, все перепутала. Но погоди, я разберусь.

Ерема с Додоном слушают и на ус мотают. У них машин нет, а чокмарь да киянка не угонятся за чужой машиной. То и жди — проглотит, фабрика ихние светлицы. Придется Додону с Еремой из мастерков опять итти в кавальную фабрику.

— Так, так, Игнат, петушка на фабричные крыши посадить повыше, вот бы что надо.

— Мы без петушка-золотого гребешка справимся, — завел бохвальбу Игнат, а не подумает, что себе на погибель хвастает.

Потряс седой головой Денис Потапыч:

— Пустое дело вздумал, помяни меня. Я не потому за машину, что больно сладки хозяйски калачи стали, а потому, что сама машина — великое мастерство. Машина — помощница человека.

— Да, спасибо этой помощнице, приехала — и в бобыли ступай! — кричит Игнат на весь кабак. — Лучше по-старому жить. Никакой новой жизни не хочу!

— Нет, братец, два раза солнце в сутки не всходит, — перечит ему Денис, — что разум человека сотворил, да что умелые руки сделали, то во благо человеку. Может машина из кабалы-неволи выведет нас на привольные просторы! А что тогда скажешь?

— Выведет она, погоди, и тебя за ворота, — бранит машину Игнат. Так и остались Игнат с Денисом при своих мнениях.

Лето, сказывают, прошло тогда знойное, с ветрами. Земля новысохла да растрескалась. В поле-то все повыгорело. Такая ли духотища! Завьет вихорь — белый свет тонет в ныли.

Вечером за полчаса до звонка всхлопнул красными крыльями певун на красильной у Дормидонта: ящики с паклей, с пачесой принялись, а потом сразу во многих местах замахали красные гребешки. Игнат фартук на плечо и айда из красильной.

— Горим, горим! — скликает фабричных, чтобы скорей убежали с фабрики. В котлах, в чанах закипели краски, красные гребни заплясали над чанами. Уж огневые гривы плещут из окон.

Дормидонт по двору мечется, как полоумный.

— Мужики, тушите! Мужики, по гроб не забуду! Спасайте!

Фабричные — кто куда. У кого своя изба близко — тот домой, ведро, веники в руку да на крышу. Соломенная крыша-то как порох. Чужесельские — те на горке стоят за фабрикой, в огонь-то не больно лезут. Игнат с ними веселешенек, приплясывает, прихлопывает в ладошки, сам с присказкой:

— Летай, летай, петушок, золотистый гребешок, клюй хозяев, выгоняй железных дьяволов!

Откуда ни возьмись — летит к ним Денис Потапыч. Рубаха на нем тлеет, борода и брови опалены, из окна вымахнул.

— Что вы стоите? Постыдитесь, — добра-то сколько пропадает, труд наш гибнет! Берите ведра, багры, тушить надо!

Игнат — цоп за рукав Дениса:

— Пусть горит, чай не наше. Не ходи, сгнинешь!

— Пусти, пустомеля, — тряхнул рукой Денис, сам опять в полымя.

За ним человек с десяток кинулось, самые сорви-головы. Но где же затушить этокое море огненное?

На церковных колокольных сполох бьют. На всех фабричных дворах в колокольца, в лемеха блямкают. Шум, крик. Гремят по колдобинам пожарные бочки, звенят ведра. Люди бегают, мечутся взад-вперед. Светлота, как ясной зарей.

Вдруг закричали на горе:

— За песками Гарелинская принялась!..

— Кузякина светелка горит!..

— На слободу кинуло!..

Засветилось большое село в двадцати местах. Льяные сараи принялись, холщевые амбары, хлебные лавки, соляные лабазы. Бушует огонь и в селе и в посаде. Фабрики горят, фабрикантские дома пылают, и рабочие-то слободки красная метла замечает чисто. Алое заревище небо опоясало. Гибнут в огне и машины, и горшки, и светлицы мастерков.

Стало страшно в этом огненном море Игнату.

Додон с Еремой все еще стоят на горе у Покровского собора, глядят, как у Дормидонки на фабрике с грохотом обваливаются стены, стропила. Ветер так и дерет, так и рвет. Головни, словно огненные стрижи, носятся над улицами. Ерема и

Додон не боится: их-то слобода всех дальше, за оврагом, а светелки почесть на околице.

Оглянулся Додон, а за оврагом-то и погнало огонь по стороне, да прямо на его светлицу. Кинулся он как оглашенный на свою слободу. Прибежал, а к светлице не подступиться. Все четыре верстака в огне. Упал он на лужайку и давай колотиться головой о землю.

— Господи, за что? Опять я голь и нищета!

И у Еремы светлицу смахнуло за каких-нибудь полчаса. Дымом, гарью, почитай на двадцать верст окутало поля, заволокло болота. Посады и слободы прахом и пеплом лежат. На графской земле еще пляшет огненная грива.

Ополоумел Додон Фирстов, взбесился с горя Ерема Кривой, схватили они по березовому колу, припустились на Графскую землю. Бегут, кричат, не помня себя:

— Мы знаем, кто нас разорил!

Со зла, в слепой обиде погорельцы кинулись за ними. Прибегают на Графскую землю. Игнат Полозов как раз тут и крутится, фартуком машет, мол, веселей гуляй огненная волна. Сам еще и распевает:

Негорелая сгорела,
Кто поджег не наше дело,
Хоть бы вся она сгорела,
А кому какое дело...

— Вот он, вот он, разбойник-поджигатель!
Когда тут разбираться? Навалились погорельцы на Игната.

— Я — не я, — только и успел выкрикнуть Игнат.

Подхватили его, метнули в полямья.

Долго горело село. Черные печные трубы торчали меж развалин, как монахи. Многих фабричных так и не нашли после пожара. После суд да дело. Но кого тут винить-то?

Чумазые мальчишки, как дыплята в пыли, роются в пепле, а вдруг, мол, попадется какая ни на есть диковина. На том месте, где сгиб Игнат, два мальчугана, два шпильничка Гришутка да Пашутка стали ковырять золу — сверкнули две блестячки. Подняли. Что за блестячки — не разберут.

Один кричит — золотые, другой — серебряные. И побежали на радостях к отцу с матерью. За сундуком на траве лежит весь в холщевых повязках Денис Потапыч.

Показали шпильнички ему свою находку. Глянул Денис, разгадал.

— Это, ребятки, не золото и не серебро. Это много дороже. Зашейте в фартук себе в грудинку, вырастете, сами узнаете, что это за находка.

Не прошло пяти лет, на пепелище-то взамен деревянных светлиц и старых корпусов хозяева поставили новые кирпич-

ные фабрики. И пошире, и повыше прежних. Но не вернулся из огня золотой век к набойщикам. Пежар расчистил дорогу машинам.

Денис Плетнев после того пожара полгода лежал в повязках. Выдюжил старик. Опять в ситцепечатную пошел на новую фабрику к Дормидонту.

Встретил он все ж таки разок того лесного умельца. Рассказал, что у них недавно случилось в большом фабричном селе. Как Игната кинули в огонь. Кузнец призадумался, отомолвил не скоро.

— Я положил Игнату в грудинку живого светлячка ради блага. Кто ж его в огонь толкнул? Сам попал. Жил, да помер до срока — всего и проку.

Ударил рукодельник молотом о наковальню. Брызнули синие светлячки в разные стороны. Далеко-далеко рассыпались, чуть не по всей земле. Много надо работнику ковать. Много в этот день людей родилось на свет. Для каждого человека нужно высечь негаснущего светлячка, чтобы осветил мастеру в его мастерстве, чтобы постоянно вперед манил человека.

А Денису Потапычу добрый мастер положил под фартук в грудинку нового светлячка на счастье.

ЧЕЛНОК-ЛЕТУНОК

Жил-поживал ткач, звали его Трифоном. Был у него сын Степан, челночник. Стал отец стареть, наказывает своему сыну: — Люби труд. Все, что имеем, трудом рождено. Всякое дело человеком славится.

Вдуматься — так оно и есть в жизни-то.

Одна по лету пошел Степан-челночник в лес по грибы, кстати поглядеть плашек на челноки. Ведрено. Дятлы, ровно каменщики, в красных фартуках, постукивают на осинах.

Комарья уж нет. Паутина по траве стелется, как основа. Ходит Степан по ельнику, по березнику, ломает боровики.

Ходил, ходил и вышел на круглую лужайку, встал и глазам своим не верит. Ходит вокруг кустов девица и напевает. Во всей округе за десять верст знал Степан девок, а такой не видел нигде. Вся ее стать, походка легкая, ни дать, ни взять орлица залетная спустилась на землю. Глядит Степан и кажется ему, будто у ней под легкой накидкой по рукам лебединые крылья сложены, вот-вот поведет крылом, встрепетнется, унесется в лазурь. А о красоте сказать — и слов таких нет. И уйти от такой нет силы. Прямо манит, влечет к себе. Будто сама взмывает ввысь и другого за собой незримым крылом подхватывает.

Очутился Степан с ней рядышком. Сам себе сразу не хозяин стал. Она же, можно сказать, самой светлой души человек. Разговоры душевные повела с молодым челночником. И о себе прямо поведала:

— Живу я, — говорит, — поболее тысячи лет, никогда не стареюсь, никогда смерти не представляюсь, хоть и охотится она давно за мной.

Родилась-то она будто в поле, крестилась в море, росла за ткацким станком, а живет под каждой крышей, где только стук челнока услышит — туда и летит. Ни птица, ни ветер не угонятся за ней.

И все ж таки жить ей на земле не больно сладко. А без земли да без людей ей и дня единого не продневать. Заступников у нее много, но и лиходеев немало. Но всех пуще опасается она попасть в услужение к сварливой злодейке. Была она на побегушках у этой злой старухи, а нажила только худую славу да горе себе за то, что ослушалась своей хозяйки и слезала без спроса туда, куда ни один царь не властен даже ходить, а она, дерзкая, там разгуливала, возвратилась и обо всем, что там увидела, людям рассказала, души навеки взбудоражила.

Вот за это и возненавидела ее лиходейка. Схватила она красавицу, заточила в подземелье, не давала ей ни воды, ни хлеба. Но не умерла красавица. Тогда завистница, в жизни ее помеха, бросила ее на костер. Но из огня красавица вышла еще краше. Решила тогда ненавистница выжечь ей глаза каленым железом. Но не ослепла красавица, еще зорче стали ее глаза.

Сдохнулась лихая старуха: зачем-де я так неласково обошлась с ней? Не лучше ли ее задобрить да приручить? Тогда красавица перестанет тревожить людей своими рассуждами.

Так богачка и сделала. Бриллианты, самоцветы, камни-изюбки рассыпала у ее ног. Но не польстилась красавица на золото и мишуру. И жила не так, как завистнице бы хотелось, а как сама она желала. Тогда объявила лиходейка смертное гонение на красавицу. И вот с той поры все тащится и не может догнать непокорную. Назвала она красавицу молнией летучей, а красавица старую неповоротливую нарекла Дремовной.

— Кто же ты такая есть, дозвожь узнать? — спросил ткач.

— А вот я кто...

С этими словами, словно широким крылом, подхватила она Степана и, не успел он моргнуть, перенесла в великое небывалое государство.

— Кто же ты есть? Как тебя звать-величать? — опять спрашивает Степан попугачицу на неведомой земле.

— Я дочь бедных родителей, но богаче меня никого в мире нет, не было и не будет! Посмотри-ка!

Сорвала она под зеленым кустом белую ромашку, дунула на нее, во все стороны порхнули белые лепестки, — сердечко цветка упало к ногам красавицы. Где упало оно, высокая гора выросла, где упали лепестки — улицы поднялись с большими домами, дворцы с высокими окнами. О таких городах и в сказке не слышано. По улицам ручьи журчат, над ручьями сады шумят, экипажи сами катятся. Что за заводы, что за фабрики! В каждом окне сияет солнце. Люди-то идут на фабрику с песнями, у станков стоят — цветут улыбками.

— Как же ты нажила столько добра? — интересно Степану.

— Наживала я это добро вместе с рабочим людом, с ткачами, с кузнецами, с плотниками, с пахарями-оратаями, со всеми добрыми работниками. Мозолистые руки труд любят. У рабочих людей думы светлые. Я им верная слуга: думы, мысли им приношу.

— А что это за город такой? Чьи это фабрики? — Степан спрашивает.

— Тут есть свои рассказчики, к ним и наведемся...

Подняла красавица с травы паутинку, дохнула на нее — стала паутинка серебряной пряжинкой, что доброта, что тонина, на каком же веретене эта нить спрядена, из какой кудели?

— Ты мать моя, а я дочь твоя, что ты хочешь, все тебе и твоему другу поведаю, — заиграла услужливо говорливой струной светлая пряжинка.

— Покажи ты нам, как здесь люди живут, каков в этом городе почет мастерам, — просит красавица.

— Сейчас, матушка. Здесь много дорог. Я совьюсь в клубок, покачусь, доведу я вас до высоких ворот.

По просторной площади, по широкой улице, по зеленым аллеям, по тенистым садам, под светлыми окнами покатились серебряный клубок. На самом высоком золотом шпиле — словно мак цветет — в солнечных лучах кумачевое полотнище. Лавки, магазины, вывески все новые, незнакомые Степану. В лавках дивные товары, богатые. Но сколько ни шли за клубком по городу, не заметили ни одного купеческого лабаза.

Докатился клубок до высоких ворот. Распахнулись ворота. На фабричном дворе, как в саду, цветы цветут, шумят деревья. По железным колеям в одни ворота сами катятся воза с пряжей, из других ворот — выезжают воза с расписными ситцами, с тонкими тканями. Но хозяйской конторы, как у Степана на фабрике, и признака нет.

Вошли в светлый цех, в небывалый, солнечный. Высота,

светлота, чистота — как в палате. Просторен цех, словно улица, стоит чуть не на трех верстах, на тысяче столбах. А машины-то какие! Никогда не видывал их Степан.

Дивно Степану: людей не видно, сами машины ткут, на одной же машине челнок не только ткёт, но и добрые разговоры ведёт. Подкатился светлый клубок под самый лучший станок и просит:

— Родной браток челнок-летунок, к нам мать пришла, с собой гостя привела. Принимай, рассказывай!

Из челночной коробки чеканный челнок вылетел и прямо в теплые ладони к красавице:

— Здравствуй, мать родна, ты опять не одна?

— Я опять пытливого мастера встретила, к нам привела.

Красавица даёт Степану подержать челнок-летунок, полюбоваться. Взял Степан небывалый челнок и слышит:

— Тепло мне от этих рук. Таким рукам я тоже друг. Таких рукам я служить бы стал, сам бы ткал! Сам бы людям все, что знаю, за сто лет вперед рассказал.

Сказал и перелетел в руки к красавице.

— Скажи, челнок, кто теперь на фабрике за хозяина?

— За хозяина у нас весь народ. Фабрикой правит ткача Трифона сын, а про старого хозяина-купца здесь давно забыли.

Покатился серебряный клубок дальше. У решетки витой остановился. За решеточкой фонтан брызжет, в брызгах-то сияет переливная радуга. Под фонтаном тешатся детишки. Много их, все маленькие, нарядные, румяные.

— По одежде сужу, чай, богатых все родителей? — Степан спросил. Сам-то он у ткацкого станка родился, на початках вырос.

— Да, богатых они родителей. И сами не бедны. Все, что на земле растёт, цветёт, все, что построено, все отцы с матерью откажут им в наследство. Эта вот — дочка ткачихи, этот вот — сын сновалы. И остальные-то все таких же родителей.

Тут над головой будто вихрь пролетел, светлые крылья пронесли и опустились на лугу.

— Кто это и откуда?

— Это наши люди летали в другой город. Часу не прошло, а уж прилетели обратно.

Серебряный клубок катится да катится.

Бросила красавица клубок в синее озеро. Поднялись белые туманы, опустились на поляны. Солнце всходило, туманы к земле приникли. И увидел Степан обновленные родные места. Будто небо-то прежнее, а что на земле и не узнать. И грязного города не видно. Все другое, незнакомое.

— Что это за край? — интересуется Степан.

— Здесь люди не только своей жизни хозяева, но земля и ветер, и лазурь небесная им послушны.

Вышел Большой человек, красоты необычайной. На высокую гору повел рукой — сама гора с места сдвинулась на сто верст. Он махнул другой рукой — где гора была, синее море хлынуло на то место. Поднял руку человек, остановилось солнце над зыбучим болотом, над промозглым краем. Где богульник, белоус да кислица росли — расцвели сады!

Глянул Большой человек в синь, в зной, в полуденную сторону. Желтое море мертвое перед ним. Пески горячие, ни травинки нигде, ни ручейка. И давно-давно не падала капля дождя. Стосковалась земля по воде, по зеленой одежде.

Куда глянул человек — туда тучи поплыли со всех краев, со всех небес, ото всех морей. Проливные дожди прошли, пропели над пустыней звонкие ливни. Оделась земля густыми садами, гучными нивами. Улыбнулась широким лицом солнцу. Большому человеку поклонились сады и нивы.

Слышит Степан, Большой человек разговаривает с морями, с океанами, с горами, с солнцем, со звездами. И все Большого человека слышат, ему покорно служат.

Опоясала стан красавица серебряной ниткой, и там, где только что стоял Большой красивый человек, очутился Степан. Стал он ростом с того Большого человека и красотой ему не уступит. И видит Степан: не звезды над ним, а земли неведомые, а на тех землях шумят — видно Степану с горы — дремучие леса, океаны катят свои волны. Ждет неведомая земля трудовых рук.

Позвала на себя серебряную нитку красавица — клубок из озера выкатился. Упали туманы, рассеялись. Исчезло все, что видел Степан.

— А начинается все великое с малого, — сказала красавица, кивнула на челнок, — всякое дело человеком ставится, человеком славится.

Узнал Степан, какой надо корень найти в лесу, чтобы выточить челнок. И пусть он сначала полежит в темноте, посидит в духоте, подымеется на высоту, увидит светлоту. А сердце его в земле, в самой глубине.

За один короткий миг Степан столько всего повидал, что все это не обдумать за целую жизнь. Молнией сверкнуло перед ткачом все это, как видение.

Снова опустилось легкое крыло, стала торопиться красавица:

— Мне ведь надо еще у многих побывать, многим души отогреть. У каждого человека я хоть один раз в жизни, но бываю желанным гостем. А кто со мной подружил, тот никогда спокоен не станет. Я сею в людские сердца счастье и беспокойство. Я всем добра и счастья желаю. Прощай, Степан! Только берегись старой неповоротливой: злая она,

посидит в духоте. После темной духоты поднял его на высоту-светлоту — на крышу, сушиться под солнцем.

Стал корень и прочен, и легок, и тверд, как кость. Любо его подержать в руке, брызжет белыми опилками на токарном станке. Добился ткач, славный челнок выточил на этот раз.

Но еще не все. Стал думать, где же та глубина, о которой Мечта Сказовна говорит? Смекнул: железо-то ведь копают в земле, на самой глубине. Отлил Степан стальное сердечко челноку. И опять челнок — на токарный станок. Вертит, точит. А челнок словно налим, так и наровит из рук вынырнуть. А за окошком чей-то поганый нос, словно утиный, показался и голос раздался:

— Недолго твоя мечта у тебя нагостит, так сделано, что за семь морей улетит.

Не Дремовна ли прибрела?

Наконец-то удалось Степану разгадать, да уладить все до последней тонкости.

И тогда-то сам с токарного станка нырнул челнок в станину. Начал челнок-летунок сам летать, за десятерых ткать, только успевай подавать шпули.

Как тут мастеру не помолодеть, не запеть?

Ой, спасибо тебе, Мечта Сказовна, ты меня всему надоумила, силы-стойкости мне прибавила! Прилетела бы хоть на часок, поглядела бы на мой челночек.

Чтобы Степану-то не было скучно, стал челнок-летунок потешать его товарищей-ткачей небылицами, веселыми присловьями да присказками.

Вот на первый раз, на веселый час и завел челнок:

Около Пучежа-то лен —
Коренаст и длинен.
Посылала Степу мать
Тот зеленый лен таскать.
Он таскать-то не таскал,
Все с Дуняшей простоял.
Ох, ты, Дунюшка-краса,
Шелкова твоя коса!
Постояли, обнялись,
Вместе дергать лен взялась
Как таскают — *любота!*
А как вяжут — *красота!*
Ох, ты, Дунюшка-краса,
Глянь-ка: вся уж полоса!

На второй-то раз, на веселый час про другое сказывает челнок-летунок:

Поднимались темно,
Лен возили на гумно.
Колотил наш Степа лен,
Расстилал наш Степа лен,
Подымал наш Степа лен,

Как сушил наш Степа лен,
В мялке мял наш Степа лен,
Делал Степа, строил снасть,
Принималась Дуня прясть.
Ты свети, свети, луна,
Степа с Дуней у окна.
Веретенце-то поет,
Ах, добро Дуня прядет,
Словно сорок веретен,
Весь попряда Дуня лен.

На третий раз, на веселый час третья радость:

Как садился Степа ткать
Раным рано,
Вышла Дуня холст катать
На поляну.
Весь-то бельник устлала
В день Дуняша,
Вся белым, белым бела
Горка наша.
Не белы снежки летят,
Не туманы,
За селом холсты белят
На курганах.
Полоскала полотно
Дуня в речке,
Кипятила полотно
В жаркой печке.
Слышат: купчик на селе —
По товары,
Он объехал на земле
Все базары.
«Ах, заморские шелка —
Загляденье!
Вам таковских не соткать,
Нет сомненья».
Степа рядышком стоял,
Молча слушал.
Гость заморский врал да врал
В полну душу.
Вот Степаша под окно
Дуню просит.
Тут Дуняша полотно
И выносит.
Гость в товарах знает толк —
Хвать за штуку.
«Вот он наш заморский шелк, —
Вам наука!»
Полно, зря не говори,
Сами пряжи.
До малиновой зари
Сами ткали.
Это вовсе не шелка,
А полотно,
Их умелая рука
Соткала добротню.

Каждый день челнок-летунок порадует чем-нибудь ткачей.
Поэтому ткачу и труд — в утеху. Но больше славит челнок-летунок Степана.

Как говорится, шила в мешке не утаишь. Мало-помалу купцы, тузы — мануфактурщики не только свои, а и заморские проведали, что живет в России в Ивановском селе челночник Степан и есть у него челнок-летунок, ткет за десятерых, а рассказывает на всю мануфактуру. Купцам сказки-то не очень нужны, но дивный челнок прибрать они рады с полным удовольствием.

И пошли купцы один за другим славить челночника. Каких только купцов ни побывало у Степана за год. Были и немцы, и мистеры, и сэры. Даже один будто из Китая отыскал дорогу в село Иваново. Да всем у Степана ответ короток. Как ни увивались, ничего не получили.

И вот однажды по зиме забрел на мануфактуру, где работал Степан, мастеровой, назвался челночником. Просится на зиму ради корки хлеба в челночную.

Порядил этого человека хозяин и положил недорого, а мурьи не дал, живи, где хошь. А время-то — крещенские морозы. Не пропадать же мастеровому. Степан приютил его у себя в избенке. Хоть и тесно, да ведь в тесноте не в обиде. И копейки не выговорил Степан за житье с ночлежника. Живи на здоровье, как в своем дому. Правда, Степан с отцом-стариком посоветовался. Тот говорит:

— Жить-то ему у нас не полюбится, в избе больно тесно, ягнята под шестком, в клетке теленок, и печь-то по черному топится. Он ведь, рассказывают, у московских жил.

А тот больно уж радешенек, хоть с ягнятами в хлевке готов ночевать, только бы потеплее.

— Мне бы зиму прозимовать, я ради одного хлеба останусь.

Назвался этот пришелец не то Фогелевым, не то Могилевым, а прозвали-то его здесь просто — жилец да жилец, и остался он зимовать у Степана. А работал в челночной.

Когда пришьелца нет в избе, старик, бывало, скажет Степану:

— Что за человек живет у нас! Что вежлив, что почтителен, кажись, последнюю рубашку с себя снимет, только бы другому уважить.

Это правда: любил жилец подушевичать в досужий час. Примется рассказывать, где жил, да кому служил, какие города видел. До вторых петухов рассказывает, есть что послушать. В челночной точит челноки, да шуточки-прибауточки сыплет, купцов поругивает, мастеров хвалит. И Степану пришелся по характеру захожий челночник.

У Степана на ту зиму спор большой вышел с хозяином. Наточил он новых челноков хозяину, говорит: мол, пора старые-то снасти выбросить в Увody, давай ставить новые. А мануфактурщик ему на это:

— Погоди, надо подумать, погадать, еще ничего не вид-

Но, может, новые снасти будут хуже старых. Соседи-то старыми челноками ткут. Как люди, так и мы.

Обидел горько Степана. Бросил Степан челноки-летунки в коробе. За что только человек маялся, покоя не знал?

— Плохо, плохо твое дело, Степан, дурак твой хозяин, — жилец говаривал Степану.

Зиму прожил жилец, да еще лето. На вторую зиму собрался уходить. Степану свой картуз подарил, отцу — старику Трифону кафтан и опояску, матери Степана кубовую шаль купил, да еще дал по двугривенному. Себе на память попросил челнок-летунок.

— Век вас не забуду, — говорил гость на прощанье.

— Добром так вспомни, а злом так полно, — ответил старик.

До околицы провожал жильца Степан, указал ему тракт до Сидоровского села на Волгу. Степан домой, а челночник своей дорогой. Навстречу ему и бредет с перекатной сумой за плечами старая завистница с утиным носом. Как брат с сестрой они встретились. Два худосочных, два невозможных, две продувные шельмы.

— Ну как, верный путь я тебе указала. Не трудился, а челнок-то в твоих руках очутился. Русские мастера меня не уважают, зато ты уважил. Вот тебе награда. Теперь эта Сказовна не поможет Степану.

На Волге сел жилец на пароход, поплыл в Петербург. Там у него жили какие-то богатые заступники. А может и не заступники вовсе. Ну, ушел и ушел. Мало ли в те поры мастерового люда скиталось по земле, всяк искал себе счастья.

— Эх, Мечта Сказовна, скажи, присоветуй, — тужит Степан, — что делать мне? Боится мануфактурщик новых челноков. Заронила ты искорку счастливую, да мало счастья принесла она мне. Не о золоте, серебре прошу, своим ответом душу мне хозяин заморозил.

Достал Степан челнок-летунок, а челнок и шепчет голосом, который никогда не забыть челночнику. Этот голос он впервые услышал, когда встретился с Мечтой Сказовной:

— По высоким горам, по глубоким морям твое счастье скачет! Скачет, горько плачет!

На другой день тот же сказ у челнока:

— На чужой стороне жгут твое счастье, калят на огне, купают в воде, нет ему места нигде. Твое счастье скачет, горько плачет.

А на третий раз веселее заговорил челнок-летунок:

— Твое счастье молотами бьют, обратно везут. Волны в чужом море плещут, ветер злится. Твое счастье скачет, скачет веселится!

Тут вскорости приезжают на базар московские купцы и везут новую хозяйну привозят:

— Что вы тут какими челноками ткете? Вон за морем-то до чего дошли.

И вот пошли расхваливать привозные челноки-летунки. За десятерых, мол, один такой челнок ткет.

Стал хозяин смеяться над Степаном, вот, мол, ты мудрил, мудрил и ничего из твоей затеи не вышло, а в Петербурге свою торговлю челноками открыла контора Фогеля-Могеля.

И закупил мануфактурщик, глядя на соседей, тех челноков долю немалую. Стали челноки-то ставить, ан не больно они летают, что-то заминает. Хозяин зовет своего челночника Степана.

Пришел Степан, около новых станков заморский мастер по челнокам-летункам мается, конторой прислан. Уж он и так и эдак, не слушается его челнок да и на тебе. И то говори спасибо, хоть смирно в руке-то лежит. Но как только появился Степан, тут и взыграл челнок-летунок, то в лоб, то в нос щелкает заморского. Завертелся волчком, от станка кувырком этот мастер, а челнок и пошел поддавать ему по спине, по загривку. А народику-то много сбежалось.

— Ха, ха, не берись за то, чего не можешь!

Сунулся хозяин, и ему шишку на лбу посадил челнок: не встречай за кого не след. Чужой мастер хотел было наступить на челнок, а челнок не простак — взлетел да прямо в глаз ему и угодил.

Тут Степан спокойно взял челнок-летунок. Заговорил челнок-летунок, тем приветливым знакомым голосом:

— Здесь я родился, в чужой земле — в неволе крестился, снова к своему хозяину пришел в теплую руку!

Славились челноки-летунки на ткацких. Тут все поняли, что Степан знаменитый челночник.

Степанов челнок-светлый бок и ткал, и небылицами всех забавлял. От него знать и пошли все веселые историйки по нашим ткацким. Но при царе да фабриканте все-таки и челнок не принес ткачам радостной жизни. Принесла нам счастье Октябрьская революция.

ОГЮЛЬДЖАН-ШЕЛКОВАЯ БОСА

Кажется не гудели, а веселую песню приветственно пели фабричные гудки в Иваново-Вознесенске, в Шуе, Костроме, в Кохме, в Кинешме, в Наволоках в то памятное раннее утро семнадцатого года. Катился их могучий зык далеко, далеко за железный уральский кряж, до Белого моря ледяного и до Черного моря. Услышали их в той, особенно дорогой сердцу ткачей, солнечной, ясной стороне, где на полях просторных растет, зреет белое золото, хлопок расцветает розовой пеной.

Так-то весело никогда не пели гудки в нашей истари промышленной пролетарской стороне. Потому они так громко, гулко раскатывались: прилетела к нам долгожданная весть из Москвы, телеграф ее принес — в Петрограде огненные и навсегда установлена советская власть.

Вот об этом-то и возвещали дружные фабричные гудки, чтобы во всех краях нашей земли люди трудовые услышали, чтобы скорее пробуждались, собирались с силами, становились с нами в один могучий ряд. Не напрасно возвещали гудки, слышали их голос и в той стороне, где растет хлопок. Стали крестьяне-хлопкоробы думать, пора и нам по примеру русских братьев стряхнуть со своих плеч вековых притеснителей, тунеядцев, всяческих баев, биев, манапов, тамошних князьков, кулаков.

Но эти кровососы мирские пока что крепко держали железную узду кабалы в своих руках и сползать с чужой спины не собирались доброй волей.

Заветные горячие думы думали загорелые хлопкоробы: вот пришли бы к нам на подмогу русские братья, вместе с ними свалили бы мы в яму всех тех, кто носил лисью шубу и пророчил неминуемую гибель беднякам.

Заветные горячие думы обездоленных хлопкоробов всех лучше во всей их глубине знал товарищ Ленин. Близко к сердцу лежали они. Послал он на помощь беднякам в тот солнечный край большую силу — советскую армию. Вести в поход ту славную армию приказал товарищу Фрунзе.

По зиме восемнадцатого года вместе с Михаилом Васильевичем Фрунзе уезжал не мал не велик отряд ткачей тысячи в две штыков. Ехали ткачи, верные зову Ленина, вызволять из страшной кабалы-неволи прилежных тружеников, без которых прядильница не спрядет пряжи и единого мотка. Ехали ткачи распахнуть ворота к славному белому туркестанскому хлопку.

Посчастливилось ткачу Артемию Агапову быть за взводного в том рабочем неунынном отряде. Да и сам Артемий не любил тужить, не пугался никакой беды, не отступал ни перед какой трудностью, за правое дело всегда готов хоть в огонь, хоть в воду. А быть в отряде Фрунзе да еще и за взводного — это не малая честь. Плотный мужичок Артемий. Ростом не особо высок, зато широко взял в плечах.

Прямо с фабрики прибежал Артемий к себе домой захавшись, до поезда каких-нибудь два часа осталось, наспех собирает в холщевый мешочек дорожный приклад, солдатское походное добро: пару белья, кружку, ложку, котелок да сухарей немножко.

Жена прослезилась, подает ему на дорогу белый клубок ниток. И нитка солдату нужна: случится пуговку пришить, да мало ли что... Около отца вертится дочурка — черноглазая

Валя, годов шести, не больше, а лицо у нее — ну точь-в-точь, отцовский портрет.

— Тятя, куда ты собираешься?

— Во путь-поход, во дороженьку, доченька!

— А клубок тоже во дороженьку?

— Тоже, доченька! Он покатится, а я за ним пойду, будет мне все, что надо, указывать.

— Чего же он будет указывать?

— Будет он указывать, как ближе пройти, чтобы скорее найти, вот такую же, как ты, невеличку-девочку, лиходеями обиженную. Девочка та горько плачет, ждет, кто же придет и выручит ее. Если я не пойду туда, то девочка может погибнуть. От нее есть у меня слезная просьба. В клубок завернута. Грамотка такая, а на ней все беды той несчастной девочки написаны...

Дочурка больно любопытная, так и виснет на руках у отца, мешает ему сумку собирать. У самого у Артемия тоже на сердце тревожно; и чужую-то дочь надо выручать и свою родную нивесть на сколько приходится покидать.

— Тогда я отпущу тебя на один часик, когда ты мне скажешь, кто обидел ту девочку.

— Скажу, доченька, обязательно скажу, даже и письмо ее покажу, только ты сначала отпусти меня.

Жена отвернулась, глаза утирает. Поднял Валеньку до потолка, поцеловал в шелковую челочку.

— Ну, дочка, расти большая, мамку слушайся! Я скоро, я только на один часик...

Шапку с гвоздя, мешок за плечи; на щеке слеза, смахнул ее за дверью варежкой — и на вокзал, там отряд ждет.

Долгим отцовский часик показался Вале. Ушел да и не возвращается, знать забыл про уговор. Валентинка четыре года отца со дня на день поджидала, в третий класс пошла, а белый клубок обратно не катится и отца не ведет за собой.

Вот раз морозным зимним вечером вбегает домой Валентинка с книжками, а на столе солдатская сумка, отец умывается за переборкой. У дочери радость: наконец-то кончился условленный один часик. Целовал ее отец и в глаза и в щеки, обнимал, на руках поднимал, как она учится, спрашивал. Пока отец закуривал, Валентинка заглянула в солдатскую сумку. Невелики подарки от солдата, но дороже всех подарков увидела она в сумке белый клубок-поводырь.

— Папаня, я его размотаю!

— Зачем?

— А ты забыл? Где письмо от этой девочки? Ты его нашел?

— Конечно. Если бы не нашел, то и сейчас бы искал.

Валя распустила клубок, а в клубке скомкана грамотка.

В тот вечер к старому серебряному фабричному мотку

прибавилась еще одна золотая куфта, принес ее на свою сторону из далекого солнечного края ткач Артемий Агапов. После чая отец отдыхал на диване, трубочкой дымил, а Валя сидела рядом и все слушала, куда ее отец ходил, кого выручал.

...Далеко отсюда, в Ферганской долине зеленой, широкой стоит город Ош. Пойдешь за белым клубком, хоть и не в день, не в два, но дойдешь. Тамошние старики рассказывают, что это самый старейший город на земле. Да не в том секрет. Водил меня клубок не годы городам считать.

Неподалече от того старого Оша, у быстрого горного ручья, стоит кишлак, поселенье такое. Маленькие домики, а крыши на тех домиках плоские, хоть шар гоняй по крыше.

На улицах теснота. Дом к дому прилеплен, словно бояться отойти один от другого. Ну, так уж там повелось. Около маленького домика есть и маленький дворик. На таком дворе и место только собачьей конуре. Зато есть там большая приятность: люди с зеленью в большой дружбе.

Идешь к двору, как в сад. Со всех сторон деревья. Да какие славные. Жалко нет у нас таких. Тутовые деревья. Растут на них не яблоки, не ягоды сладкие, одаривают они людей шелковыми рубашками. Конечно, и на тутовом дереве сама не вырастет шелковая рубашка, сама не упадет тебе в руки, нужно уметь ее снять с того дерева.

Кто работы не боится, тот и шелковую рубашку снимет. Но в дом войдешь, не возрадуешься: темно и тесно в таком домике. Так же, как в старой лачуге ивановского ткача: ни света, ни воздуха.

Катился, катился мой белый клубок, у забора под тутовым деревом остановился, дальше не хочет катиться. Наказывает мне: «Слышу стан стучит, слышу челнок гремит, где-то здесь добрая мастерица ткет, что она ни наткет, все у нее жадный хозяин себе берет. В горе она живет, нас давно поджидает».

Вот и гляжу я по сторонам, что здесь за народ и как жизнь идет.

На горе, поодаль от маленьких домиков, будто брезгует встать с ними в ряд, в большом саду раскинулся на полверсты байский двор. Двор киргизского кулака. Стены его дома белым-белы, цветами расписаны, не только в саду, но и на крыше красный мак цветет. В доме бая и свету и воздуху много.

Против белого дома за ручьем притулился к самой горе дом бедняка киргиза Тиракула. Жил он бедно. Жена его Сурахан и он сам всю жизнь тем и занимались, что выводили шелковичных червей, мотали шелк, продавали его баю.

Кривенькая дорожка до белого дома — не дождем была полита, а слезами бедняков.

Сколько шелковичных червячков за свою жизнь отогрела

под пазухой теплом своего сердца старательная Сурахан, и не сосчитать! Рассыпать бы их всех по небу — нехватило бы неба. Взрастила она червячков больше, чем звезд в ясную ночь. Сколько шелку она намотала, кажется всем бы людям на земле по шелковому платью досталось и самой бы осталось. Но у Сурахан и лоскуточка шелкового не было в деревянном сундучке. Ходила она не лучше нищей.

Но такой знатной шелковицы и старики не помнят. Да не выпал на ее долю тот счастливый мешочек с греной.

Однажды красным пояском опоясался месяц над кишлаком. Вышел старый, седой бакши к белому камню над ручьем и сказал:

— Не зря так нарядился месяц. Встречает он или нового богатыря или чудесную красавицу.

В эту ночь Сурахан родила дочку Огюльджан. Такой красавицы дотоль еще не видывала Ферганская долина. Все соседи один за другим приходили в маленький домик к Тиракулу и Сурахан и поздравляли их с дочерью. Приходил поздравить Тиракула и самый лучший его друг, славный человек, русский рабочий, борец за народную правду, сосланный царем в дальние края.

— Вот тебе и помощница, Тиракул!

— Жаль будет такую красавицу томить за гренками.

— Вырастет Огюльджан — и лучший батыр придет к вам просить ее руки.

Так говорили соседи, клали роженице незатейливые подарки на постель и уходили за свое дело — промыслять червей. Надо торопиться, придет зима и шелковичных червей не будет. А на что же тогда будет купить хлеба? Где взять денег? И без того весь кишлак в долгу у бая, манапа и бия. Больше итти за деньгами не к кому.

Сурахан и говорит мужу:

— Теперь у нас родилась помощница, сходи к баю попроси у него денег, купим свой мотальный станок, дома будем разматывать шелк. Мне надоело стоять над вонючим хозяйским запарным чаном. Ночи напролет будем работать, отработаем долг, но за то у нас будет свой мотальный станок.

Не советовал сосланный русский рабочий бедняку Тиракулу связываться с богатеями. Все равно обманут. Но Тиракул послушался жены.

Надел свой пестрый халат, баранью шапку, пошел к баю в дом с расписными узорчатыми стенами. У бая в гостях сидели бий и манап. Тиракул упал баю в ноги и не смел поднять головы.

— На что тебе понадобились деньги? — спросил бай.

— Нужны они мне по хозяйству. Мы всей семьей свой долг отработаем.

— Что же, денег я тебе дам. А вернешь ты мне столько и еще полстолька, да четверть столька. И жена твоя будет мотать шелк в моей мотальне столько лет, сколько я тебе монет бросил. Вот свидетели, — указал он на гостей.

И швырнул Тиракулу под ноги горсть серебра. Собрал Тиракул деньги с пола и все еще стоял на коленях перед баем, не смел поднять головы.

— Я слышал, что у тебя родилась дочь?

— Да, родилась.

— За это она в колыбели выведет мне столько мешочков червей, сколько грошей в этих деньгах, что я тебе дал. Вот свидетели, — указал бай на своих гостей.

Верная кабала Тиракулу, но и отказаться он не посмел. Не прогневить бы бая, тогда совсем сживет со света, отнимет и жену и дочь, и самого загонит в могилу. Поклонился Тиракул, молча вышел за порог.

Бий сказал баю с насмешкой:

— Ты добр, как русский, щедр, как индийский гость, и слеп, как сова на солнце. Тиракул храбр, как лев, хитер, как лиса, он тебя обманул.

Бай вскочил с ковра:

— Что ты сказал, бий?

— Да, да, Тиракул, я слышал от бакши, хочет покупать свой мотальный станок. И тогда Сурахан не придет к твоим запарочным чанам, а их красавица Огюльджан будет выводить в колыбели шелковичных червей не для тебя.

Две бараньих головы не поместятся в одном котле, а два мотальных станка в одном кишлаке. Бий все знает.

— Это правда, — проворчал манап с жиденькой рыжей бородой.

Тогда сказал разгневанный бай:

— Ты, бий, жаден, как шакал, увертлив, как змея, учен, как фарисей, в законах ты можешь запутать самого царя Соломона. Верни мне деньги, что я дал Тиракулу, получишь из них третью долю.

Бий тоже встал с ковра и намотал на голову белую шелковую чалму, ту же запахнул шелковый разноцветный халат:

— Скорее беркут, вместо лиса, упадет грудью на камень, чем бий ошибется в своих законах.

Кто не знал бия в кишлаке! Даже сам бай прямо сказал гостю об этом:

— Если бы ты собаку положил на золотое блюдо, она соскочила бы с него, едва увидев кусок мяса, как соскочил бы бий с моего ковра.

— Не успеет народиться новый месяц, как деньги Тиракул переложит из своей горсти в мой карман, — ответил бий. — Пойдем, манап, ты старшина, ты мне нужен.

Бий, как коршун, увидел добычу и приготовился вцепиться в нее.

Бий и манап ушли.

Водка, сваренная на кумысе, придала им храбрости. Они вышли на тропинку, по которой Сурахан ходила за водой к чистому ручью.

— Где клевал ворон, там коршуну взять нечего, но ты, манап, получишь свою долю, — шепнул бий.

Сурахан вышла с кувшином за водой к ручью. Этого-то и ждали пьяный бий и манап. У Сурахан свешивался на лоб чавчан, из-под него она ничего не видела. Да и знала, что этой тропинкой никогда мужчины не ходили, тем более, которые у власти. Ну пойдут ли за водой бий или манап? Для этого у них есть батраки.

Сурахан шла и думала: где же взять денег, чтобы купить маленькой Огюльджан платье?

Рядом с ней вырос манап и закричал:

— Как ты смеешь переходить дорогу старейшему? Я манап, а ты кто? Нищая! Вот и свидетель есть...

Испугалась Сурахан, уж не померещилось ли, не послышалось ли? Откуда взялся на этой тропинке манапу? Она чуть приподняла чавчан.

— Ах так, ты еще глядишь на представителя власти, бесстыдная! Кто тебе дал право глядеть на меня? Вот свидетель...

Перепугалась Сурахан, а уж манап созывал свидетелей из соседних домишек.

В горьких слезах вернулась домой Сурахан. Рассказала о своем несчастье мужу. Приздумался смелый Тиракул. Бий да манап — хозяева, а Тиракул — раб.

— Кто же спасет нас от притеснителей? — спрашивал Тиракул вечером ссыльного русского рабочего. Отвечал ему русский рабочий:

— Только сами себя мы можем спасти. Все будем свободны и счастливы, когда сбросим со своих плеч угнетателей.

Не прошло и недели. Тащат Тиракула на суд к бию. Зато, что перешла Сурахан дорогу манапу, решили взыскать с Тиракула ровно столько, сколько ему дал бай. И тут же — подай денежки.

— Нет у меня денег про вас, — отвечает Тиракул.

— А занимал? Мы свидетели. Куда ты их дел?

— Истратил.

— У тебя дочка красавица. Продай ее. Такую купят.

Плюнул им в козлиные бороды Тиракул и больше разговаривать не стал. Бросили его в каменный сарай. Сидит он неделю, две. Бий и манап деньги требуют. Тиракул не дает. А бий смеется:

— Дашь — возьмем и не дашь — возьмем!

Принесла Сурахан деньги, бросила их бию:

— На, возьми!

Выпустили Тиракула.

— Пропади он пропадом мотальный станок, — говорит Сурахан, — человек дороже денег.

Соседи пришли погоревать вместе с Тиракулом. Бакши советует подать на бия жалобу. Тиракул рукой махнул:

— А кто он, высший начальник над бием? Манапский сын. Не зря мне отец говорил: если манапский сын представит из себя мост — не переходи через него, коли хочешь жить. С жалобой и последнего домишки лишишься. В суде как судят? Одна собака приказывает другой, а та приказывает своему хвосту и успокаивается.

— Правильно сказал Тиракул! — согласился с ним русский рабочий, который в тот час сидел у Тиракула.

Бакши почесывает в затылке:

— Да, Тиракул, ты богато живешь, а я богаче тебя. Ах, если бы у меня были пшено да соль, то я сварил бы кашу, да жаль нет масла. Хотел разостлать скатерть и лужайку облюбовал, да жаль никто не зовет меня в гости. Я твой друг, Тиракул!

— Ну, друг так друг. Дружба не вражда — не опостылет никогда.

Бай тем временем получил деньги, а с Тиракула требует долг:

— Мне до того дела нет, что судом их отняли у тебя.

Пришлось Сурахан снова итти на поклон к баю, долг отрабатывать. С зари до зари стоит Сурахан со своими соседками у бая в запарочной над вонючими чанами. В чанах коконы запариваются. Шарит палочкой в чане, ловит концы нитей. Подымает шелковую ниточку, наматывает ее на колесо. Так изо дня в день, всю жизнь глядела Сурахан в чан, так и не увидела своего счастья. Ни один золотой кокон не попал ей в горсть.

А долг с каждым годом все растет да растет.

— Так и умрешь у чана, — не раз хозяин кричал на Сурахан.

У нее за пазухой — мешочки с греной и под мышками тоже мешочки.

Дома Огюльджан лежит в колыбели. В ее постельке тепло. Вся постель мешочками с гренами обложена, чтобы скорее черви выводились. С каждым лишним червем — лишняя шелковая нить. И под спину, и подмышки Огюльджан навязала мать этих мешочков.

Так и росла Огюльджан. Лишний раз повернуться ей не дают, чтобы мешочки не застудить, не потревожить червей. Какое уж тут детство!

На ноги встала и того хуже. Где бы порезвиться, побегать,

а ее мать посадит к оконцу, за пазуху мешочков с греной повесит, прикажет:

— У меня не бегай на улицу. Сиди смирно, гляди в оконце. Выбежишь на улицу, тебя бай схватит, в неволю продаст.

Уйдет мать на заварку, а послушливая Огюльджан сидит у оконца, слышит, как за пазухой черви шевелятся в мешочках, шелковую ниточку прядут. Скучно Огюльджан. Разговаривает она с шелкопрядами:

— Хоть бы спряли вы мне на счастье серебряную или золотую ниточку.

А шелкопряды только шевелятся и ничего не отвечают.

Дома никого нет, отец на осле уехал в поле.

В углу на шестине в черном кожаном колпачке сидит белорудый беркут — бородач. Дремлет. Ждет, когда Тиракул наденет кожаную рукавицу, посадит его на руку и поедет с ним охотиться в горы на огненных лисиц. Снимет с бородача кожаный колпачок — вот тогда-то ему вольная воля.

Смотрит Огюльджан в оконце: по дороге идут мужчины в расписных халатах, женщины в черных покрывалах, бегут ослики с поклажей, слышно на всю улицу, как кричат они. Молодые наездники в войлочных шляпах скачут на резвых конях, скрипят неуклюжие высокие арбы, колеса их чуть не вровень с крышей. Караван горбатых верблюдов лениво тянется. И каждый день все та же картина на дороге. А дальше своего угла нельзя уйти Огюльджан.

Тут и вошел смелый русский человек. Видит он: дома одна Огюльджан. Говорит ей:

— Ты, Огюльджан, подрастешь. Расти и помни всегда: ученье свет! Вот тебе букварь и тетрадка с карандашом. Я буду часто навещать тебя, расскажу тебе о многом чудесном, но еще больше расскажут тебе об этом мои книги, когда ты выучишься читать и писать. Есть и такая книга, которая рассказывает людям, как найти обездоленным дорогу к правде.

И показал он Огюльджан, как писать буквы.

Не помнит Огюльджан, как все это случилось. Развязался один мешочек, высыпались из него шелкопряды, поползли по земляному полу в разные стороны и среди них серебристый шелкопряд, величиной с голубого дрозда...

— Вот он, вот он, — закричала Огюльджан. Хочет поймать, схватить дорогого шелкопряда, но никак не поймает.

А он и отвечает:

— Не лови ты меня, придет час — я тебе пригожусь. Ищи ты меня не на земле, а на самой верхней ветке. Я спряду тебе ниточку небывалую.

Сказал и — за порог...

Открыла Огюльджан глаза: лежит один мешочек под ногами, шелкопряды из него рассыпались. Но того, серебристого, нет. Да и был ли он?..

Собрала она поскорей коконы, прижала мешочек подмышкой и снова на свое место, чтобы отец с матерью не увидели, а то бранить будут.

Между тем русский рабочий, что был сослан сюда, выучил смышленую Огюльджан грамоте.

Входит мать, еле плетется, о палочку опирается. Как вошла, так и повалилась на сундук.

— Упала я нынче, доченька, у чана. Хозяин меня за порог выбросил. Давно уж привязался он ко мне, джоталем — синий кошель, злые джины грызут меня. Лихорадит меня.

И посылает мужа к знахарю. Не советовал русский рабочий бедняку Тиракулу связываться с обманщиками-знахарями. Но царь не построил больниц для бедняков. Волей-неволей пришлось Тиракулу послушаться больной жены, позвать знахаря.

Пришел бакши-знахарь врачевать больную. Велит Тиракулу:

— Режь козла... Я твой друг.

Козел-то последний. Не пожалел Тиракул — зарезал последнего козла. Взял бакши внутренности козла, стал бить ими больную.

— Лучше ли?

Бил, бил, а хворой все не лучше. Начал тогда бакши с ножом в руках плясать около больной, заклинать, брэнчать на камсе. Потом бросился вон:

— Держи, хватай. Ах, горе какое! Злой джин вылетел из хворой и вселился в осла...

У крылечка на привязи стоял осел, последнее богатство Тиракула.

— Я твой друг, я спасу тебя от больного осла, не дам заразиться стаду, — сказал бакши. Взвалил зарезанного козла на Тиракулова осла и отправился домой.

Друг-то друг, а последнего осла увел.

Не встала Сурахан. Схоронили ее. Места себе не находила Огюльджан. Насилу ее оторвали от материнской могилы.

Бай, манап и бий, меж тем, опять вспомнили про долг. Пришли к Тиракулу. Бий говорит:

— Чему только ни подвергается голова человека и копыто лошади? Ты брал деньги, мы свидетели, жена твоя умерла, отдай баю на ее место твою дочь Огюльджан. Так велит адат, так гласит шарият. Бий все знает.

— Мала, мне такую не надо, — заупрямился бай.

— Бери, бери, ты ее продашь, деньги получишь... Бий все может. Если надо, самого аллаха продаст, — шепнул бий

— Ладно, так и быть — возьму.

Перепугалась черноглазая Огюльджан — шелковая коса, затрепетала, как птенец-сизоворонка, в темный угол забилась под шест, на котором дремал беркут-бородач.

Услышал белогрудый орел этот разговор, встрепенулся, взмахнул широкими крыльями и опять сложил их. Недовольно заклекотал, словно сказать хотел: нет, бай, не возьмешь Огюльджан.

Первый раз в жизни не покорился баю покорный Тиракул. Не зря он ночи тайком просиживал с русским ссыльным. Схватил он со стены кремневый самострел и закричал:

— На красного зверя бросают орла, а на ворону — каменья! Прочь от моего очага! Не дам я вам мою Огюльджан!

И взвел курок.

Убежали шелковые халаты...

— Правильно ты, Тиракул, поступил с притеснителями! — сказал ему русский рабочий, когда узнал о смелом поступке бедняка Тиракула.

Донесли большому судье. Силой захватили Тиракула. Скрутили ему ремнями руки за спиной, увели в город, бросили в тюрьму.

Огюльджан отдали баю. Привели ее к запарочному чану, туда, где раньше стояла ее мать.

— Теперь ты моя. Захочу — на барана тебя променяю, захочу — табун верблюдов за тебя возьму, захочу — у чана тебя заморю, захочу — в шелка, в золото наряжу.

Молчит Огюльджан. Слезы из глаз катятся. Ловит палочкой в вонючем чане кончики шелковых ниток.

Бий, между тем, не дремал, поехал искать работорговца, не удастся ли, мол, запродать самому эмиру бухарскому такую красавицу в его гарем... Задумал бий получить за нее золота — на караване верблюдов не привезешь!...

А Тиракул томится в тюрьме.

Огюльджан домой перестали пускать — не убежала бы. Держат ее в отдельной горнице у бая в доме. Сидит Огюльджан, как сизоворонка в клетке. Приносят ей с байского стола бешебермак и баурсаки.

— На, поешь. Скоро приедет за тобой купец. Ты должна быть хорошей.

Огюльджан и без того хороша.

— Не буду я есть объедки с чужого стола... Мне кусок из своего котла слаще ваших иримчиков и катыка.

Вскоре ей принесли шелковое платье и жемчужное ожерелье.

— Приоденься, завтра приедет купец.

Швырнула Огюльджан ожерелье к порогу. Тогда ей сказали:

— Если не будешь покорна, ты умрешь той же смертью, как и твой отец. В следующий базар твоего отца выведут на площадь и повесят.

Решили богатеи погубить непокорную красавицу Огюльджан.

Много красавиц в кишлаках, но такая, как Огюльджан, одна. Глаза у нее черные с солнечными отблесками. По плечам черная коса мягче шелка. Знать, одна такая красавица уродилась на счастье бедняку Тиракулу, но это счастье отнимают у него богачи. Когда выглянет Огюльджан на солнышко, кажется, золотые искры сыплются с ее шелковой косы. Что только за коса!

Горькими слезами залилась Огюльджан. Кто же заступится за бедняков? Кто спасет Тиракула, кто вызволит из постылой неволи девочку Огюльджан? Тут она вспомнила про серебристого шелкопряда. Но где он? Где искать ту верхнюю веточку?

Вспомнила она и про доброго русского рабочего, про книги, которые он ей приносил. Так и не успела Огюльджан прочитать ту дорогую книгу, в которой сказано, как найти бедняку верную дорогу к правде.

Пока в байском доме все спали, выставила Огюльджан раму и убежала. Пришла домой. Там сидит один голодный белогрудый орел-бородач на шесте, в кожаном колпачке.

С минуты на минуту нагрянет погоня...

Сняла Огюльджан орла с шеста и убежала подалее от людей в горы. В тутовой роще бродила она до зари. И вышла к желтому камню. Растет на том камне тутовое дерево, вся кора его горит серебром: то ли это наплыв, то ли и впрямь серебро. Не здесь ли этот шелкопряд чудесный? И стала она глядеть на ветки. На самой верхней ветке, словно звездочка, что-то светится. Замерло сердечко Огюльджан.

— Вот я и пришла к тебе. Если это ты говорил со мной, то спаси моего отца и меня от верной гибели.

Не успела она проговорить, как с верхнего сучка упала тонкая золотистая веточка. И послышался голос:

— Ты искусная вышивальщица. Не зря с тобой сидел за букварем добрый русский человек. Вышей шелком свое горе на платочке. У тебя на руке беркут-бородач. Пусть отнесет он платочек в город на семи холмах. В той стране есть белый клубок, не знает он запретных дорог. Вышитая шелковая нить добежит до клубка и все ему поведаст. В той стороне живут люди добрые, смелые, честные. Там фабрик много. Там нам платья ткнут, там теперь по-новому живут.

Вышивала Огюльджан золотой ниткой шелковый платочек.

— Возьми, беркут-бородач, ты всю землю облетел, знаешь, где тот великий город на семи холмах, знаешь, где фабричный край. Снеси добрым людям мое горе, чтобы пришли они скорее и не дали нам погибнуть лютой смертью.

Сняла Огюльджан кожаный колпачок с беркута, повязала ему на шею голубой платочек. Вскрылил орел и пропал за высокими горами.

В тот же день принесли этот голубой платочек с шелковы-

ми письменами Ленину и Сталину. Прочитали Ленин и Сталин шелковые письма и сказали:

— Нет, не тот умрет, про которого богачи говорят, что он должен умереть, а умрет тот, кто носит лисью шубу.

Послали они смелых, надежных людей спасти маленькую Огюльджан и ее отца. Поручили они это большое дело товарищу Фрунзе, ивановским рабочим. Наказ Ленина и Сталина мы выполнили с честью. Нашли тот кишлак, вызволили из беды всех бедняков-тружеников.

Теперь Огюльджан, как и ты, живет вместе со своим отцом, ходит в школу, никто больше не смеет издеваться над чей. Баи, манапы, бии сметены с дороги.

Еще краше стала красавица Огюльджан. Я сам видел: будто солнце струится по ее черной шелковой косе.

От белого клубочка нашего оставила себе на память приветливая умная Огюльджан моток пряжи, велела кланяться всем далеким своим подружкам, русским девочкам, которые живут в селах и городах. А чтобы почаще ее вспоминали, прислала она свой адресок, золотым шелком шитый.

Тут вынул Артемий голубой платочек, подал его своей дочке. На платочке золотым шелком вышито тутовое дерево, а над ним словно солнце сияет в венке из спелых колосьев серп и молот и красная звезда.

Весело сейчас шумит над новым домом Тиракула тутовое дерево, проходя мимо, частенько поглядывает Огюльджан на верхнюю веточку. Вечером меж густых сучьев мерцает часто не то яркая звезда полуночная, не то ее серебряный шелкопряд.

САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО

В нашем краю исстари фабричными сложено ласковое слово про Волжанку-служанку. Знать, не зря оно в песню положено. Другое нынче время, не та нам старина дорогá, которая только седа, а та дорогá, которая всегда молода.

Про фабрику «Красная роза», про фабричных наших девушек есть что рассказать. В своем деле они достойны почести. Вот на той славной фабрике две подруги жили-поживали в доброй дружбе, в ладу, в согласии — Вера Уводина да Сима Одинцова. О них и речь поведем.

У Веры-то карие глаза, словно их умыла гроза. Не с того ли Вера глянет — зарницей сверкнет. А голубоглазая Сима поглядит — как сирень в окошко. Придет к кому в гости, будто и в комнате светлей. Скромна, умница, работяга. Да только больно тиха она.

Нет, Вера — совсем другого манера. Уж если в чем прав-

да на ее стороне, — не уговаривай, не уступит. Где Вера — там и спор, или песни да веселый разговор.

Обе родились, выросли под ясным солнцем нашей новой жизни советской, за одной партией начинали читать по букварю.

Народ наш в те годы невиданные работы разворачивал. Где, чай, тысячи лет волки рыскали, там не дубы встали в рост, не красны сосны карабельные, — там народ поднял высокие трубы новых фабрик, заводов. Давно ли в том болотном краю только гнилухи светились да мигали светлячки. Пробежало теперь солнце по тонким проводам, пришагало по высоким столбам, по белым чашечкам фарфоровым. Не узнать старой старины.

И пахарь в поле поет о новой доле. Поет, приговаривает: синица — не жар-птица, соха в поле не царица. Трактору от мужика почет-уважение. Жизнь на новый лад — в присловиице другой склад: хоть и трактором паши, но сеять спеши, в одиночку тяжело, обузно, а колхозом дружно и не грузно.

За вторую-то пятилетку, гляди-ка, брались еще дружнее, становились в круг родной партии еще плотней.

Девушка при хорошей доле, что цветок в поле. Пришло время — каждая выбрала ту дорогу, куда сердце манит. Обе пошли по славной рабочей тропе. У обеих отцы, матери на той «Красной розе» работали. Вера — в ученье на рисовальщицу захотела, вишь, обряжать людей в ткани небывалой красоты. Сима — в тот солнечный цех, где ее мать ткала на восьми станках.

Задушевные подруги стали вместе по утрам ходить на фабрику и с фабрики домой. Не в день, не в два и не в неделю пошла по фабрике добрая молва о хороших молодых мастерицах, о наших девицах.

Вот однажды молодая мастерица Вера Уводина идет по улице, а навстречу ей девушка да такая ли нарядная. Увидела Вера расцветку на ее платье, так и обмерла. Много расцветок видела, много сама нарисовала, но такую видит в первый раз. Знать на десятилетней машине печатана.

Девушка — в трамвай, Вера за ней. Через весь город проехала, все на платье глядела, пока девушка не сошла.

Призадумалась в тот час Вера. Оказывается, есть на других фабриках мастера поискусней.

Невеселая домой вернулась. Ничто ее не радует и гулянье не идет на ум. Такой бы вот узор нарисовать, — нет, еще бы лучше, по-своему, чтобы также мастерицы гонялись за ним.

Ну ладно, скажем, нарисую, — Вера думает, — а примут ли еще его наши мастера. Первый — отец скажет: за многоцветностью не гонись, давай попроще что-нибудь, только бы поскорей печатать. Уж такие разговоры приходилось ей слышать. Отец-то рисовальной мастерской заведовал. Любил че-

любек свое дело, но иной раз норму гонит, а дочкин рисунок в своей конторке схоронит.

Из-за этого и спорила Вера с отцом на фабрике и дома, — тебе бы, дескать, в платье нарядить да на гулянье проводить, а на платье не разберешь: то ли петухи, то ли цветы; тебе бы, мол, все побольше да поскорей, а нет заботы, чтобы покраше-подобрей.

Вишь, ведь какая беспокойная!

Отец-то ей другой раз и скажет:

— И в кого ты несогласница уродилась? Уж не напрасно ль приохотил я тебя узоры рисовать? Шла бы ты вместе с матерью ткать.

Веру это еще больше раздосадит. Погоди, мол, отец, коли ты такой несговорчивый, так и я неуступчива, не зазорно в большом споре, позовем понимающих людей мирить нас.

Что ж, бывает, — и старый конь спотыкается, и хороший мастер ошибается.

Сидит Вера припечаленная, кручинится. На тот час и входит к ней Сима Одинцова. Что-то она нынче весела, вешней зорькой расцвела. Давай тормошить подругу:

— Вера, все наши девчата — в один голос, дело за тобой; нарисуй ты нам такое, что и сами не знаем какое. Такие узоры подари нам, чтобы всех нарядней вышли мы праздновать. А мы соткем ткань, такой нигде не видано; что тонка, что плотна!

Как старые ткачихи, как опытные мастера и инженеры помогают молодым мастерицам, обо всем об этом рассказывала Сима. Веру даже завидка взяла, дескать, и в самом деле, в ткацкой молодым лучше работать. Там никто не мешает, там у них от мечты до дела — шаг шагнуть...

Под окном ромашек белый остров. Все поля, все луга оделись в цветы. Липы расцвели. Земля улыбается солнцу каждым кустом, каждой былинкой. В синей лазури и облако-то бежит, как живое.

В выходной день отправились подруги погулять в привольные луга. У Симы в лаковом ящике скрипка, а у Веры кисти, краски.

На красный волжский берег пришли. Благодать-то кругом какая! Цветов океан волнуется. В Волге лазурь небесная, как в чистом зеркале. За холмом призадумался старый-синий бор. Долго тешились подруги, цветы рвали да на счастье, по старому обычаю, кидали в Волгу. С высокого берега прыгали они в реку. Полными пригоршнями всплескивали они воду, в брызгах жемчужных радуга сверкала над ними цветной яркой россыпью.

На берегу через право, через лево плечо выжимали тяжелые косы. Села Сима на бел-высок камень-валунок, пристроила на плечо скрипку, о том зангала девушка, что нашепта-

ли ей цветы, что ее сердцу пожелалось. Вера около ходит.

Прислушалась, вострепнулась:

— Сима, какую песню ты играешь?

— Угадай!

— Постой, погоди, может и угадаю.

Присела рядом, вслушалась, стала подпевать струнам:

Расцветал в поле цветок,
Алый розов лепесток,
В чисто поле я пойду,
Я цветок уведу!
Я не трону, не сорву,
Не помну траву.
Унесу цветок домой,
Расцветет цветок зимой.

А тут вдруг по-другому запела струна. У Веры в глазах такое сиянье, словно душа просится в полет. Запела она:

Лейся, песня моя, песня звонкая.
Пряжа белая, прядись, пряжа тонкая!
Напрядем, наткнем, всех нарядней пройдем!
Ой ли, да ой лю-ли!

Нарвала Вера цветов, давай подругу обряжать. Из рощи той порой на зеленый луг выходит с кузовком старая ткачиха Матрена Еремеевна. Она во многом помогла Симе, пока та росла до почетного мастерства. Знать, девичья песня выманила старую Еремеевну из зеленой рощи. Землянику собирала, все пальцы у нее розовые. Тетю Матрешу все уважали на фабрике: она что соткать, что слово веселое к месту сказать. Не боялась и горькие слова говорить кому следует. Разгильдяев да лентяев самой худой славой первая на фабричных собраниях славил. Да так ославит, живого места на лодыре не оставит. Умела ткать, умела и пробирать. А все потому, что честью-славой фабрики дорожила, когда трудно, больно-то не тужила. По людям смолоду ходила, наслушалась всего.

— Что это вы, девчата, траву-то мнете? Лучше шли бы ягоды собирать в рощу.

Разговорились, раздушевничались молодые со старой. Ста-ла Вера жаловаться на отца да инженера, дескать, не хотят ее мечте развязать молодые крылья. Симе, мол, что не все-длиться, про их комсомольскую бригаду добрая молва далеко летит, а Вера сколь ни убеждает отца, тот дальше своего плана знать ничего не хочет. Неужели не обидно, подумай-ка?

Еремеевна вздохнула глубоконыко, позадумалась, да так-то лукаво глянула:

— Полно-ка отца виноватить, может, у самой смекалки хватит. Сима — она не зевала, что ей старые ткачихи гово-рят, запоминала. Ей сослужила службу старая наша добрая пособница Волжанка. Со своей мечтой на берегу постой, да

нужную песню спой, вызови Волжанку на берег, не прогадаешь.

Припомнила Еремеевна старую быль-небылицу про Волжанку-мастерицу. А потом будто и спохватилась:

— Ахти, девушки, вы уж только на фабрике о том не звоните, а то как раз в стенной газете просмеют, вот-де нашлась новоявленная фабричная колдунья, по берегу ходит да Волжанку гукает. Еще на собрании вопрос поставят, что же, мол, ты, Еремеевна, молодым людям головы мутишь? А вдуматься, какая же в том муть? Та нам сказка родна, которая в сегодняшнем нашем большом деле нужна.

Еще раз Еремеевна глянула лукаво на девчат:

— Шепну по секрету. На твое счастье, Вера, в роще-то, знаешь, нынче я чего видела? Волжанкины следы. Не совру, самую Волжанку видеть в глаза не приводилось, а вот на след ее набрела. Где Волжанка пройдет, в ее следу цветок бессмертник цветет. И так он цветет, что, кажись, сердце наше пламенем обдает. Не гаснет он ни ночью, ни днем, кому удастся пройти по нем, такому не пропасть.

Слушают девушки да улыбаются. Знают, куда Еремеевна свою нить поведет.

— Давайте-ка я попробую, может хоть раз в жизни на Волжанку-служанку вместе с вами гляну, может, заветной песней выманю ее на луг. Выбежит, как позовешь, помню, бабушка много сказывала мне про ее повадку.

Завела тетя Матреша тонко, звонко да разлиvisto, на весь-то зеленый луг, на все чистое раздолье:

Ты плыви, плыви, голуба волна,
Ты неси, неси, красногрудый струг.
Кто на струге том загребенщиком?
Загребенщиком красна девица...

Подхватывали лесню звонкие девичьи голоса. А тетя Матреша еще пуще разливается:

Веретенщица, дочь крестьянская,
Не крестьянская и не фабричная.
Прибивало струг к круту берегу,
Разбивало струг о горюч камень.
Белой чайкою всплывала тут
Загребенщица.
А хозяйский сын на охоту шел,
С тетивы стрелу он пускал вослед.
Чайка падала, превращалась
В белу-рыбцу.
А боярский сын тут расставил сеть.
На зеленый луг за дубравую
Вышла девица, вышла красная.
Всем фабричным она заступница.
Кину камешек в Волгу-матушку —
Он ударится о хрустальну дверь.
На крутой берег к нам, фабричникам,
Выйди, девица, выйди, красная!

Спела и на сердце еще больше просветлело...

— Глядите в оба девчата, не переступите через Волжанкин след, а то зачем же я свое горло маяла?

Поднялась с лужавины тетя Матреша, опять потихоньку побрела в рощу. Пропала за кустами веселая душа-хороша.

Шуткой ясной своей встревожила старая сердца девушек. Подруги тоже захотели пойти за земляникой в ту рощу. Только сунулись за кусты — земляники необеримо...

Сначала-то рядом собирали, потом одна от другой дальше и дальше. Сима: «Ау, ау», — ей кто-то отзывается в чаще, нето Вера, нето кто другой, разберись поди. Потом и совсем не стало слышно.

Мало ли в лесу, в поле цветов, но, случится, попадется цветок на взгляд самый простой, но не пройдешь ты мимо его, чтобы не полюбоваться. Вот, знать, на такой цветок и потрафила Вера. Как глянула на него — и уж будто теперь она и не слышит, как Сима аукает. А что ты думаешь? Может напала на след Волжанкин.

Дома-то Вера попила, поела и скорей за свою домашнюю конторку. Не Волжанка ли выручила? Как хочешь суди, но долго ли, скоро ли, слышь, разговоры среди мастеров пошли про новый рисунок Веры. Мастерам за честь пришлась удача молодой художницы. Вот, мол, не только ткачи умеют подымать на крыло молодых ткачей, мы, художники, де, тоже не отстаем. Лишь тетя Матреша не в согласьи с мастерами:

— Полно-ка вам в чужом форсить, хороша у мастерицы работа, да не ваша о мастерице забота!

Мастера не сетуют, знают, что их чести не унесет Еремеевна и единой шепоти, у нее и своей хватит.

Кто ни глянет на новый узор, от каждого Вере за ее мастерство поклон. А подруги — так те прямо как паломники к Вере в светлицу. Все хвалят. Только отец глядит да помалкивает до поры, мне, мол, больше всех видно со своей горы.

На фабричном совете вокруг того нового рисунка поднимали мастера и колористы большой спор: принять узор или не принять. Долго спорили, к согласью не пришли. Даже сам Верин отец Евдоким Матвеевич хорошо сказал об узоре, дескать и цветисто и весело, но вот цветистость и не пала к сердцу Евдокиму Матвеевичу. Свою речь он свел к тому: зря, мол, ты, Вера, влюбилась в многоцветность. Присоветовал: мол, этот же узор стовь валика на три, а под твой-то нужно сколько валов!

Правда сказать, слушать Евдокима Матвеевича слушали, но не все с ним согласились. У Веры свои доводы, ни одним цветом не хочет поступиться, потому что верит: стоит ее узор, чтобы над ним похлопотать заботливо.

Отцу это не в честь пошло. Он да такое дочери наобещал: мол, при таком упрямстве никогда своих цветов не увидишь

на платье. Разве не обидно? Старалась, старалась да не при чем и осталась.

Он, Евдоким-то Матвеевич, зря не скажешь, тоже знал толк в мастерстве. Одна слабая приверженность с давних пор к нему прилипла: любил, чтобы молодые мастера из его пробитой борозды не выскакивали, чтобы его любимого мастера держались.

— Вот что, батюшка родной, — говорит Вера, — идем мы с тобой дорогой одной, а за то, что я пожелала свою тропу проторить в нашем мастерстве, этим твоему вкусу не угодила!

Евдоким Матвеевич покрутил усы:

— Ты еще молода, и я был такой же кипяток в твои года. Ты думаешь о том, чтобы на платье побольше ярких цветов цвело, а я забочусь, чтобы побольше платьев у каждой из вас было, пусть и не так уж ярки да новы цветы на них.

Вера, однако, не уступает.

— Если вы пугаетесь яркости, многоцветности, значит мой новый узор хорош, а коли хорош, дайте ему широкую дорогу, на том стою и стоять буду!

Да, чай, раз пять поднималась с места, изо всех сил воевала за свое мастерство.

Собирались на деловой совет мастера с разных фабрик. И здесь снова Вера отцу доказывала. Почти все с ней согласились, что всякое дело, если оно достойно доброй славы, не лежит, а постоянно вперед бежит.

— А мы там посмотрим, — в заключение отвечал Евдоким Матвеевич.

«Неужели я лишней заботой мешаю отцу работать?» — Как раздумается об этом Вера, ни кисти, ни краски не веселят ее, не радуют.

После обеда на фабричном дворе, под кленами, подседа к Вере тетя Матреша на скамью, припомнила:

— Что и моя забота не пропала? Потешила тебя Волжанка хорошим рисунком?

Рассказала ей девушка про печаль свою. Та и молвит:

— Тут, как я погляжу, опять не обойтись без Волжанки. Наведайся к ней, — глядишь, опять толк будет.

А потом что-то долго ей тетя Матреша на ухо нашептывала.

Кто видел, когда и где Вера встречалась с Волжанкой, и встречалась ли? Только вскоре получилось так, что Евдоким Матвеевич стал первый проповедывать, — мол, только то душе мило, что прочно и красиво.

Как-то стал Евдоким Матвеевич собираться в гости к брату. Любил до старости почище пройти на людях. Ну, тут, вестимо, тоже надо почище одеться.

— Где моя шелковая рубашка?

— Шелковые выстираны, — Вера отвечает, — там есть новые, любую надевай.

Открыл он комод, там пять новых рубашек. На воротничках адресок пришит: «Артель «Торопливая швея». Смотрит Евдоким Матвеевич на рубашки, а надевать не торопится.

— Что, папая, задумался?

— Хоть их тут пять, но не столь они одной хорошей. Я таких никогда еще не нашивал. Горошек как на старушечьем сарафане. Да и сшиты со вкусом: по черному белый шов.

— Зато пять рубах, — утешала дочка, — а горошек — что ж тут плохого? На трех валах расцветка сработана.

Молчит Евдоким Матвеевич, дочкин намек понимает. А того не ведает, что это Вера с подругами постарались, не поскупились: купили плохого ситцу, на скорую руку наметали белыми нитками пять рубах, а хорошие-то припрятали, будто в стирке.

Хватало у Веры, у Симы и ткань, и узоры рисовать, хватало у них времени и досуг провести весело. В фабричном клубе они первые затейницы. Но, пожалуй, всех краше умели они мяч ракеткой гонять. Мало ли физкультурниц на наших фабриках, но с кем бы подружки ни сошлись — всегда за ними верх. И в Москву на состязанье ездили, там тоже отвоевали себе почетное место, кажись, чуть ли не в первом пятке.

И, вот слышь-ка, ты, профсоюз посылает их на состязанье за границу. Кто же от такой чести откажется? Об одном тужит Вера: уедешь, пока там играешь, на фабрике про ее новый рисунок совсем забудут. Пуще всего ей не хочется терять свое место в мастерстве. Однако посмотреть, как там, за границей, живут, как работают, тоже интересно.

Ходила Вера к директору, просила, чтобы не забывали про ее новый узор. Подруг своих собирала, наказывала, вы, мол, без меня напоминайте им.

Уж далеко Вера с Симой от своей земли, уж с крыла самолета не видать трубы над родной фабрикой. Во многих городах любовались люди на их игру. Советских девушек, таких, как Вера, люди рабочие встречали с почетом. Ну, а ненавистники наши, которых еще там не всех вывели, те косо поглядывали на гостей. И охаять пытались. Да большое-то мастерство продажным языком не свалить.

Везде, куда ни поедут, первое место брали наши игроки. Потом захотелось девушкам поглядеть на все хваленое своими глазами. Вот и поехали всей делегацией по разным большим городам. Смотреть-то на заморские диковины они смотрят, слушают, что им толкуют, но пока помалкивают, последнее слово до поры берегут. Что там у них есть приметного, скажем, в мастерстве фабричном, в это наши мастерицы вни-

кают до тонкости. Но видят: на наших-то фабриках дело куда лучше ладится.

Поехали в пребольшой город. А тот город на сыром острове стоит, дымом повит, затонул в промозглых туманах. Вокруг острова море плещется.

Сказывают—на этом острове когда-то жили богато, да уж, конечно, не все, а те, что вороваты. Еще бы им не разбогатеть! Прялку-то поставили у себя на острове, а пряли на ней золотую кудель чуть не со всего света. Из-за всех морей-океанов везли, волокли к себе на остров. Что не толстеть? Скажем, пусть там индус или китаец щеголяет нагишом, зато на острове фабрикант с толстым барышом.

Хвалились, де, наша страна владычица морская. А коли владыка, моему нраву не перечь: я — владыка, мне ремень, а тебе — лыко. Только одряхла вишь теперь владычица, съела, чортова кочерга, зубы, остался у нее длинный язык да отвислые губы. Шарит в своих глубоких карманах, а в них грош да гривна. Теперь владычица рада бы в приживалки в богатый дом. Надо как-то доживать старость.

Нашелся у нее за морем-океаном давний родственничек. Уперся этот дядя Сам каучуковым каблуком владычице в пустой живот, дескать, пусть теперь на моих объедках поживет. И вот стягивает на ее животе потуже американский ремень, мол, будь, бабка, и тем довольна, а то и вовсе озолочу, когда проглочу.

Говорят, от старой немочи приживалке плохо спится, будто порой ей снится: сидит она на своем острове верхом, расколотым веслом гребет, обноски в суму прячет, сама слезно плачет:

— Дожила я до того, что остались на мне одни заплаты, пришейте меня, Христа ради, к своим штанам.

Вот те и владычица морская!

Но про рабочий народ ничего плохого не скажешь.

Очутилась Вера и Сима с подругами на ткацкой, походили, поглядели. Спросила Вера, как живут люди рабочие, как они работают. Отвечают ткачи:

— Работа до седьмого пота, платит нам хозяин за работу в три срока: вроде того, как у вас при царе-горохе, первый срок — Илья-пророк, второй Егорий на коне, а третий — ходи почаще ко мне.

Завидовали ткачи-островитяне свободной жизни наших людей.

Побывали девушки и в деревне. Захотелось им самого счастливого крестьянина увидеть. Искали, искали, наконец, нашли. А у этого счастливого крестьянина есть своя соха и борона да кобылка плоха, своя полоса и двор не мал: стоит он кольцом, три жердины конец с концом, три кола вбито, три хворостины завито, небом покрыто, светом огорожено.

Один на поле с сошкой, а семеро с ложкой. Весь изъян на рабочих да крестьян.

Посмотрели девушки на житье-бытье крестьянское и говорят:

— Так когда-то у нас было, да быльем поросло. У нашего крестьянина теперь полоса — поперек-то и в год не перейти, а вдоль-то конца и края не найти. Такой сошкой у нас давно никто не пашет. Новая жизнь нам не с неба свалилась, сами построили.

Но вот что приметно: ездит по этой стране, как по своему угодию, опять тот же заморский дядя Сам в клетчатых штанах, а за ним черной стаей его угоднички, советники. Ездит, из автомобиля глядит, где что плохо лежит.

Вяжет народ по рукам-ногам, сам утешает:

— Не кричи, не кричи, помолчи, это я к тебе свободу привязываю!

Довелось девушкам побывать и в заморской большой богатой стране. Вошли они в один казенный дом. Вроде люди здесь все равные, но пригляделись, ан, не то: здесь чин чина почитай, а подарок не забывай. На складах, в лавках товару всякого горы, а кругом нищие, босяки, воры.

Трудно в этой стране человеку свое житье установить, а бедному — ложись да помирай. Одни прядут и ткут, а другие за них носят, одни сеют и жнут, а другие за них пышки едят. Богата страна — нищих полна.

Сказывают — есть у них в столице улица миллиардная. На ней только миллионеры творят свои сделки.

Вошли девушки в большой дом-небоскреб. Фабрика не фабрика, завод не завод, за столами народу много. И все люди с виду важные. А над столами-то, под высоким потолком, на железных цепях висит нето паровоз, нето аэростат, чудище какое-то, железные лапы, не счесть сколько, до полу свесило.

Все за столами — одной сурьезной работой заняты, недосуг дух перевести, красны, что вареные раки от непосильной натуги. Где уж тут у этих тружеников спрашивать, мол, что это за заведенье, — держит каждый во рту нето дудку, нето трубку, и вот стараются изо всех сил, надувают свое чучело несусветное. Отдохнут, переглянутся и опять давай надувать.

— Что же они затевают?

Догадались девушки, что тут за люди, поглядели да и пошли. И говорят между собой:

— Это вот что: тут собираются последние золотые и пушечные короли. Сделали они себе столапого паука, теперь надувают его, хотяг оживить, дескать, как оживет, лапы отрастут, загребет он в свои лапы весь белый свет и станет сосать его, как паук высасывает муху. Только, скорей всего.

надувают они паука себе на погирель. За примерами недалеко ходить.

Все здесь девушкам немилу. На цветок глянет Вера — цветок-то кажется мертвым, словно бумажный. На чужой стороне — припасть к ромашке с родной земли также отраднo, как с матерью повидаться. Но далеко теперь родные цветы, около фабричной ограды цветут. Скорей бы домой.

Та страна больше всех родна, где душа счастьем полна. Самое большое в мире богатство — народное богатство.

Напрасно Вера беспокоилась. За ее новый рисунок на совещании мастеров все руки подняли, и Евдоким Матвеевич тоже. Не дожидаясь Веры, в дело его пустили.

Подъезжают Вера с Симой к своему городу, на улицах трубы гремят, барабанчики в барабаны бьют. Будто маков луг, расцвели флагами улицы. По всей земле из края в край люди песней труд свой славят. Майский праздник весь в цветах, в разноцветных лентах проходит под каждым окном.

Родным-то воздухом, кажется, теперь Вера и Сима не надышатся досыта. Скорее побежали они на широкую улицу, а над улицей, как чудесный сад, знамен бесчестное множество. Родных, знакомых своих, фабричников, искали они в праздничном людском море. Удивилась Вера, как увидела: девушки-красавицы идут в новых платьях, узоры на тканях многоцветные, те, что писала Вера. От радости она в ладоши всплеснула.

За волной веселая людская волна катится по улице. Вот высоко несут знамена с «Красной розы» ткачи. С голубого шелкового полотнища людям и майскому солнцу улыбается нарядный рисунок — это мастерство молодой мастерицы Веры. Так любовно чьи-то заботливые руки его шелком вышили. И несут, вишь, по улицам, как гордость родной фабрики. Одно древко держит Евдоким Матвеевич. Вон и тетя Матреша, нарядная, в русском сарафане красной вышивки.

Идут и поют всей фабрикой, на радость Симе, свою песню, что впервые спелась на вешнем лугу. Знать простая песня людям по душе прилась.

Напрядем, наткем,
Всех нарядней пройдем!

М. Бритов.

ДВЕ ВЕСНЫ

1. ПАШНЯ

Они впряглись в обгорелый плуг
И медленно идут неровной бороздою.
Поля снарядами истерзаны вокруг,
Им каждый шаг грозит
Смертельною бедою.

Они идут.
Ни ропота, ни жалоб
Не вымолвят засохшие уста.
Седые волосы спадают тихо на лоб,
И бледность впалая на щеках их густа.

О, не легка военная страда.
Несчастьем испытаний не сражены —
Дорогою упорного труда
Идут к победе матери и жены.

И как они прекрасны и просты
В суровой скромности
Спокойного величья.
Вздываются упругие пласты,
Земля меняет скорбное обличье.

Настанет день, и снова зазвенит
Колхозный урожай,
Обильный и богатый,
Здесь, где земля в груди своей хранит
И слезы матерей
И кровь солдата.

Зашепчутся под лаской ветерка
Веселым солнцем налитые всходы.

Бессмертием
В грядущие века
Войдет величие советского народа.

Западный фронт. Май 1943 г.
Дер. Степаньково (под Вязьмой).

II. ВЕСНА

Знакомую дорогою войны,
Покрытой дымкой теплого тумана,
Я прохожу.
Закрылись, не видны
Военных лет зияющие раны.

Под ветром озимь бархатом густым
Колышется,
Как море в час прилива.
Струится к солнцу розоватый дым
Из новых изб,
Веселый и счастливый

Звенит в росистой,
Теплой тишине,
Не умолкая, жаворонков пенье.
И стелется по сочной целине
Глубоким следом тракторов гуденье.

Все мирно так...
Но в памяти встает
В немеркнущем величьи
День вчерашний,
Когда мы нашей кровью
В трудный год
В боях отстаивали эти пашни.

Перенесли солдатскою душою
Утраты
И пожаров горький чад.
Нам души обожгло страдание большое,
Но знали — нет для нас путей назад.

Я помню:
Здесь пожарища чернели,

Дымилась утомленная земля,
Остервенело «юнкеры» хрипели
И падали от взрывов тополя

А после боя как была строга
Темительная тишина печали.
Здесь, в сорок первом
Удержав врага,
Мы в сорок третьем —
Страстно наступали.

На холмике, под хмурою сосной,
Мы наспех
После боя отдыхали.
Здесь обгорелым плугом той весной
Колхозницы поля свои пахали

И стала ненависть еще сильнее.
В походы шли,
От горя не сгибаясь.
За счастье будущих,
Не омраченных дней
С врагом
Мы, не щадя себя, сражались.

Сражались мы за наш советский дом
День ото дня все яростней, суровой:
Усталости не знающим трудом,
Оружием
И каждой каплей крови.

Сражались мы за мирные года,
Чтоб наши близкие
В родных домах согрелись,
И затемнение сбросив навсегда,
Огнем привета окна загорелись.

Мы победили.
Даль опять ясна.
Мечты о мире стали светлой былью.
И в каждый дом,
Как входит в жизнь весна,
Вошли покой,
Любовь и изобилье.

Меня обнял гвардеец-бригадир,
Овеянный походной,
Честной славой.

Теперь трудом он изумляет мир,
Как раньше подвигом
В борьбе кровавой.

— Смотри, какая расцветает новь, —
Он говорит с волнующею силой.
Недаром эту землю наша кровь
И слезы в дни сражений оросили.

Теперь опять упорный бой ведем,
Подняв высоко трудное знамя,
Уверенно в грядущее идем.
Как в дни войны —
Идет победа с нами.

Май 1948 г.

В. Жуков.

ВОТ ЗДЕСЬ БЫЛА ДОРОГА ФРОНТОВАЯ

Я горожанин. Мне ли не дыша
здесь не стоять, глядеть — не надивиться?..

А паренек:

— Что, дядя, хороша,
скажи-ка, дядя, хороша пшеница?!

Он здесь хозяин. Может быть, он сам
за плугом шел здесь?..

— Да, мой милый... Очень...

Тревожа сердце, огненные ночи
из памяти придвинулись к глазам,
и закружились дымные пути,
вдохни — и вот он, гари едкий запах...

Стою, не в силах взгляда отвести
от ржавой стрелки с надписью «на запад».
Ее не смяло танком. А потом,
должно быть, пахарь пожалел, объехав...
И вот, по горло в море золотом,
дорожная стоять осталась вежа

А что — с парнишки?
вот он сел у ног,
шумит над ним лавина золотая,
был мал тогда...
— Послушай, паренек,
ведь здесь была дорога фронтовая.

— Дорога?.. Что ты, дядя...

— Да, дружок!

Здесь день и ночь гудели пятитонки,
шли тягачи... Тут вдоль и поперек
была не пашня — ямы да воронки.
Теперь пшеница вот... Ой, хороша!
И мы все смотрим, смотрим, не мигая,
усатыми колосьями шурша,
колышется и — ни конца, ни края...

— Теперь недолго, — молвит паренек, —
денек, другой, а там
и жатва в плане...
...И пареньку, конечно, невдомек,
что в грудь навывлет был здесь дядя ранен.

НА РАССВЕТЕ

С зарею встань. Прислушайся к рассвету,
к еще невнятным голосам земли,
и ты услышишь, как далеко где-то
трубят, зарю встречая, корабли.

Услышишь фабрик зов многоголосый...
А ветерок подскажет песню ту,
что по душе пришлась каменотесам
и полюбилась грузчикам в порту.

что завели в колхозе под Полтавой
а подхватили где-то у Орла,
что подняла до света пилостава
и лесоруба за сердце взяла...

Пусть кораблей не видно за туманом,
за расстояньем — расстоянье сблизь!
В обветренные лица капитанов
и в боевые вымпелы взглядишь.

Ступи ногой на палубу любую,
и ты услышишь, хоть гудит вода,
все ту же песню вольную,
родную,
уловишь сердцем четкий ритм труда...

И ты поймешь, что песне нет предела,
коль на заре она взяла разбег,
коль породнился с ней
влюбленный в дело,
упрямый и пытливый человек.

Пусть злобствуют враги за океаном
и замышляет козни Уолл-стрит...
Мы запеваем на рассвете рано,
и наша песня над землей летит.

ЗА РОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО НАШЕ!

С новым годом, товарищ!..

Я сам этажи
возводил бы, да я только житель
в этом доме, что ты рассчитал и сложил,
дорогой мой заботник-строитель.

Мне в награду иное дано ремесло —
и отраднo оно, и сурово.
У тебя за основу — кирпич и стекло.
у меня только сердце да слово.

Я ценю мастерство твое. Я от души.
благодарен тебе за заботу.
Так позволь же поднять
— за твои чертежи,
за твою золотую работу.

За твое ремесло, штукатур и маляр,
вот за эти веселые стены.
Вот за эту добротную мебель, столяр,
за нелегкий твой труд вдохновенный.

За смекалку, за каждый поваленный дуб,
за смолистые сосны литые,
за здоровье, за силу твою, лесоруб,
и за руки твои молодые.

За счастливый исход рядовых наших дел,
за огонь трудового горенья...
Вот за это вино, что нам дал винодел,
за его непростое уменье

Вот за эту за скатерть,
за то, что она
так плотна и отменно добротна.
За ткачиху полней наливай — и до дна,
за сатины ее и полотна.

Только, если б не ты, хлебороб, —
этих сдоб
не испек бы нам пекарь толковый.
С новым годом! Спасибо тебе, хлебороб
вот за этот за хлеб непайковый.

За здоровье твое выше края налью,
чтобы жизнь была полной, как чаша.

Выпьем, друг,
за единую нашу семью,
за родное содружество наше.

ХОЗЯЙКИ

Покидали лесорубы родной колхоз,
уходили в леса, в делянки...
А в делянках снег по пояс, мороз,
ни избы, ни печи-лежанки.

Забирали сумки, пилы, топоры
да садились в легкие сани...
А хозяйки вслед им глядели с горы
грустными, как осень, глазами.

А потом сказала одна:
— Ну, и пусть,
что же, коли нет с ними сладу.
Ну-ка, собирайтесь, бабоньки, в путь:
мы свою составим бригаду.

В полном снаряженьи вышли на большак,
да и не заметили сами —
свистнули полозья, запела душа,
понесли попутные сани.

Горки да овражки, лес вековой,
и подать рукой — лесосека...
Сгрузились хозяйки: нет никого,
ну, ни одного человека.

Что тут будешь делать? —
с краю на край
поплелись к прорабу в землянку,
взяли в оборот: умри — подавай
рядом с мужиками делянку..

* * *

А в делянках снег по пояс, метель,
в уши ветерок так и свищет...
Вздрыгнет от удара косматая ель,
загудит в руках топориче.

В болону со звоном вгрызется пила
и пойдет писать всем разводом
по виткам, по веснам, что ель прожила,
и перечеркнет год за годом.

Заскрипит, застонет,
двинется ель,
упадет под крики да стуки.
Белую взметнет над собою постель,
заломив зеленые руки...

— Что же, перекурим, что ли, браток, —
скажет лесоруб лесорубу.
Сядут поудобней на белый пенек,
и дымок завьется из трубок.

А вокруг, что дятлы, стучат топоры
и поет пила голосисто...
Корчится, свистит от нещадной жары
на кострах вершинник смолистый.

Штабеля, как горы, высятся окрест,
как посмотришь —душенька рада..
Что ни час, то глубже рубается в лес,
устали не знает бригада.

Вот уже не видно и дыма костров,
и дерев сменилась порода.
Звонче, веселей перестук топоров...
...А навстречу шла непогода.

Злобно гикнул ветер в вершинах седых
затрубил в ветвях, словно в дудку,
по низам прошелся до тропок глухих —
поднялась метель не на шутку.

Закипела просека: буря... шабаш —
залезай в дубленую шубу..
Кое-как забились в тесный шалаш,
у костра сидят лесорубы.

Вот уже и угли стали дотлевать,
и в котле подчищена каша...
Раскурили трубки. Стали горевать:
как-то там хозяйшкн наши?..

А за стенкой — выюга вздымает шатры,
мечется по просеке, плачет...

А едва затихнет — стучат топоры...
— Мужики, да что это значит?

И кому б в такую пору стучать? —
Разве кто из города, может...
— Бросьте, мужики, рядить да гадать,
ну-ка, гляньте, кто помоложе...

Глянул лесоруб на поляну из мглы
да и обомлел, пораженный:
что за навожденье — в четыре пилы
режут лес — и кто же? — ведь жены!

Через снег, сквозь чащу, ломая сучки, —
к шалашу назад, без оглядки:
— Что же вы сидите? В ружье, мужики:
бабоньки там наши... Солдатки...

А хозяйки следом идут не спеша,
пилы — у плеча, как винтовки...
Лезут лесорубы из шалаша,
и глядеть в глаза-то неловко...

Иван Ганабин

ПЕРВЫЙ ВЫХОД

Корабли уходят...
Кольца дыма...
Догорает медленно закат.
За кормой,
За волнами седыми,
В серой дымке —
Город-форт Кронштадт.

На борту громадины-линкора —
Белозубы
Статны
И крепки —
У орудий, на охране моря,
Нынче молодые моряки.

На фокмачте вымпел алый вьется,
Голубая ластится волна.
Первый выход!
Сердце звонко бьется,
Свежим ветром грудь напоена.

Запевала песню запеваает,
Мчится песня ветру вперекор.
Море, море — ни конца, ни края, —
Синим шелком вышитый простор!

Кто тебя, хоть раз, увидел, море,
Тот навеки крепко полюбил,
С тем в бою, на вахте и в дозоре —
Ветер моря — быстр и легкокрыл.

Маяков призывное мерцанье,
Кораблей зовущие гудки...

Получили первое заданье
Нынче молодые моряки.

Корабли уходят...
Кольца дыма.
Догорает медленно закат.
За кормой,
За волнами седыми
В серой дымке —
Город-форт Кронштадт.

1946 г.

* * *

Сыграй на прощанье мне песню, товарищ,
Хорошую песню — о море,
Пусть ветру, дышащему пеплом пожарищ,
Гитара аккордами вторит.

Пусть песня напомнит о прожитых годах
О годах, что вместе делили.
Ее мы певали в тяжелых походах,
И с нею навеки сдружились.

«..Раскинулось море широко, и волны...»
Роняет аккорды гитара,
И, кажется, воздух вокруг нас наполнен
Матросскою песнею старой.

Ты завтра уходишь, и может ведь статься,
Что встретиться нам не придется,
Но все ж: до свиданья!—не будем прощаться.
...А песня все льется и льется...

Для сердца морского нет песни роднее,
Напева душевней, чудесней.
Кто с морем сроднился, сроднился и с нею —
Старинной матросскою песней.

Сыграй же ее на прощанье, товарищ,
Сыграй про широкое море,
Пусть ветру, дышащему пеплом пожарищ,
Гитара аккордами вторит.

1944 г.

СЛАВЬ, ЗАПЕВАЛА, ДЕЛА БОЕВЫЕ

Вспомним, гвардейцы, бои и походы,
Вспомним, гвардейцы, военные годы,
Вспомним, ребята, войну.
Нас не сломили ни смерть, ни блокада,
Мы защищали у стен Ленинграда
Нашу родную страну.

Славь, запевала, дела боевые,
Море Балтийское, дали родные,
Родину гордую славь.
Гвардия наша в сраженьях родилась,
Выросла в битвах, в огне закалилась,
Славь нашу гвардию, славь!

Вспомним друзей, что во имя Отчизны
Отдали в жарких сражениях жизни —
Слава бессмертная им.
Это они заслужили по праву
Славу бессмертную, вечную славу,
Память о них сохраним.

1945 г.

ПЕСНЯ МОЛОДЫХ МОРЯКОВ

Ой ты, море! Ой ты, море!
Ходят волны высоки.
Вышли в море на линкоре
Молодые моряки.
Запевай-ка, запевала,
Песнь о Родине своей,
Пой, чтоб песня не смолкала —
С песней сердцу веселей.

Ой ты, море, свежий ветер,
Золотые облака.
Что, ребята, есть на свете
Краше доли моряка!

Мы храним родное море,
Зорко вахту мы несем.
Мы со штормами поспорим,
За Отчизну в бой пойдем.

Гордо реет на флагштоке
Вымпел алый боевой;
Если грянет бой жестокий —
Моряки готовы в бой!

Ой ты, море, свежий ветер,
Золотые облака.
Что, ребята, есть на свете
Краше доли моряка!

За бортом седые волны
Бьют все яростней и злей.
Курс — вперед! На самый полный —
На простор родных морей!
Ой ты, море! Ой ты, море!
Ходят волны высоки.
Вышли в море на линкоре
Молодые моряки.

Ой ты, море, свежий ветер,
Золотые облака.
Что, ребята, есть на свете
Краше доли моряка!

Л. Григорьевой.

На деревьях зреют почки
Птицы песнями звенят,
Но не носит писем почта
От любимой для меня.
Ни ответа, ни привета
Не приходит по весне.
Затерялись письма где-то,
Иль совсем не пишет мне?
Я молчаньем опечален,
Извела меня тоска.
Что ж вы, что ж вы замолчали,
Знать, забыли моряка?..
Чтобы не было печали,
Чтобы сгинула тоска, —
Я хочу, чтоб поступали
Письма в адрес моряка.

1946 г.

ЕГО УБИЛИ НА ВОЙНЕ...

Его убили на войне;
Он не otvorит в избу двери...
Пришло известие жене
О том, что... А она не верит.

Пришло известие давно;
Она не верит — все в надежде,
Что постучится он в окно,
И жизнь пойдет, пойдет, как прежде.

Она не плачет по ночам —
Тоска и горе стали глуше.
А вдовья горькая печаль
И слезы ей, и сердце сушит.

Другие говорят уже:
Ведь только раз живем на свете..
Но он один в ее душе,
И на него похожи дети...

Она не верит все и ждет;
Что есть любви сильнее на свете?!
Года идут — за годом год,
С годами подрастают дети.

Года идут, и жизнь идет,
Крадется незаметно старость...
Она не верит все и ждет,
Она верна ему осталась.

ВЕСЕННИЕ ДНИ

В эту зиму Дмитрий Шмелев, инженер монтажного управления, работал очень много и устал. Собственно, о том, что он устал, ему напомнил сам начальник управления, полный, невысокого роста, добродушный человек, которого все между собой называли «папашей». Он пригласил Шмелева к себе в кабинет и шутливо-обидчивым тоном сказал:

— Что ж это вы, Дмитрий Иванович?..

— А что такое? — спросил Шмелев.

— В прошлом году вы, оказывается, не догуляли пять дней — и вот, пожалуйста, теперь приходится вести об этом разговоры с председателем месткома, давать объяснения. Да еще, видите ли, намекает, будто бы я виноват, — дескать, отозвал вас из отпуска раньше времени. — Начальник усмехнулся и поглядел на Шмелева так, словно приглашал его согласиться с тем, что он сказал. — Знаете что, Дмитрий Иванович? Грех пополам: поезжайте-ка куда-нибудь на эти пять дней. А? Время весеннее, на деревьях лопаются почки и все прочее... Отдохните... на всякий случай. Мало ли что может случиться! Привалит срочная работа... А вы устали, вам отдохнуть надо.

Шмелев охотно согласился. Это предложение начальника было кстати. Вчера он получил письмо от своего институтского товарища Семена Грачева, тоже инженера-монтажника, и почувствовал крайнюю неловкость перед ним, перед его женой Ольгой Панкратьевной. Вот уже третий год Грачев разъезжает по районам, руководя монтажными работами на вновь строящихся фабриках. В областной город заглядывает редко, лишь по самым неотложным делам. Но и тогда пробудет день-два и, не успев побывать даже у близких друзей, уже торопится обратно. Последний раз Шмелев виделся с ним полгода назад, когда Грачев приезжал за направлением на другую фабрику. В спешке они перекинулись тогда всего несколькими словами. Шмелев обещал приехать к нему в гости. Потом это обещание повторялось в каждом его ответном письме. Однако до сих пор он так и не собрался.

В конце письма, которое Шмелев получил вчера от Грачева, знакомым размашистым почерком с наклоном влево было написано:

«Дорогой Дмитрий Иванович! Не верю, что вы можете забывать своих друзей. А между тем... а между тем — забыли. Как это можно: обещать и не приехать? Не понимаю! Сейчас у нас на Волге прелесть как хорошо. Удивительно красиво. Особенно очаровательны вечера. Приезжайте! Рассказывать не будете. Скучать я вам не дам. До скорого свидания. О. Г.»

После такой приписки нельзя уже было не ехать.

«Вот у них и отдохну эти пять дней, — подумал Шмелев с чувством облегчения. — Волга!.. Этим все уже сказано. Буду ходить с Семеном рыбу ловить, бродить по лесу... Лучше всякого курорта».

Чертежник Зорин, высокий, всегда улыбающийся блондин, сказал Шмелеву с чувством зависти:

— Желаю вам, Дмитрий Иванович, хорошенько округлиться и загореть на весеннем солнце.

— Благодарю, — сказал уходя Шмелев.

Он зашел домой, попросил мать собрать ему в дорогу все необходимые вещи, а сам отправился в магазин покупать крючки, лески, — все то, что необходимо для рыбной ловли.

Поезд отходил в семь часов утра. Когда Шмелев вышел из дома, солнце уже взошло, но крыши домов все еще были черные и влажные от росы. Кое-где из труб виделся легкий дымок, бесследно растворяясь в нежно-голубом небе. От тополей исходил горьковато-приятный запах. Листья еще не распустились, но кроны издали казались зелеными.

Шмелев нашел свое место в вагоне, сел и раскрыл книгу. Но прочитав несколько страниц, убедился, что дальше читать не может. Его одолевал сон. Чтобы не дремать, он стал глядеть в окно, откинувшись на спинку дивана.

Он очнулся от толчка и, глядя изумленно на проводницу, никак не мог понять, когда же он успел заснуть.

— Вам, кажется, здесь сходить? — сказала проводница, называя станцию, к которой сейчас подходил поезд.

Выйдя на привокзальную площадь, Шмелев поставил чемодан и внимательно огляделся, точно хотел сразу же узнать, как встретит его этот небольшой, вероятно, очень зеленый летом городок. За рекой, ярко просвечивающей между домами, виднелась деревня. Пестрые избы, толпясь, сбегали к самому берегу, словно торопились на паром, соединяющий эту деревню с фабричным городом.

— На «Красное эхо»? — спросил у Шмелева человек в выцветшем военном костюме.

— Да, а — что?..

— Пойдемте на машину.

Человек в военном костюме взял чемодан и, не взглянув даже, следует ли за ним Шмелев или нет, направился к машине.

«Неужели за мной выслали? — подумал Шмелев. — Для начала совсем хорошо... Но откуда Грачев знает, что я сегодня приеду?»

И как бы отвечая на его мысли, водитель опустил чемодан за борт кузова и сказал:

— Каждое утро выезжаю к приходу поезда.

Шмелева подвезли почти до самой квартиры Грачева. Тот жил в двухэтажном доме с шиферной крышей, обычном стандартном доме, отличавшемся от других таких же только тем, что наличники и переплеты рам по чьей-то прихоти были выкрашены в колочо-синий цвет.

— Наконец-то! — воскликнула Ольга Панкратьевна, увидев входившего по лестнице Шмелева. — А мы вас так ждем... Вы не можете представить! Раздевайтесь, пожалуйста! Пальто — сюда, нет-нет, вот сюда... — говорила торопливо Ольга Панкратьевна, и Шмелев не мог не догадаться, что она действительно рада его приезду.

Пока Шмелев приводил себя в порядок, Ольга Панкратьевна сбегала к соседям и позвонила мужу, сообщила ему, что приехал Дмитрий Иванович. Когда она вернулась, Шмелев с влажными волосами, зачесанными назад, стоял у раскрытого окна и курил. Голубоватый дымок тянуло не в окно, а к двери комнаты.

— Прошу извинить, что я оставила вас одного, — сказала Ольга Панкратьевна своим мягким, приятным голосом, который Шмелев мог бы, кажется, отличить от сотни других голосов.

— Пожалуйста, — как бы непринужденно ответил Шмелев, незаметно рассматривая Ольгу Панкратьевну, сидевшую против него в жестком кресле так, что видела свое отражение в зеркале. Она была одета в простенькое, но со вкусом сшитое платье, отделанное по вороту белыми кружевами.

— Я очень рада, Дмитрий Иванович, что вы, наконец-то, приехали, — повторила она, уголками глаз взглянув на свое отражение. — Вы заметно похудели. Много работаете?

Она замолчала, и Шмелев понял, что она спрашивала его.

— Да нет, Ольга Панкратьевна, нельзя сказать, чтобы через силу, но... бывает. Знаете, увлечешься...

— Вот и Семен тоже. Целыми днями сидит на фабрике. По воскресеньям-то и то не всегда бывает дома. Он скоро и меня-то совсем забудет! — говорила Ольга Панкратьевна, лучась милой, сдержанной улыбкой, отражавшейся в ее крупных темносиних глазах. — Прошу вас, Дмитрий Иванович, отвлеките его хотя бы немного, попридержите около себя. Закачимся втроем куда-нибудь на лодке... Скажем, на остров...

это километров двенадцать вниз по Волге. На весь день... Так хочется встряхнуться! Вас-то Семен послушается...

— Да уж я теперь не дам ему засиживаться на фабрике. Пригласил — изволь занимать гостя. А то и дружба врозь... Завтра же, чуть свет, я потащу его на рыбную ловлю. Пусть угощает стерляжкой ухой. И на остров съездим, Ольга Панкратьевна. А по вечерам будем сказки рассказывать, в карты играть и вообще заниматься милыми глупостями!

Шмелев прошелся по комнате, осторожно взглянув на отражение Ольги Панкратьевны в зеркале, и, опять встав у окна, закурил, а Ольга Панкратьевна стала с увлечением рассказывать, как лучше всего обставить и провести его пятидневный отпуск.

— С каждым годом вы становитесь все восторженней, — не удержался Шмелев, чтобы не выразить свое чувство искреннего восхищения Ольгой Панкратьевной, за которой в свое время, в пору ранней молодости, он ухаживал вместе с Грачевым.

— Это я только с вами, Дмитрий Иванович, а с мужем всегда ругаюсь и нервничаю... Да сядьте, пожалуйста, — сказала она кокетливо, — чего вы все стоите? Курить можете и рядом, все равно же дым идет на меня.

Шмелев подставил стул и сел против нее.

— Нет, Ольга Панкратьевна, вы ничуть не изменились. Как были так и есть... Время обходит вас стороной.

— Ну, что вы, Дмитрий Иванович! Мне кажется, я сильно изменилась. Видите: под глазами-то уже морщинки появились, — и она сощурила глаза, как бы для того, чтобы показать Шмелеву свои новые морщинки, а на самом же деле потому, что она знала, что ее прищурка нравилась ему.

Вскоре пришел Грачев. Еще с порога прихожей он крикнул:

— Приехал, значит? Не обманул?

— Приехал... как видишь.

Они поздоровались весело и шумно, заключая друг друга в объятия, похлопывая по плечам и даже напеременку подняли один другого, точно вдруг решили померяться силами. Ольга Панкратьевна наблюдала за ними со счастливым выражением на лице, уверенная в том, что с приездом Дмитрия Ивановича изменится, хотя бы на время, установившийся в доме немного скучный и однообразный порядок.

— Надолго? — спросил Грачев после того, как были перепробованы все приемы дружеских встреч.

— Надолго, но не настолько, чтобы тебе надоест.

— Мне-то надоест нельзя... Я дома-то почти не бываю...

— Слышал, Ольга Панкратьевна уже рассказала.

— Нажаловалась? — спросил Грачев, взглянув с улыбкой на жену, вернувшуюся из кухни, где что-то шумело, потрескивало и откуда доносились приятные запахи жареного лука.

— Совсем и не жаловалась, — сказала без обиды Ольга Панкратьевна, машинально вытирая оборчатым передником покрасневшие у плиты руки. — Разве тебя какой жалобой изменишь?

— Это, пожалуй, верно. Привычка — вторая натура...

Грачев был беспокойный, непоседливый человек. Он был постоянно в движении. Закончив монтаж на одной фабрике, он переезжал на другую. Ему несколько раз предлагали работу в управлении. Он отказывался. «Скучать буду, — говорил он, — а тут поближе к жизни. А жизнь наша, как горная река, она даже камни за собой тащит». Вместе с ним ездит и его жена, очень живая, образованная, окончившая керамическое отделение строительного института.

— Прощу к столу, товарищи мужчины, — сказала Ольга Панкратьевна, появляясь из кухни.

Уступая друг другу дорогу, мужчины пошли вслед за ней.

— Ох уж эта мне вторая натура, — сказала Ольга Панкратьевна за обедом, продолжая прерванный разговор. — Я не знаю, Дмитрий Иванович, что и делать!..

— А что такое? — спросил Шмелев.

— Да хоть разводись с мужем. Выработал себе какую-то вторую натуру, а теперь вот и не сидится ему на одном месте. Как лодка с парусом: чуть ветер подул, так и поехали. Из-за него и я не работаю. Прошлый год мы жили в Астахове. Там имеется кирпичный завод. Так я, поверите ли, Дмитрий Иванович, просто обрадовалась одному виду и запаху жидкой глины. Керамичка, а пришлось заниматься кирпичом. А здесь и этого нет. Вот и сижу без дела... Из-за тебя, — обратилась она к мужу, — я и специальность свою потеряю!

— Конечно, — сказал Грачев с легкой иронией над самим собой, понимая этот разговор, как только шутку, — я немножко эгоист, — все делаю так, как нравится мне. Но вот при Дмитрии даю тебе торжественное обещание прибить себя к постоянному месту.

— Не верится что-то... На тебя нужен слишком большой гвоздь. Что вы скажете, Дмитрий Иванович?

Шмелев пожал плечами:

— Поживем, увидим...

— Простите, но это не ответ, это дипломатическая увертка, — сказала Ольга Панкратьевна, разливая в чашки крепкий кофе. — Поживем... — Она улыбнулась и, глядя на Шмелева, сощурила глаза. — Конечно... Что ж еще? Придется мучиться с таким мужем всю жизнь.

После обеда Грачев повел Шмелева в свою рабочую комнату, чтобы там, как он сказал жене, «покурить без стеснения». Большой письменный стол, обтянутый малиновым сукном, был завален книгами, справочниками и чертежами. Окно выходило во двор, сейчас освещенный заходящим солнцем.

— Ну, как идут на фабрике дела? — первым спросил Шмелев.

— В общем-то ничего, но... — Грачев потянулся к столу и нашел какую-то схему, испещренную на полях расчетами... — управление допустило ошибку, план монтажа составлен не точно. Приходится исправлять на ходу.

— Ты начальнику докладывал об этом? — спросил Шмелев, рассматривая наскоро набросанную карандашом схему.

— Докладывал, обещал выслать другой план, исправленный, но пока ничего нет. Руководжусь вот этой собственной схемкой...

Послышались шаги Ольги Панкратьевны, и Грачев замолчал, бросив на стол бумагу.

— Чем он вас угощает? — обратилась Ольга Панкратьевна к Шмелеву, войдя в комнату. — Наверное, рассказами о фабрике?

Шмелев переглянулся с Грачевым.

— Совсем напротив, Ольга Панкратьевна, — сказал торпливо Шмелев. — Сидим и обсуждаем обширный план... рыбной ловли. Не беспокойтесь. Все идет, как и должно быть.

Последнее замечание Ольга Панкратьевна поняла, как напоминание о дневном разговоре, который был у нее со Шмелевым, и тоном примирительного восторга сказала:

— Очень рада, Дмитрий Иванович!..

Вечером она спросила, что им приготовить на рыбную ловлю, не положить ли, вместе с закусками, четверку водки.

— Можете промочить ноги, а утром еще совсем прохладно, — заботливо сказала она.

Мужчины одобрительно закивали головами:

— Обязательно положить!

— Только долго-то не засиживайтесь, — посоветовала Ольга Панкратьевна. — Вы же, вероятно, рано встанете?

— Надо полагать — до солнца. Как, Семен?

— Ну, да... Рыбу только и ловить на заре. Ты иди, Оля, отдыхай. Мы сейчас покурим и тоже ляжем.

— Вам будет удобно на диване? — спросила Ольга Панкратьевна.

— Вполне, — сказал Шмелев. — Спокойной ночи.

Ольга Панкратьевна легла в постель и, не засыпая, долго слышала, как за стеной продолжался неясный разговор. «Старые товарищи, а видятся редко, вот никак и не наговорятся», — думала она. Потом Ольга Панкратьевна забылась, как ей показалось, всего на несколько минут, но когда она открыла глаза, была очень удивлена тем, что увидела. На улице было почти совсем светло. Уже ясно различались очертания деревьев, в стеклах окон противоположных домов отражалось, как в лужицах, посеревшее небо. «Скоро надо бу-

доть...» — подумала она о муже и Шмелеве, сговорившихся идти на рыбную ловлю. И вдруг она услышала, что за стеной попрежнему бубнят голоса.

Не веря себе, она надела халат и пошла в соседнюю комнату. Дверь была приоткрыта, и Ольга Панкратьевна, прежде всего, увидела густой слой дыма. Постель Шмелева была нетронутой. Муж и Дмитрий Иванович стояли, склонившись над столом, и тыкали пальцами в развернутый чертеж.

— Ну, куда же это годится? — сказала она строго, входя в комнату. — Уже рассветает, а вы еще и не ложились спать! А накурили, бог ты мой!..

Застигнутые врасплох, муж и Шмелев стояли перед ней с серыми лицами и припухшими от бессонницы глазами и, к удивлению Ольги Панкратьевны, улыбались. Она окинула их осуждающим взглядом, и вдруг ей показалось, что сейчас они были разительно похожи друг на друга. Она не сдержалась, наблюдая их растерянный вид, и рассмеялась.

— Немедленно ложитесь спать... а утром я придумаю для вас наказание.

— Прошу извинить, Ольга Панкратьевна, — сказал виновато Шмелев, — действительно, заговорились... И как это так, Семен, мы засиделись? И рыбная ловля сорвалась теперь. Ах, как нехорошо получилось!

Шмелев, несмотря на то, что ночевал на новом месте, спал против обычного очень крепко и не слышал, когда ушел Грачев. Сидя на диване, он закурил, вспоминая весь ночной разговор. План монтажа, действительно, требовал исправлений, и чтобы не откладывать дело до своего возвращения на работу, Шмелев решил оказать всю возможную помощь теперь же. Они договорились, что он, Шмелев, утром зайдет на фабрику, но постарается сделать это так, чтобы не сразу догадалась Ольга Панкратьевна. И теперь он думал, как уйти незамеченным из дома?

«А к чему эта игра? — спросил он себя. — Да так прямо и сказать ей, что идет на фабрику, чтобы помочь ее мужу. Она должна понять...»

Но в самую последнюю минуту передумал и решил все-таки сказать Ольге Панкратьевне, что идет прогуляться в лес.

— Если уж проспали рыбную ловлю, так хоть пойти подышать лесным воздухом. Там, вероятно, прелестно. Пахнет соснами, прошлогодними грибами... — говорил он, стараясь казаться как можно натуральнее, чтобы не вызвать у нее даже малейших сомнений.

— Вы в ботинках пойдете? — спросила, удивленно Ольга Панкратьевна.

— Да, но... в самую-то гущу я, разумеется, не поеду.

— Что вы, Дмитрий Иванович! — почти трагическим тоном произнесла она. — Все равно нельзя! Там же совсем сыро!

— Ну, если очень сыро, я могу и не пойти, Ольга Панкратьевна. Сейчас же вернусь домой.

Шмелев ушел, но вернулся только во второй половине дня, когда Ольга Панкратьевна, порядком наволновавшись, уже перестала его ждать. А спустя минут пятнадцать пришел и муж. Он что-то все посмеивался, избегая смотреть жене в глаза, и вообще вел себя так, словно в чем-то провинился перед ней, но не решается признаться.

— Долго же вы гуляли, — сказала Ольга Панкратьевна, обращая на Шмелева свой взгляд с выражением вызова. — Видимо, хорошо в лесу?

— Превосходно, Ольга Панкратьевна, — ответил Шмелев, принимая ее вызов. — И, представьте, совсем сухо.

— Да, у вас такой вид, словно вы ходили по тротуару.

Для большего правдоподобия Шмелев стал с деланным увлечением рассказывать о своей прогулке. Ольга Панкратьевна слушала его терпеливо, но по всему было видно, что она не верит ему.

Когда она вышла из комнаты, Грачев сказал:

— Она уже, кажется, обо всем догадывается. Сказал бы прямо... Чего там: лес, прогулки... А сам хотя бы во дворе га-loши-то испачкал. В лесу-то, действительно, грязно. Вот ты на этом и попал...

— Что говорить, промахнулся. Придется признаться.

Но за вечерним чаем Ольга Панкратьевна первой сказала мужу, как бы желая рассеять все недоразумения:

— Как тебе не стыдно, Семен? В кои-то веки Дмитрий Иванович приехал в гости, а ты уже стараешься затащить его на фабрику, заставляешь разбираться в твоих чертежах. Ну, что он скажет про тебя? Да он больше никогда и не придет.

— Вы, Ольга Панкратьевна, напрасно нападаете на мужа, — сказал Шмелев как-то робко, точно заранее опасаясь вызвать с ее стороны немилость. — Ни о чем Семен меня не просил, никуда не тащил. Если уж хотите ругать, так ругайте меня... Я не сдержал своего слова. Что ж делать? Но я не мог не пойти товарищу навстречу. Надо было помочь... Вот и все. Мне кажется, Ольга Панкратьевна, что это не такое уж большое преступление.

Она сменила гнев на милость и укоризненно покачала головой, словно в чем-то раскаивалась и что-то сожалела.

На другой день ни Шмелев, ни Грачев уже не говорили больше о рыбной ловле, о поездке по Волге на лодке и ничего не обещали Ольге Панкратьевне. С утра они ушли оба на фабрику и пробыли там до обеда, а после обеда снова ушли туда.

Так прошли все пять дней. Шмелев собрался домой.

Ольга Панкратьевна и Семен провожали его до вокзала. Они шли проселочной дорогой, пересекающей лес. Места

здесь были высокие, и дорога совсем подсохла. На полянках пробилась густая, игольчатая трава. Кое-где синели подснежники, словно капли сине-голубого неба. От деревьев пахло соком и набухшими почками. В лесу все было прекрасно, и Шмелев искренно пожалел, что не побродил по лесу, не съездил на рыбную ловлю, не покатался по Волге на лодке, о чем думал с такой надеждой, собираясь в гости к Грачеву.

Когда раздался второй звонок и паровоз подал гудок к отправлению поезда, Ольга Панкратьевна протянула Шмелеву свою маленькую, крепкую руку.

— Благодарю вас, Дмитрий Иванович... — сказала она с усмешкой. — Вместе с вами и муж мой немного развлекся...

Шмелев понял ее недобрую шутку, но смущаться и рассказывать в чем-либо было уже поздно.

— Я это сделаю в другой раз... если, разумеется, вы разрешите мне приехать, — договорил он, поднимаясь на нижнюю ступеньку двинувшегося вагона.

— Будем ждать... Не забудь, Дмитрий, напомнить там... о чем говорили. Слышишь? Приезжай, рыбу ловить будем! — кричал Грачев, идя за вагоном и помахивая старенькой, выгоревшей на солнце шляпой.

— Приезжайте, — донеслось до его слуха последнее слово Ольги Панкратьевны.

На следующее утро Шмелев явился в управление на работу. Первым встретил его чертежник Зорин. Пожимая руку и глядя Шмелеву в лицо со своей постоянной улыбкой, такой же привычной, как усы, он сказал:

— Очень хорошо выглядите, Дмитрий Иванович. Вот что значит свежий воздух, здоровая деревенская жизнь... Прекрасно отдохнули?

— Благодарю вас, отлично отдохнул, — ответил Шмелев, направляясь к начальнику, чтобы исполнить просьбу Грачева.

ГРОЗА ПРОШЛА СТОРОНОЙ

На другой день после возвращения из армии Михаил Копытин сказал своей жене:

— Знаешь что, Аня? Тебе надо хорошенько отдохнуть. Ведь я знаю, дорогая, как тебе было трудно без меня. Теперь ты можешь ни о чем не беспокоиться. Сегодня я уже заходил в монтажное управление, договорился, что буду работать у них бригадиром. Заработок, говорят, высокий...

Анна сидела на диване, подобрав под себя ноги, а Михаил ходил по комнате, легко ступая по полу в своих до бле-

ска начищенных сапогах. Рослый, плечистый и возмужавший, одетый в костюм офицера, Михаил казался почти красавцем. И Анна не столько слушала, что говорил ей муж, сколько наблюдала за ним, с тайной гордостью любясь его внешне-стью. Она глядела на его полное лицо и старалась отметить каждую новую морщинку, еще неизвестную ей. Она как бы заново открывала и узнавала его. Прежде, до войны, у Михаила была небольшая сутуловатость. Теперь он держался прямо, в его походке появилось даже что-то похожее на изящество.

— Значит, ты хочешь, чтобы я ушла с фабрики?

— Конечно...

— Но если уж рассуждать серьезно, так ты больше моего устал, — говорила Анна, продолжая следить за мужем.

— Почему? — с подчеркнутой удивленностью спросил он, останавливаясь возле дивана.

— Ну, как же?.. Не мне объяснять, сколько ты всего перенес на фронте.

Михаил держал в своих руках ее жесткие и красивые руки с маленькими пальцами и, старательно подбирая наиболее убедительные слова, говорил:

— Нет, Аня, я чувствую себя хорошо. И обо мне ты, пожалуйста, не беспокойся. Ни о чем теперь не беспокойся..

Анна глядела на мужа снизу вверх, и глаза ее улыбались. Она была искренне и глубоко растрогана его словами. После шести лет непрерывных тревог и ожиданий радость встречи была так велика и всеильна, что она как-то заслонила все то, что было связано с уходом с фабрики.

И вот началась для Анны новая, совсем непривычная жизнь. Вступая в нее, она предполагала, что у нее будет много свободного времени и она будет тяготиться бездельем. Но уже спустя несколько дней, Анна убедилась, что у нее даже нехватает времени. Она была удивлена тем, как много находилось у нее по дому разных дел. Они возникали как-то сами собой. И чем скорее она старалась управиться с ними до прихода мужа, тем все более возникало их под руками. Иногда Анне начинало казаться, что от этих мелких домашних дел, которых она раньше как-то не замечала, никогда не избавишься.

Тогда она просто бросала возню, уходила из кухни в комнату и садилась на диван с книгой. Но проходило полчаса, час, и Анна вновь принималась что-нибудь делать. И так каждый день. И Анна стала ожидать с работы мужа, как ждут смены. Он приходил всегда веселый, жизнерадостный, полный свежих впечатлений. Своим появлением он вносил оживление. Расхаживая из комнаты в комнату, он поскрипывал сапогами, под тяжестью его шагов покачивался в кухне шкаф и тоненько позванивала посуда. Кажется, все вокруг

его оживало, пело и радовалось. Анна прислушивалась ко всем этим звукам и тоже радовалась, что нарушена тишина, которая окружала ее в течение всего дня.

Михаил садился обедать, и это короткое время за столом было для Анны самым большим отдыхом. Муж с увлечением рассказывал о фабричных новостях, о своих успехах.

— Ах, как мы сегодня, Аня, здорово поработали! — говорил Михаил с искренним воодушевлением. — Ты даже представить не можешь. Бригадку я подобрал себе — на славу. Ребята — один к одному. Все бывшие фронтовики. По работе изголодались. Из-под рук искры летят. Честное слово! Один Колька Сизов чего стоит. Ты, вероятно, помнишь его? Он у вас на фабрике ремонтником работал.

— Это которому на вечеринке усики-то, что ли, подпалили? — увлекаясь рассказом мужа, спрашивала Анна.

— Вот-вот, он самый!.. — почти кричал Михаил и сейчас же, забывая то, что хотел сказать о Сизове, начинал говорить уже о другом. Он торопился сообщить жене все, что было с ним за день.

Не подозревая, Михаил исподволь подтачивал то некрепкое основание, на котором покоилось новое положение жены. Анна все чаще начинала думать о том, что она ошиблась. Было такое состояние, словно она добросовестно вертела колесо, но вдруг оказалось, что она вертела его напрасно, потому что это колесо ни с чем не было соединено, ничто не приводило в движение. Только теперь она поняла, что не может забыть свою фабрику. Как незримая сила, она влекла ее, заставляла постоянно думать о себе.

Анна не раз уже говорила об этом с мужем. Но Михаил всегда старался отделаться шуткой. Он убеждал ее, что все это ничто иное, как минутное настроение. «Успокойсья, — говорил он, — и все пройдет, и все забудется»...

Во время таких разговоров он был особенно ласков, предупредителен. Анна сдавалась, но не надолго. Проходила неделя, другая и в ней вновь назревала решимость. Во время последнего разговора Анна вела себя довольно резко, и они разругались. Михаил говорил с обидой, что она не хочет понять того, что Петя, их семилетний сын, может избаловаться без постоянного материнского глаза и что вообще ему приятно, когда он знает, что жена каждую минуту ждет его дома.

— Еще бы!.. — возражала Анна, возбужденно блестя глазами. Мочки ушей, видневшиеся из-под светлых волос, налились кровью. — Тебе хочется сделать из меня домашнюю сиделку. Теперь-то я понимаю тебя...

— Подожди, Аня, — остановил ее Михаил, глядя ей не в глаза, а на красные, кажется, готовые лопнуть, мочки ушей. — Подумай, что ты говоришь?

— Я говорю то, что думаю, что чувствую. С меня достаточно!

— Нет, недостаточно. Ты не одна... и не забывай этого! — уже горячился и Михаил.

Хлопнув дверью, он вышел в другую комнату.

До вечера они не разговаривали друг с другом. В комнатах было тягостное молчание. За чаем Михаил сказал:

— Вот уже началась драма... Кажется, рано после шести-то лет?

— А потому, что ты не можешь меня понять. И мне очень обидно... Да. Обидно, Миша... — у нее опять порозовели мочки ушей.

— Ну, хорошо, бросим пока об этом.

Анна промолчала, и муж подумал, что она сдалась. Но она не могла отступить от своего решения. С фабрикой у нее была связана вся ее сознательная жизнь. Там она выросла, приобщилась к общественной работе. А теперь все, что прежде наполняло ее радостью, придавало смысл ее каждому шагу, все это отодвинуто куда-то в сторону. Да, она вертит холостое, ни с чем не связанное колесо. Она теперь не испытывала прежней радости даже и с приходом мужа. А рассказы его о фабрике она не могла уже слушать спокойно. Анне казалось, что муж нарочно говорит об этом, чтобы сделать ей неприятное.

Часы, висевшие в кухне над дверью, пробили семь раз. Анна сбросила с колен шитье и включила электрическую плитку, чтобы разогреть обед. Сейчас должен был прийти с работы Михаил.

«Да, все одно и то же... С этим надо покончить!»

Под окном, чертя круги, носились ласточки. Одна из них, видимо, решила влететь в кухню. Но, заметив Анну, остановилась, будто подвешенная в воздухе, часто-часто затрепыхала острыми крыльями и вдруг камнем упала вниз. Анна подумала, что с птицей что-то случилось. Она перегнулась через подоконник и поглядела. Почти у самой земли ласточка перевернулась с крыла на крыло, стремительно описала круг и скрылась за крышей стоящего напротив дома. И от того, что птица не упала, а так легко справилась и снова взмыла кверху, Анна почувствовала в себе что-то смутно приятное, словно в эту минуту она сама была этой птицей.

Тут же на кухне она поправила перед маленьким зеркальцем свои светлые и пышные волосы, спадающие до плеч, и пошла во двор за сыном. Еще с площадки лестницы Анна услышала разноголосые крики ребят, игравших в войну. Как ей показалось, всех громче кричал ее сын Петя, белоголовый семилетний мальчик, не по годам рослый и развитый.

«Больше ему теперь и заняться нечем, кроме вот этой беготни», — подумала Анна, сходя с крыльца.

Во дворе перед длинным дощатым сараем с односкатной крышей, между столбами были протянуты сильно провисшие веревки для сушки белья. Соседка по квартире Марья Николаевна, низенькая, сухонькая, но все еще удивительно живая и хлопотливая женщина, ходила среди этих веревок и снимала белье, складывая его себе на одну руку. В сороковом году, после того, как ее младшая дочь Надежда окончила текстильный институт и поступила на фабрику мастером сновального отдела, Марья Николаевна решила, что теперь она сделала все, — детей подняла и вывела в люди, — и может спокойно отдыхать. Тридцать пять лет, проведенные за ткацкими станками, давали этой женщине право без каких-либо забот и тревог встретить свою почетную старость. Но когда началась война, Марья Николаевна, как и многие другие старые ткачихи, вернулась на фабрику, да так потом и осталась.

— Разработалась что-то и уходить не хочется, — говорила она, словно перед кем-то оправдываясь за свой поступок.

Сейчас Марья Николаевна стояла перед Анной, держа в руках ворох белья. Чтобы оно не топорщилось, Марья Николаевна придавила его подбородком.

— Погулять, милая, вышла или мужа идешь встречать? — спросила Марья Николаевна.

— Я за сыном, тетя Маша, — сказала Анна, почему-то испытывая неловкость перед этой старой женщиной.

— Петянька здесь... воюет. Вон он, слышишь, кричит?

Из дальнего угла двора доносились крики.

По выражению глаз, по тому, что Марья Николаевна не спешила уходить, Анна поняла, что старая ткачиха хочет ей что-то сказать, да не решается.

— Теплень-то какая стоит. Не успела повесить белье, а вот уже и просохло. Похоже на то, что гроза собирается. Вон и облака-то чернеть стали.

Анна слушала старую ткачиху и думала, что это совсем не то, что хотела сказать ей Марья Николаевна. И она продолжала стоять, дожидаясь этих невысказанных слов. В небе, с утра чистом, белесо-голубом от жары, появились облака, постепенно увеличиваясь и темнея. Солнце светило сквозь облака, распуская по небу, как павлиний хвост, стремительные лучи. В воздухе становилось тихо и душно. Было слышно, как носившиеся над землей ласточки рассекали крыльями воздух.

Анна так и не дождалась. Марья Николаевна, перехватив руками белье, пошла в дом, оставив Анну, которая не понимала, что с ней происходит. Ей стало тяжело дышать, словно в нее хлынула вся духота предгрозы.

«Что это сегодня со мной?» — подумала Анна, направляясь за сыном.

Пройдя несколько шагов, она оглянулась. У раскрытого

окна первой лестничной площадки стояла Марья Николаевна и через ворох белья следила за ней. Марья Николаевна, видимо, не рассчитывала, что Анна заметит ее, и покраснела, смущенно улыбнулась и нерешительно заговорила:

— А что я тебе забыла сказать, Анна Егоровна? Память-то ведь какая стала..

— Да что такое, тетя Маша? — спросила Анна, делая над собой большое усилие, чтобы казаться спокойной.

— Новость-то, может, и небольшая для тебя. Я уж и то думала: сказать, мол, ей или не надо? Слово-то не само по себе хорошее, а как принимают это слово. Нынче ко мне Ветелкина подошла да и говорит: «Чтой-то, дескать, Анна Егоровна-то никогда к нам не заглянет? Или ей совсем фабрика разлюбилась? Или обиделась на что?..» А я отвечаю ей, Ветелкиной-то: «А зачем она пойдет? Вы ее не зовете, а у нее особой нужды тоже нет. Муж вернулся домой благополучный, — она теперь может и отдохнуть. Неволить нельзя человека. Как хочет, так и живет». Поговорили мы так-то с ней, а потом она просит: «А ты все-таки скажи Анне Егоровне, чтобы она не забывала своих подружек. А не то я и сама к ней завтра зайду». Значит, жди, милая, гостью..

— Спасибо, тетя Маша... хорошо, что сказала.

— Хорошо ли, нет ли, — это уж как тебе покажется.

Анна нашла сына там, откуда доносились ребячьи голоса, — в самом дальнем углу двора, где вдоль забора росла акация и была устроена клумба, на которой торчало несколько кустиков общипанных цветов. Подойдя к сыну, Анна едва не всплеснула руками: надетый днем чистый костюмчик был сейчас весь перепачкан.

— Как ты извалялся! — сердито сказала она, лоя руку Пети и в пылу раздражения дергая его с силой за руку. — Посмотри, на кого ты похож!..

Крепкий, проворный, с раскрасневшимся от беготни лицом, Петя глядел не на мать, а продолжал следить за ребятами, прятавшимися в кустах акации. И только когда Анна вторично потянула его к себе за руку, он сказал, самолюбиво выпячивая нижнюю губу:

— Это мы в войну играли..

— Ну кто ж так играет? Разве ты не мог аккуратнее? Костюм-то совсем грязный!

Петя спокойно оглядел себя:

— Нет, мама, это совсем не грязь.

— А что же это?

— Земля.. Она отмоеся.

— Я больше совсем тебя не буду пускать во двор!

Петя недовольно поспел носом и еще раз погладил на свои колени и локти. Они, в самом деле, были здорово затерты землей. Да и весь он был перепачкан. Но зато он от-

личился, будучи разведчиком. Конечно, это было нехорошо, что он так запачкал костюм, но разве он мог поступить иначе, если была затеяна столь интересная и важная игра? Может быть, его следовало бы похвалить, что он старательно исполнял свои обязанности разведчика, а вместо этого — его ругают. И ему стало обидно за эту несправедливость.

— И в детский сад совсем не хожу, и во дворе теперь нельзя играть... Где же я гулять буду? — спрашивал в отчаянии Петя, входя вместе с мамой в комнату.

— Вот здесь будешь сидеть, в комнате...

— А я не хочу здесь.

— Замолчи, нехороший ты мальчишка!.. Грязнуля! — говорила Анна, переодевая сына и борясь с собой, как бы не накричать лишнего и не дать ему шлепка: теперь уже не за то, что сын перепачкался в пыли, а за то, что он так дерзко разговаривает с ней. Раньше этого никогда не было.

Петя в одном лифчике и чулках, пристегнутых резинками к лифчику, стоял на стуле и ждал, когда мама вернется из кухни, куда она понесла его грязный костюмчик. В его глазах, похожих на отцовские, с выгоревшими светлыми ресницами, светилось раскаяние. И как только Анна вошла в комнату, Петя бросился ей на шею, так что, если бы она не поддерживала его, он мог бы свалиться со стула. Он обхватил ее своими мягкими и теплыми ручонками и начал жадно целовать ее и прижиматься к ней всем тельцем. Сейчас это был уже тот прежний Петя, который был ей так всегда мил и которым она гордилась, как примерным и воспитанным сыном. Минутное раздражение улеглось, и Анна почувствовала, как к ее лицу прилила кровь. И вот она уже начинает винить не сына, а себя, хотя еще никак не может понять, в чем, собственно, она виновата?

Раньше, до приезда мужа, Петя ходил в детский сад. Анна провожала его, когда шла на смену, а возвращаясь с работы, — заходила за ним. Иногда она заходила слишком поздно, задержавшись на собрании, Петя спал уже в кроватке — теплый, розовый и мягкий.

— Не надо, Анна Егоровна, не беспокойте сына. Ну что вы его понесете по городу? Только сон испортите. Оставьте его, а завтра возьмете. Ему здесь хорошо, — говорила молодая воспитательница с пепельными волосами, которые казались седыми и делали ее миловидное лицо несколько старше.

Анна тихо, на одних носках выходила из комнаты, боясь потревожить спящих детей в кроватках с высокими сетками. Перед дверью она оглядывалась, чтобы еще раз посмотреть на сына, и уходила, простившись с воспитательницей — с этой милой женщиной, в душе которой было так много любви и сердечного тепла и которая умела ухаживать равно за все-

ми детьми, заменяя им на время мать, а некоторым и на долгие годы.

— Папа еще не пришел? — спросил Петя, уже переодетый и вымытый, забравшись к матери на колени.

— Нет, не пришел, — ответила Анна, машинально взглянув на часы, висевшие над дверью.

— Я пойду встречать его. Ладно?

— Не надо.

Пробило уже восемь часов, а Михаила все еще не было. Подогретый обед уже начинал остывать. Анна снова включила плитку. Обычно муж никогда не запаздывал. Если предполагалась какая-нибудь срочная работа или должно было состояться собрание, Михаил в таких случаях обязательно предупреждал еще с утра. Эта точность, аккуратность и предупредительность составляли новую черту в характере мужа, которой прежде у него не было. Это нравилось Анне, хотя, к своему удивлению, она принимала заботу и предупредительность мужа как нечто лишнее.

Разрозненные облака соединились в одну большую и тяжелую лилового цвета тучу. Она расплзалась все шире и шире. Лучи солнца еще стелились по земле, но в воздухе было необъяснимо сумрачно. В квартиру доносились трамвайные звонки, которые обычно не были слышны. От земли исходило горячее дыхание. Оно чувствовалось даже здесь, на третьем этаже. Пахло сухой пылью и откуда-то занесенным дымком. Да попрежнему без шума носились ласточки.

В дверь тихо постучали.

— Папа пришел! — обрадованно закричал Петя, бросая свои игрушки и направляясь к двери.

Но по одному стуку Анна поняла, что это был не Михаил. Она встала и открыла дверь. Перед ней стояли две девушки. Одна из них была полная, в сиреневой кофточке, с круглым и некрасивым, но выразительным и умным лицом. Другая была повыше ростом, стройная, с остреньким лицом и бойкими темными глазами. На ней было легкое платье с такими удивительными цветами, что они казались живыми. Анна увидела все это в какую-то долю секунды, потому что все ей было знакомо. Обе эти девушки были молодые ткачихи, ее ученицы.

— Здравствуйте, Анна Егоровна, — почти одновременно сказали девушки.

— Здравствуйте, девушки! — обрадованно воскликнула Анна, протягивая к ним руки, словно боялась, что девушки могут уйти. — Проходите, пожалуйста!

— Мы всего на одну минуту, — сказала Лида, полная девушка, как всегда стеснительная и скромная.

— Нет уж, девушки, если пришли, так скоро я вас не отпущу.

Она обняла девушек и повела в комнату. Усадив их на диван, Анна сказала:

— Ну, рассказывайте, как живете, как работаете? Как твои успехи, Лида?

— Успехи у меня хорошие, Анна Егоровна. Спасибо. Как вы мне показывали, так я все и делаю.

— Теперь бы я за тобой, верно, не угналась. Ты способная девушка. Сколько было у меня учениц, ты, кажется, первая такая.

Анна помолчала, потом улыбнулась и, лукаво блеснув глазами, сказала:

— А узелки, узелки-то у тебя как теперь? Освоила? Ты, помнится, немного путалась с ними!

Лида тоже улыбнулась широкой и открытой улыбкой человека, который не умеет и не старается ничего скрывать:

— Какое немного, Анна Егоровна! Пальцы-то у меня... мне бы вот Катины пальцы-то, другой бы совсем разговор был. Уж я мучилась, мучилась... Вы не знаете, Анна Егоровна, а ведь я иной раз ночи не спала. Придешь домой, сядешь к столу и вяжешь, и вяжешь узелки. Трудно они дались мне, Анна Егоровна.

— Но все-таки дались?

— Дались. Теперь они как-то сами с пальцев сходят.

— Скромничает она, — сказала Катя. — Никакие там ни пальцы виноваты были. Просто она хотела работать так же, как и вы, Анна Егоровна. Вот и все. Ваши приемы наши девчата все стараются перенять. Все хотят быть такими же ткачихами.

Анна уже приготовилась было что-то сказать, но, услышав последние слова Кати, смолчала. Веселое выражение, которое было до этой минуты на ее лице, заменилось выражением сосредоточенности. Анне было приятно, что ее, оказывается, помнят на фабрике. Больше того, ее приемы работы передаются другим. А она-то думала, что ее уже совсем там забыли.

— Неужели меня еще помнят на фабрике? — спросила Анна прерывающимся от волнения голосом, боясь взглянуть девушкам прямо в глаза.

— О чем вы говорите, Анна Егоровна!.. — заговорила Катя. — Вас не только помнят... Да вас никто не забывал! И нельзя забыть-то. Даже в газете и то всегда отмечают... В пример всем ставят.

— Слушайте, девушки, — улыбнулась Анна и сама почувствовала, что улыбка у нее вышла какая-то неловкая и невеселая. — Нельзя ставить меня в пример. Понимаете? Нельзя. Неправильно это.

— Почему? — удивленно спросила Лида.

— Как тебе объяснить, Лида? Просто нельзя. Человека

уже давно нет на фабрике, а других заставляют у него учиться. Что же это получается? Нет, это неправильно, — повторила Анна, хотя внутренне не была убеждена, что это, действительно, неправильно.

— Так или не так — об этом надо говорить с дирекцией, — рассудительно сказала Катя. — А мы только радуемся, когда вас вспоминают. Вы нас научили работать, и мы очень вам благодарны.

Катя взглянула на Лиду. Та пересела на край дивана и достала из кармана блузки что-то завернутое в носовой платок. Анна внимательно следила за движением ее пухлых, но таких проворных в работе рук. Когда ее, эту Лиду, привели и поставили к ней обучаться, Анна, оглядев полную, несколько, как ей показалось, мешковатую фигурку совсем еще молодой девушки, решила, что из Лиды едва ли выйдет хорошая и расторопная ткачиха, какой бы она хотела видеть каждую свою ученицу. Но прошло всего полтора месяца, и Лида показала, что Анна ошиблась. С тем большей охотой Анна стала заниматься с Лидой. И вот Лида уже стала одной из лучших ткачих на фабрике, а ее учительница...

Анна встала и прошлась по комнате. Солнце было уже невидимо за домами. Ласточки прекратили свое кружение над землей. Они спрятались в предчувствии близкой грозы. Анне показалось, что она различила далекий, едва слышимый звук первого грома.

— Сидите, девушки, сидите, — торопливо заговорила Анна, увидев, что девушки тоже поднялись, готовые уходить. — Я так рада, что вы ко мне пришли. Я вас не отпущу. Сейчас будем пить чай. Куда вам торопиться? Ну, посидите!

— Нет, мы пойдем, Анна Егоровна, — извинительно заговорила Лида. — Нам нужно еще на собрание. Районный актив комсомола собирается. Ведь мы только на минутку забежали, проведать вас, да вот чтобы вы расписались в профбилете. Взносы-то уплачены, а новый профорг не расписывается. Это, говорит, вы должны сделать.

Анна взяла в руки профбилет Лиды, раскрыла его, и на нее, как большая и теплая волна, нахлынули воспоминания недавних дней. На листке профбилета, сбоку, месяц за месяцем стояли ее подписи. Да, это расписывалась она в приеме членских взносов, как сменный профорг.

— Я после распишусь... — сказала Анна, возвращая билет.

Лида поглядела на нее, ничего не понимая.

— Ну, чего ты не понимаешь?

— Значит, вы скоро на фабрику придете? — спросила восторженно Лида.

Девушки распрощались и ушли. Анна вернулась в кухню. Часы пробили девять раз. Михаила все еще не было. Она

раздела сына и уложила в постель. В отдалении теперь уже отчетливо и часто погромыхивало, словно по крыше ходили кровельщики в валеных сапогах. В комнате стало совсем невозможно дышать. Анна подседа к окну. Перед ней тянулась широкая зеленая улица с цементными тротуарами. Улица была пустынна, только кое-где у калиток стояли люди и глядели на приближающуюся грозовую тучу, не пролетит ли долгожданный дождь. Слева виднелись фабричные трубы. Стекла верхнего этажа были багрово-красными от последних лучей солнца, уже давно невидимого отсюда. Что сейчас связывает ее с этой фабрикой, на которой она проработала девять лет? Только, пожалуй, то, что ее там, к счастью, не забыли еще, помнят.

«Да вот эта еще недостающая подпись в профбилете Лиды» — подумала она, только теперь окончательно поняв, почему не расписалась в билете. Это значило бы оборвать последнюю ниточку, которая связывала ее с фабрикой и о которой она совсем не подозревала. И теперь была рада, что эта ниточка существует. Значит, она не все порвала с фабрикой. И никогда не порвет. Этого она не может сделать. Вот вернется муж и она все ему скажет. Он должен ее понять, что так она не может жить. Она лишилась того, что давало ей смысл жизни, наполняло радостью ее душу. Теперь у нее было все, кроме того, что делает человека счастливым.

Послышались три ровных удара в дверь. Так стучал Михаил. С нехорошим и смутным чувством в сердце Анна поднялась и пошла открывать дверь. Муж вернулся прямо в рабочем костюме. На его руках были следы масла и ржавчины. У него был вид уставшего человека. Но Михаил старался казаться все таким же веселым и бодрым.

— Извини, Аня, немного задержался.

— Ничего себе «немного»: на целых три часа... — сказала недовольно Анна.

— Срочную работу выполняли. Хотелось в срок закончить, как обещались...

«Сейчас опять будет что-нибудь рассказывать, — подумала Анна. — Неужели он не может догадаться, что мне больно слушать его?..»

Михаил умылся и сел к столу.

— Десять раз я не буду подогревать обед. Ешь теперь теплый. Не будешь запаздывать!

Анна сказала это, словно бросила вызов. Ей хотелось, чтобы Михаил ответил что-нибудь резкое. Тогда она выговорит все, что накипело у нее на душе. А муж только и сказал:

— Теплый обед всегда лучше холодного...

Михаил взглянул жене в глаза и весело рассмеялся. Анна подумала о том, что муж очень счастлив, как человек, который сделал что-то большое и важное.

— Ты не можешь себе представить, что это за парень — Колька Сизов! — похохатывая, заговорил Михаил. — Это он, собственно, и виновник-то всего. Нам предложили вывести из консервации станки. Целый комплект. Пришли, посмотрели. Срок дали тесный — три недели. А на многих станках требовалась замена частей. Так что сделал Сизов? Возьми и плесни масла в огонь. «На фронте все, — говорит, — были? Все. Что такое боевое задание знаете? Знаете. Пояснять не буду, здесь присутствуют постарше меня по званию... А предлагаю я вот что: вместо трех, закончить всю работу в две недели. Кто за эту тактику — шаг вперед!» Оська Шаров подходит к нему и говорит: «Считай меня первым... конечно за бригадиром и тобой. Ты ж у нас начинатель!» — и дружески хлопает его по спине ладошкой. А ладошка-то у него с медный поднос. Так и обязались закончить работу в две недели. Ну, и, как полагается, сдержали слово. Сегодня сдали комплект. Обещают премию...

Анна сидела, слушала Михаила, наблюдала за игрой его лица и глаз, полных воодушевления, и неожиданно отчетливо и ясно, как никогда до этого вечера, подумала о том, что Михаил как бы забрал себе и ее радость. А ей самой хотелось также испытывать радость от хорошей, удачливой работы, быть счастливой, что день прошел не напрасно, что она живет в шумном коллективе людей, занятых выполнением больших дел. Анна почувствовала то же самое состояние, что и во время разговора с Марьей Николаевной во дворе. Она встала и вышла из кухни в комнату. Занавеска теперь взлетала к потолку, а тополь, росший под окном, шумел шумно и тревожно. Было уже почти совсем темно. Там, откуда плыла туча, блеснула яркая молния, а спустя несколько секунд донеслось раскатистое эхо грома. Кажется, Марья Николаевна сказала правду: будет гроза.

В комнату вошел Михаил. Анна не оглянулась, продолжая глядеть в окно. Михаил подошел и обнял жену за плечи.

— Что с тобой, Аня? — спросил он сдержанно и осторожно, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Ничего. Все в порядке, — как ты любишь выражаться.

— По-моему, что-то случилось.

— Может быть, и случилось. Разве тебя интересует, как живет твоя жена, о чем она думает, что ее беспокоит? Тебе совсем нет до нее дела!

— Я совсем не узнаю тебя сегодня, Аня. Ты какая-то совершенно странная. Неужели ты могла обидеться на то, что я запоздал?..

— Какая ерунда, — с укором ответила Анна.

Михаил не знал, что сказать. Он стоял за ее спиной и наблюдал несколько минут за надвигающейся грозовой тучей.

— Брось ты, Аня, право... — заговорил Михаил в шутли-

вом тоне. — Ну что ты поднимаешь напрасно бурю? Почему ты не можешь сказать прямо? Все как есть... А то и там гроза, и здесь гроза...

— Ты опять со своими шуточками? А я хочу поговорить с тобой серьезно, Михаил.

Муж заметил, как брови у Анны схлестнулись, и из-под них блеснули глаза холодным синим огоньком.

— Я хочу вернуться на фабрику, — сказала Анна твердо и решительно. — Ты можешь теперь говорить все, что хочешь, но я решила...

— Ты говоришь об этом уже не первый раз, Аня.

— Так вот серьезно — первый раз. Тогда мне казалось, что я просто скуучаю по фабрике, по своим знакомым подружкам. Я думала, что пройдет некоторое еще время, и я забуду обо всех, как забудут и обо мне. А сегодня узнаю, что ошиблась... Ко мне приходили девушки...

— Это, конечно, приятно, — сказал Михаил, надеясь перевести разговор на что-нибудь другое. — Каждому приятно, когда о нем помнят товарищи. У нас тоже был такой один командир полка. Отважный и замечательный как человек. Его убило под Сталинградом в последние дни. Потом сменилось несколько командиров, приходили новые бойцы, но все попрежнему вспоминали того командира полка, даже и те, которые его совсем не видели и пришли в полк уже значительно позднее.

— Не понимаю, что ты этим хочешь сказать?

— Ничего, я просто вспомнил случай...

— Нет, не просто, — возразила Анна. — Ты хочешь сказать, что помнить могут и тогда о человеке, когда его совсем уже нет. Так ведь? Правда? Ты это хотел сказать?

— Я же тебе сказал, Аня, что просто вспомнил случай. А ты уже сразу обобщать... Тебе все кажется, что тебя не понимают...

— А разве ты понимаешь? — обернулась к нему Анна, быстро, как развернутая пружина, и Михаил не понял: или сверкнули ее глаза, или он увидел далекую молнию. — Я не могу более оставаться дома. Все что-то делают, а я сижу. А ведь я была на фабрике одна из лучших ткачих. Но когда я начинаю об этом говорить, ты стараешься отделаться шуточками, словно я глупенькая девчонка.

Слушая жену, Михаил старался убедить себя в том, что она заблуждается и на этот раз, что весь этот разговор вызван не столько ее действительным желанием вернуться на фабрику, сколько минутным раздражением. Поэтому он надеялся, что жена выговорится, одумается и сама же потом будет смеяться над своей горячностью. И думая так, он решил не мешать и не перебивать жену.

— Без тебя, — продолжала Анна с той же горячностью и

убежденностью в голосе, — мне было очень тяжело. Работали много, почти без отдыха. И о тебе постоянно беспокоишься, никогда покою не находишь. Все думаешь и думаешь. И сын требовал внимания, материнской ласки. Но как-то выходило так, что меня хватало на все, я везде успевала. Даже занималась общественной работой, учила молодых ткачих. Крутилась все дни. И, признаться, я меньше уставала. Может быть, мне так казалось. Во всяком случае, я испытывала большую радость и удовлетворение от того, что я всем нужна, что делаю нужное дело. У меня были постоянные заботы, интересы. А сейчас это все остановилось. Я как дерево, которое вытащили из земли вместе с корнями. Каждый день одно и то же. И ты, пожалуйста, не говори мне, ничего не говори, — торопливо закончила Анна, хотя муж стоял и молчал.

Михаил понял, что жена готова обвинять его во всем, о чем так энергично она только что говорила.

— Но я же ничего не сделал плохого, Аня. — сказал он несколько растерянно.

— А зачем ты уговорил меня оставить фабрику? Ну, зачем, скажи? Ты приходишь домой, рассказываешь о своих успехах, ты радуешься, что выполнил с товарищами большое и нужное дело. А что я могу рассказать? Я так жить, оказывается, не умею, и не хочу, и не буду. Марья Николаевна сказала, что завтра ко мне зайдет председатель фабкома Ветелкина. Я прямо ей скажу, что возвращаюсь на фабрику. И ты, пожалуйста, больше не уговаривай меня. Слышишь? Так я решила — и так все будет!

Сквозь сгустившиеся сумерки в окно были видны огни большой фабрики. Она стояла на берегу реки, и огни окон отражались на черной поверхности воды. Ветер неожиданно затих, собиравшаяся гроза прошла, очевидно, где-то стороной. Тополь молчал, занавеска висела спокойно над открытым окном. Воздух посвежел, и теперь дышалось легко и на сердце тоже было легко и как-то ясно. В небе показались чистые, словно омытые дождем, звезды.

— На этой фабрике я выросла, там воспитали меня, а я бросила ее. Мне стыдно теперь. Стыдно Марьи Николаевны. Старая женщина, она могла бы отдыхать. Она-то имеет на это право. Но она все же работает. Она понимает, что сейчас дорог на фабрике каждый человек. А я? Кто я теперь? Домашняя сиделка?..

— Ну, что ты говоришь? — сказал Михаил. — Что тебе Марья Николаевна? Ты перед ней не виновата

— Нет, нет, я решила — и все так будет.

Они только сейчас заметили, что стоят уже в совершенной темноте. Из летнего сада доносилась музыка. Анна подумала, что хорошо бы куда-то сходить. В ней еще было столько молодости, горячего задора. Несмотря на все то хо-

рошее, что принес Михаил после войны, у него появилось и нечто такое, что не нравилось Анне. Он стал большим домоседом. Анна часто говорила ему об этом, но Михаил, видимо, не желая продолжать с ней разговор на эту тему, отшучивался тем, что он, дескать, соскучился за войну по всему домашнему.

За чаем он сказал:

— Я не возражаю, Аня. Если хочешь вернуться на фабрику, это, в конце концов, твое дело. Ссориться из-за этого, конечно, глупо. Но я просто не вижу причин, почему ты должна пойти работать. Ведь нам же вполне хватает того, что зарабатываю я один. Если бы было очень трудно, а то ведь этого же нет.

Анна молчала, и Михаил решил, что она сдалась, что он убедил ее, и заговорил еще более внушительно. Но когда он кончил говорить и посмотрел ей в глаза, он заметил, к своему удивлению, что все говорил напрасно.

— Разубедить меня, Миша, нельзя. Я сама знаю, что так, а что не так. Но мне обидно, что ты, кажется, все-таки не понимаешь, о чем я говорю. Конечно, жаловаться не могу, живем мы неплохо. И денег твоих хватает. Но разве в деньгах только дело? Разве я об этом с тобой говорю? Я просто не могу так жить, как сейчас. В душе радости нет, а ее давала мне работа на фабрике, жизнь среди людей. Там каждый день не похож на другой. Там все новое, все другое. А такую жизнь я только и люблю. Теперь-то ты, надеюсь, понимаешь меня? Нет ты скажи — понимаешь?

— Разумеется, понимаю, — сказал Михаил с холодной выразительностью.

— Вот и хорошо.

Анна поглядела в окно и, помолчав, сказала:

— А грозы-то не будет. Стороной прошла...

ОН ВЕРНЕТСЯ

Кажется только сейчас Илюша заметил, как буйно разрослись кусты сирени и акации, посаженные пять лет назад, в ту самую осень, когда он пришел на фабрику. Теперь эти кусты образовали тенистую аллею, которая прямоугольником охватывала большой сквер, похожий сверху на цветистый ковер, раскинутый перед новым корпусом ткацкой фабрики.

Илюша шел неторопливо, опустив руки в карманы пиджака, и его вздернутые плечи казались еще более острыми. Кепка была надета небрежно и в то же время щегольски — чуть сдвинута набок и назад. Из-под козырька торчал хо-

холок белокурых волос. Тонкая шея и грудь, видневшаяся в открытую прорезь футболки, были темны от загара.

— Привет... Илюша!

Илюша обернулся на голос и увидел сидящего на скамейке помощника мастера Гладышева, которому он вчера сдал свой комплект. Помощник мастера сидел, положив ногу на ногу, и курил.

— Зайди, Илюша... посидим. Время еще хватит.

Илюша сначала заколебался, подумав о том, успеет ли он закончить все свои дела до окончания смены, чтобы пойти домой вместе с отцом, а затем подошел к Гладышеву и сел рядом.

— Прощаться пришел? — спросил Гладышев, гаея папиросу о каблук сапога.

— Прощаться.

— Значит, решил учиться?

— Да.

— И куда же рассчитываешь?..

— В текстильный техникум.

— Надеешься экзамены сдать?

— Уже сдал. На второй курс...

— Да что ты?.. — воскликнул Гладышев, всем своим корпусом повертываясь к Илюше, так что под ними качнулась и скрипнула скамейка. — Это надо, значит, понимать, что через три года ты будешь подкованным специалистом? — продолжал Гладышев, внимательно рассматривая Илюшу.

Перед ним сидел все тот же паренек, с которым он познакомился вчера, во время приема комплекта. У него было круглое лицо, покрытое светлым пушком. Нос прямой и широкий в ноздрах, а из длинных густых ресниц глядели синие улыбчивые глаза.

«Паренек, как паренек... Ничего особенного нет», — думал Гладышев, стараясь понять, почему этого скромного по виду паренька так ценят и любят на фабрике.

Два дня тому назад, закончив все формальности с приемом на работу, Гладышев пришел к сменному мастеру Семену Петровичу Ситникову. Уже седой человек, относившийся ко всем людям так, словно он знал их всю жизнь, мастер поздоровался с Гладышевым и без каких-либо вступлений спросил:

— А ты знаешь, помощник, на какой комплект я хочу тебя поставить?

— Нет, не знаю, — сказал Гладышев, с внезапной опаской поглядывая на мастера, словно тот готовил для него что-то неприятное.

— Не знаешь? — весело улыбнулся в усы Семен Петрович. — Ну, то-то же!.. Доверяю тебе знаменитый комплект... Ильи Федоровича Блинова. Слыхивал когда-нибудь о таком?..

Гладышев поднял к потолку глаза с выражением задумчивости.

— Чего же думать, если не знаешь? — сказал мастер. — А очень плохо, что не знаешь. О нем и газеты писали, и снимки с него делали. На фабрике лучший помощник мастера. Гляди, брат, не урони его честь!

Мастер говорил с такой открытой похвалой о Блинове, что Гладышев невольно почувствовал в себе желание, чтобы когда-нибудь так сказали о нем самом. Еще до войны он работал помощником мастера семь лет. Свое дело знал неплохо, там, где работал, был не на плохом счету. А сейчас он почувствовал себя новичком, словно никогда и не работал самостоятельно помощником мастера.

— Он что же, этот Блинов, на пенсию что ли уходит?

— На пенсию?.. — Ситников рассмеялся, подергивая плечами. — Да он, пожалуй, вдвое моложе тебя... Илюша-то! Но руки у него, скажу тебе, — золотые. Каждое дело у него в руках, как глина: что хочет, то и лепит. Удивительный паренек. Светлая голова..

— А чего ж он уходит?

— Учиться хочет. Наметил цель — и держится ее. Молоденький, а с характером... Он и под ноги смотрит и вперед заглядывает. Десять лет ему, а он первый помощник мастера. Видал ты когда-нибудь таких? Другой бы, глядишь, задержался на одном месте. Дескать, чего мне еще надо? И слава громкая, и заработок высокий... А вот Илюша не таков, не хочет останавливаться на месте. Да и то сказать: если человеку даны крылья, чего их держать связанными?

Вспомнив эти слова мастера, Гладышев сказал Илюше:

— Ты это хорошо решил... Правильно. Свою вахту отстоял, что надо, уже сделал на фабрике, а теперь можно и на теорию податься.

— Нет, — возразил Илюша, — на фабрике я еще мало сделал..

— Ну, как же мало? Самой высокой точки достиг... На двойном уплотнении работал. Старый-то помощник мастера не каждый этак сработает.

Помолчали. Гладышев закуривал, а Илюша глядел сквозь ветви сирени на гипсового мальчика, стоящего с зонтиком под тонкими сверкающими на солнце струйками фонтана, и прислушивался к громкому смеху девушек, сидевших где-то за поворотом аллеи. Ему показалось, что среди общего веселого смеха он слышал близкий и всегда волнующий голос семнадцатилетней ткачихи Веры. И сейчас же перед его глазами возникла стройная девушка, одетая в белое платье и чем-то похожая на молодую березку.

«Это не она, — подумал Илюша, — она же работает теперь в другой смене... в утренней, как и отец».

— А я вот, Илюша, дурнем оказался, — раскурив папиросу, сказал Гладышев.

— Что? — спросил Илюша.

— Да вот, говорю, дурнем я оказался. А как же еще меня назвать? Когда-то советовали — нет, даже уговаривали! — пойти учиться. И что же ты думаешь? Отказался. Как вспомню об этом — прямо беспокожно становится на душе. И если б кто был виноват!.. Справедливо — несправедливо, а все-таки можно было бы на кого-то сослаться. А тут кругом сам виноват. Близок локоток — да не укусишь!

По аллее все чаще стали проходить в сторону фабрики работницы. Многие из них, увидев сидевшего на скамейке Илюшу, кланялись ему, на ходу спрашивали, не передумал ли он, может быть останется на фабрике. Илюша отвечал, что передумывать уже поздно и что об одном и том же дважды не решают.

— Тебя здесь, видать, все знают? — сказал Гладышев, испытывая смутное чувство зависти.

— Знают, — согласился Илюша.

Он произнес это таким тоном, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся.

Гладышев положил свою большую ладонь на плечо Илюши, как бы желая удержать его возле себя, и продолжал рассказывать о себе:

— В молодости-то, Илюша, я тоже шустрый был, смекаливый. И авторитет имел... Мастер, бывало, скажет: «Дуй, Ваня, на теорию, повышайся. Не пойдешь — после пожалеешь». А я свое гну: «Ничего, я и без теории буду работать не хуже других». Дурень был — и все!.. Мне же хотели добра, а я — нос в сторону. Однажды вызвал к себе в кабинет даже директор фабрики. Хороший был человек, а умный такой, что страшно было смотреть ему в глаза. Бывало, стоишь перед его глазами, как перед омутом, и думаешь: вот сорвешься сейчас — и полетишь в тар-тарары. Теперь он, говорят, где-то в министерстве работает. Ну, вот... Вызвал, значит, меня и спрашивает: что, да как, да почему? В те годы-то специалистов меньше было, это не то, что в наше время. Все больше практики были. Вот он и подбивает меня: «Учись, — говорит, — будем помогать от фабрики». Одним словом, тащили на аркане, а я, дурень, так и не пошел. Почему — и сам хорошенько-то не знаю. Но если рассуждать по правде — испугался, не захотел в гору подниматься. Дескать, по ровному-то месту легче идти. Те, которые пошли тогда учиться, теперь давно уже работают на фабриках инженерами, большими делами ворочают. А я вот, Илюша, остался на месте: как был помощником мастера, так и есть..

Гладышев докурил папиросу, смял мундштук в своих толстых пальцах и швырнул его с досадой через плечо.

Слушая Гладышева, Илюша испытывал чувство, близкое к сожалению. Не легко, в самом деле, человеку думать о том, что когда-то он ошибся в жизни. И в то же время Илюша не разделял этого чувства, потому что не понимал, как это может что-то помешать человеку осуществить свое желание? Он сам пришел на фабрику со школьной скамьи. Отец уехал на фронт, мать была не совсем здорова — и он должен был работать. Илюша мог бы отложить учебу до лучших времен, до окончания войны. Но кто мог сказать, когда она кончится? И Илюша поступил в вечернюю школу, находившуюся при фабрике. За смену он сильно уставал, иногда испытывал покоряющее желание убежать домой, броситься в постель — и спать, спать. Но овладевал собой и тут же после смены, переодевшись, спешил в школу.

Когда вернулся домой отец, у него еще побаливала на ноге рана, полученная им в последний месяц войны. Некоторое время Федор продолжал ходить с алюминиевой тросточкой. Однако, считая себя вполне здоровым, спустя месяц он отправился на фабрику, где до отъезда на фронт работал помощником мастера. Но от старой должности пришлось пока отказаться, потому что ему трудно было, производя наладку, лазать под станки. И Федор стал работать инструктором.

Пока отец отдыхал, поправляясь, Илюша упустил время, запоздал с подачей заявления в техникум и остался на фабрике еще на один год. Но и этот год не был потерян. Он сумел подготовиться так, что поступил сразу на второй курс. И вот Илюша пришел на фабрику в последний раз, чтобы получить окончательный расчет, сняться с комсомольского учета и распрощаться с теми, с кем он сдружился на фабрике за эти пять лет.

На сквере стало совсем многолюдно. Кое-кто еще присаживался на скамейки, чтобы провести здесь перед сменой несколько минут, остальные проходили прямо на фабрику. Илюша поднялся и вопросительно посмотрел на Гладышева, который сидел, закинув ногу на ногу, и внимательно присматривался к проходящим мимо людям.

«Чего он сидит? — подумал Илюша, почувствовав то знакомое состояние беспокойства, которое он испытывал всегда перед сменой. — С такой выдержкой недолго и комплект завалить».

И словно поняв илюшины мысли, Гладышев встал, и они пошли вместе.

— Ну, что ж, Илюша, — сказал Гладышев, когда они подошли ко входу в первый цех, — давай распрощаемся. Желаю тебе успеха. За свой комплект можешь не беспокоиться, — не уроню.

Илюше все-таки было приятно, что с ним, как с равным, разговаривает Гладышев, уже немолодой, видевший виды

человек, недавно вернувшийся из армии. Пожав ему большую и тяжелую ладонь, Илюша торопливо пошел по длинному коридору, а Гладышев стоял и смотрел ему вслед. Высокий для своих девятнадцати лет, с широкими, еще не округлившимися плечами и гордо вздернутой головой на тонкой шее, Илюша шагал, чуть вывертывая ступнями наружу. В конце коридора была открыта дверь, освещенная солнцем, за ней виднелся кусок голубого неба.

«Этот везде пройдет, — подумал Гладышев, — ему везде открыты двери».

Покончив со всеми делами, Илюша решил напоследок зайти проститься к мастеру Ситникову, которому он был многим обязан. Ему никогда не забыть тот памятный день, когда отец, собираясь на фронт, первый раз привел Илюшу на фабрику. Они вошли в маленькую комнатку с одним окном, выходившим во двор, и черным асфальтовым полом. В комнате ничего не было, кроме нескольких стульев и простого стола, покрытого куском красной материи. За столом сидел человек в темносиней спецовке и с поседевшими на висках волосами. Это был мастер Ситников.

— Вот, Семен Петрович, моя смена, — сказал Федор, показывая на Илюшу. — Надеюсь, поработает... Правда, паренек еще не велик, но такой, как сверло.

Мастер перевел свой взгляд на Илюшу. Перед ним стоял мальчик с круглым розовощекимым лицом, ясными синими глазами и витком белокурых волос над выпуклым лбом.

— Ну, что ж, — сказал Федору мастер, — будем учить. Поставлю в свою группу... Старанье окажет, через полгода может самостоятельно работать.. Сначала по мелкому ремонту, а там и в помощники мастера... Как? — обратился Ситников к Илюше, который смотрел в окно, наблюдая за резвой игрой двух поздних бабочек. — Справимся?

— А то нет!.. — с безотчетной горячностью ответил Илюша, потрянув витком волос.

Федор довольно рассмеялся:

— Видел, каков кочеток? Этот да не справится?..

Положив Илюше на голову руку, отец более строго сказал:

— Только об одном прошу, Семен Петрович, не особенно бадай паренька. Если хорошо — похвали, а если что плохо — спуску не давай, взыскивай.

Первое время Илюша работал учеником, делал то, что покажет ремонтник или помощник мастера, или сам Ситников, который любил возиться с учениками. Потом Илюшу перевели на самостоятельную работу. Он стал обслуживать половину комплекта. А года через полтора ему доверили уже полный комплект — сорок восемь станков.

Нелегко было работать в такие молодые годы помощником мастера. Но Илюша настолько освоился со своими обязанностями, что вполне успевал заниматься в вечерней школе. Узнав об этом, Семен Петрович как-то подошел к Илюше и сказал:

— Дорогу себе ты наметил правильную, только по ней и ходит удача. Да смотри, Илюша, как бы работа не пострадала. Ты почаще напоминай себе, что мы сейчас для фронта ткем, для отца твоего... Это хорошо, что ты уже оперился, да не широко ли взмахнул крыльями?

Мастер Ситников оказался более строгим и взыскательным, чем можно было сначала предположить. Он относился к Илюше, как, впрочем, и ко всем ребятам, недавно пришедшим на фабрику, очень внимательно и чутко. Если видел, что все идет хорошо, — шутил, похваливал, ободрял. Но когда замечал, что Илюша делает не так, на скорую руку, тогда начинал кричать. Густые черные брови его подпрыгивали, а на висках выступали красные пятна, и седые волосы казались еще светлее.

— Постучать ключом по станку — мало толку, его наладить надо, чтобы он работал и не останавливался. А ты как делаешь?..

Не всегда было приятно выслушивать мастера, но каждое его слово Илюша сохранял в памяти. Он понимал, что обиды пройдут, а советы опытного мастера пригодятся, может быть, на всю жизнь.

Сейчас Илюша застал Семена Петровича в своей маленькой комнатке. Мастер был один. Он вышел из-за стола и приветливо сказал:

— А-а, Илюша... здравствуй!.. Прощаться зашел?

— Да, Семен Петрович, ухожу.

— А поди не хочется? Привык тут, а?

— Сильно, конечно, привык. В своем-то комплекте каждый станок теперь знаю.

— Жалко мне отпускать тебя, Илюша. Да что сделаешь?.. Взмахнул крыльями, так уж лети, не опускайся. В мои-то молодые годы как было: научился парень работать, ну и пержится за свое место зубами, как бы его не потерять. Куда пойдешь, если прогонят с фабрики? И хотелось двинуться вперед, а невозможно. Не было человеку ходу. А теперь каждому человеку все двери открыты. И стыдно теперь на одном месте человеку стоять. Жизнь-то вон как идет вперед. И никак нельзя отставать от нее.

Илюша молчал.

— А ты не красней, — заметив его смущение, сказал мастер. — Против тебя я уже старик, Илюша, и я не стараюсь подбирать слова, а говорю, как чувствую, что вижу. Когда ты делал что-нибудь не так, разве я прощал тебе? То-то что нет!

А за хорошее дело, Илюша, можно и похвалить. Так что краснеть тебе нечего.

Илюша сидел и чувствовал себя уже совсем растерянным. Он еще не слышал, чтобы о нем так много говорили. Илюша встал и поглядел в глаза мастеру, как бы молчаливо спрашивая, может ли он итти.

— Идешь, значит? — сказал Ситников. — Ну, до свидания. После техникума-то, верно, сюда вернешься, на свою фабрику?..

— Постараюсь, Семен Петрович.

— Приходи, будем ждать тебя.

Когда Илюша пришел в комплект, отец уже сменился. Рослый, одетый в гимнастерку, уже выцветшую и застиранную, Федор встретил сына веселой улыбкой:

— Со всеми простился?

— Со всеми.

В проходе их остановила ткачиха Елена Васильевна, невысокого роста и с добродушным выражением на лице.

— Ну и сын у тебя, — сказала она Федору, показывая глазами в сторону Илюши. — Хороший сын.

— Да чем же он хорош, Елена Васильевна? — спросил Федор, глядя на нее с открытой хитрецей.

— Такой ли обходительный... и на работу жадный. Полюбили мы все его. А ведь нам, сам знаешь, не легко потрафить. То не так, другое не этак. А на Илюшу и жалоб не было никаких. Всем хорош. Его и отпускать-то жалко.

— Да он вернется, Елена Васильевна, — сказал Федор, — дорожка-то жизни у него здесь проложена.

При выходе из цеха Илюша заметил стоящую Веру. Она была одета в давно знакомое белое платье, в котором она была похожа на березку. Вера держала в руках голубую косынку, то свертывая, то развертывая ее. Видно было, что она кого-то ждала. Заметив на себе взгляд Илюши, она опустила длинные ресницы, сквозь которые пробивался блеск ее глаз. Илюше хотелось подбежать к ней, мять ее голубую косынку, перемежая короткие, ничего не значащие разговоры с длительным молчанием. Но Илюша стеснялся отца. И он прошел мимо Веры, которая, впрочем, так и не подняла своих длинных ресниц.

Уже во дворе Илюша вспомнил Гладышева, представил себе, как он сейчас ковыряется в каком-нибудь станке и не подозревает о том, что три станка, стоящие у прохода, самые капризные. Чуть не догляди за ними — затреплют ткачиху. И как это он забыл сказать ему об этом, когда передавал комплект, когда сидел с ним сегодня в сквере?

— Ты можешь меня подождать? — сказал Илюша отцу.

— Я на одну минутку..

— А что случилось?

— Да забыл сказать Гладышеву... Надо его предупредить...

Илюша вернулся в комплект и передал Гладышеву все, что знал о работе станков.

— Видел какой? — сказала Елена Васильевна. — С работы ушел и заботу с собой унес.

Возвращаясь, Илюша заглянул туда, где была Вера, и не поверил своим глазам. Вера стояла там же, Илюша подошел к ней и нерешительно спросил:

— Ты кого-нибудь ждешь?

Вера посмотрела ему в глаза и улыбнулась.

— Сначала ждала, а теперь нет.

Илюша поймал один конец косынки, которую Вера продолжала вертеть в руках, и, не замечая того, потянул к себе. Вера выпустила из своих рук косынку и стала следить, что он будет с ней делать. Илюша мял косынку, не замечая чуть-чуть насмешливой улыбки девушки.

— Только не разорви, — предупредила Вера.

Илюша смутился, отдал ей косынку и вдруг понял, что ему некуда теперь девать свои руки.

— Ты теперь совсем не придешь на фабрику? — спросила Вера.

— Приду, — сказал Илюша. — Как буду свободный, так и приду. Мне интересно поглядеть...

— А если не будешь свободный?

— Все равно приду, — решительно сказал Илюша. — А ты ко мне в техникум будешь приходить? У нас там вечера будут.

— Пригласишь — приду... конечно.

— Я буду за тобой заходить. Хорошо?

— Только когда будет вечер?

— И когда вечер будет, и так просто...

Они долго еще так стояли и говорили. Мимо их провозили тележки, наполненные початками с пряжей. Пробегали помощники мастеров из слесарной мастерской или из склада. На них оглядывались, улыбались, но ни Вера, ни Илюша не замечали этого. Они, вероятно, долго бы простояли еще, если бы Илюша вдруг не вспомнил о том, что ведь во дворе его дожидается отец.

— До свидания, — сказал Илюша и пожал ей руки вместе с голубой косынкой. — Значит, я приду... как договорились.

— До свидания, — сказала Вера.

Илюша нашел отца уже около ворот.

— Долго же ты рассказывал Гладышеву... — сказал отец, когда они вышли за ворота фабрики.

Илюша промолчал.

Федор, идя несколько позади сына, внимательно глядел на Илюшу и с чувством гордости думал о том, как сильно

вырос и возмужал его сын. У него была даже новая манера говорить и держать себя на людях. Илюша не частил, как прежде, задорно вскидывая головой. Когда-то звонкий голосок теперь также изменился, стал чуть-чуть басить. Федор заметил, что Илюша идет, слегка вывертывая ступнями.

«А походка-то моя» — с чувством удовлетворения подумал отец.

Мелькают пестрые тельняшки,
и комендоры батарей
ведут орудийные башни
прицелом зорким на дворец.

И радость мускулами бродит,
и море плещется в груди,
когда на звонкий мостик всходит
командующий флотом Шмидт.

Бьет море в каменные молы.
Тяжел орудий медный гром.
Но занесен удар тяжелый
над обреченным кораблем.

Над морем стынущем бледнеет
скупая

мартовская рань...
Я вижу
спущенные реи
и плоский остров Березань.

Восход струится кровью в воду.
Расставленные по пять в ряд,
матросы гибнут за свободу
под пулями офицера..

Волной горячей в сердце хлынул
тяжелый гнев. Бушует кровь.
О, если бы года раздвинуть
и отомстить за моряков.

Бойцы замучены в застенках
Но память славная велит —
бороться так, как Матюшенко,
и умереть, как умер Шмидт.

Музейный порт,
где я увидел
бойцов за радостные дни.
Где я учился ненавидеть
и так бороться, как они.

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

8 февраля 1942 г. в ожесточенном бою на Западном фронте пал смертью храбрых гвардии рядовой, комсомолец Николай Петрович Майоров. Вражеская пуля оборвала жизнь молодого, без сомнения очень талантливого поэта, горячего патриота своей родины.

Николай Петрович Майоров родился в мае 1919 г. Детство и юность поэта протекли в г. Иванове. В 1937 г., окончив 33-ю среднюю школу, Николай Майоров уезжает в Москву и поступает в Московский Государственный университет на исторический факультет. Историческая наука увлекает молодого поэта, он много и кропотливо работает, нередко удивляя профессоров своими глубокими и разносторонними знаниями.

Любовь к настоящему русскому слову, к поэзии приводит молодого поэта в Литинститут при Союзе советских писателей. Начинается параллельная учеба сразу в двух вузах.

Великая Отечественная война застала поэта на студенческой скамье. Досрочно сдав государственные экзамены, Николай Майоров рядовым уходит в действующую армию.

Скромный и требовательный к себе, Николай Майоров при жизни напечатал только несколько стихотворений. Им написаны две поэмы: «Ваятель» и «Семья» и много стихотворений, которых, к сожалению, до сих пор не удалось разыскать.

Публикуемые нами стихотворения Николая Майорова показывают силу и глубину чувств безвременно погибшего поэта, его большую любовь к нашей Родине.

ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества,
уменье созидать,
на камень камень класть,
вести леса строений,
не спать ночей, по суткам голодать,
вставать до звезд и падать на колени;
брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
весь мир вместив в дыхание одно,
одним мазком весь этот лес и камни
живыми положить на полотно.
Не дописав, —
оставить кисти сыну,

так передать цветы своей земли,
чтоб век спустя все также мяли глину
и лучшего придумать не могли.
А жизнь научит правде и терпенью,
принудит жить и, прежде, чем стареть,
она заставит выжать все уменье,
какое ты обязан был иметь!

1939 г

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

Рассвет сочился будто в сите,
когда в звенящем серебре
рванулся резко истребитель
косым движением к земле.
Пилот, в бесстрашья шансы взвесив,
хватался в спешке за рули, —
но все дороги с поднебесья
к суровой гибели вели.
И с жаждой верной не разбиться,
спасая в виражах мотор,
хотел он взмыть, но силу птицы
презрели небо и простор.
Она все тело распластала,
скользя в пространстве на крыле, —
и вспышкой взрыва и металла
жизнь догорела на земле.
...А сила ветра также крепла,
восходом солнца цвел восток,
и на земле сквозь дымку пепла
пробился утренний цветок.
Уже истлели тело, крылья
но жизнь, войдя с людьми в родство,
презрев пред гибелью бессилье,
свое справляла торжество.
Как прежде, люди в небо рвались
в упорной жажде высоты.
А в небе гасли, рассыпались
звезд изумрудные цветы.
И пахли юностью побеги,
ветвей. Прорезав тишину,
другой пилот в крутом разбеге
взмыл в голубую вышину.
Мир был попрежнему огромен,

прекрасен, радужен, цветист;
и с человеческим сердцем вровень
на ветке бился первый лист.
И, не смущаясь пепла, тлена,
крушенья дерзостной мечты,
вновь ликовала кровь по венам
в упорной жажде высоты!

1939 г.

БАЛЛАДА О ЧКАЛОВЕ

Всего неделю лишь назад
он делал в клинике доклад.

Он сел за стол напротив нас,
потом спросил — который час?

Заговорив, шел напролом —
и стало тесно за столом.

Упрямо спорил, возражал,
больным и сестрам руки жал.

Слова качались, как весы,
он говорил, что врут часы,

что только б жить — и хватит сил,
он только времени просил.

И каждый понял, почему
так тесно в воздухе ему.

И то ли сон, горячка толь, —
но мы забыли вдруг про боль.

Понять нельзя и одолеть,
как можно в этот день болеть.

Врачи забыли про больных
и сестры зря искали их.

Иод засох и на столе
лежал, как память о земле,

где людям, вышедшим на смерть,
хоть раз в году дано болеть.

Лекарств не надо. К чорту их.
Мы все здоровы. Нет больных.

Пусть кровь застынет на бинтах —
(так полагалось на фронтах).

А он уже не видел нас,
он весь горел, он руки тряс,

рукой поправил прядь волос;
а голос выше шел и рос,

гремел, как буря, падал, звал
и мертвых с коек поднимал.

...Докладчик кончил. И потом
он раны нам схватил бинтом,

он проводил нас до палат.
Ушел.. И вот — пришел назад.

И врач склонился над столом
над ним — с поломанным крылом.

И было ясно, что ему
теперь лекарства ни к чему.

И было тихо. Он лежал —
и никому не возражал.

Был день, как он, и тих и прост,
и жаль, что нету в небе звезд.

И в первый раз спокойный врач
не мог сказать сестре: «Не плачь».

1939 г.

ПОСЛЕ ЛИВНЯ

Когда подумать бы могли вы,
что выйдя к лесу за стогабы,
в траву и пни ударит ливень,
а через час пойдут грибы? —
И стало б видно вам отселе,

лишь только ветви отвести,
когда пойдет слепая зелень,
как в лихорадке, лес трясти.
Такая будет благодать
для всякой твари! Даже птицам
вдруг не захочется летать,
когда кругом трава дымит
и каждый штрих непостоянен,
и лишь позднее — тишина...
Так ливень шел, смещая грани,
меняя краски и тона.
Размыты камни. Словно бивни,
торчат они, их мучит зуд;
а по земле, размытой ливнем,
жуки глазастые ползут.
А детвора в косоворотках
бежит по лужам звонким, где,
кружась, плывет в бумажных лодках,
пристрастье детское к воде.
Горит земля, и пахнет чаща
дымящим пухом голубей,
а в окна входит мир, кипящий
зеленым зельем тополей.
Вот так и хочется забыться,
оставить книги, выйти в день
и, заложив углом страницу,
пройтись босому по воде.
А после — дома, за столом,
сверкая золотом оправы
очков, рассказывать о том,
как ливни ходят напролом,
не разбирая, где канавы.

1940 г.

ВЕСЕННЕЕ

Я шел, веселый и нескладный,
почти влюбленный, и никто
мне не сказал в дверях парадных,
что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем-то теплым,
а от слободки, по низам,
шел первый дождь,
он бился в стекла,

гремел в ушах,
слепил глаза,
летел,
был слеп наполовину, —
почти прямой. И вместе с ним
вступала боль сквозная в спину
недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,
и лишь потом на всех углах
вразбивку бабы торговали,
сбывая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
просили взять,
вдыхали в нос,
на грудь прикалывали,
брали
поштучно,
оптом
и вразнос.
Ее вносили к нам в квартиру,
как лампу, ставили на стол, —
лишь я один, должно быть, в мире
спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,
меня не трогали цветы, —
я думал о бульварах, где бы
мне встретилась случайно ты,
с которой я лишь по наслышке,
по первой памяти знаком, —
дорогой, тронутой снежком,
носил твои из школы книжки...

Откликнись что ли?
Только ветер
да дождь, идущий по прямой...
А надо вспомнить —
мы лишь дети,
которых снова ждут домой
да чай остыл,
черствеет булка...
Так снова жизнь приходит к нам
последней партой,
переулком,
где мы стояли по часам...
Так я иду, прямой, просторный,
а где-то сзади, невпопад,

проходит детство, и волторны
словами песни говорят.

Мир только в детстве перевозанен,
когда себя не видя в нем,
мы бредим морем, поездами,
раскрытым настезь в сад окном,
чужою радостью, досадой,
зеленым льдом балтийских скал
и чьим-то слишком белым садом,
где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,
нам снова хочется домой,
в тот мир простой, как лист тетрадный
где я прошел, большой, нескладный,
и удивительно прямой.

1940 г.

ПУШКИН

Ты не видел небо Абиссинии, —
чахлая российская гроза
захлестнула болью синие,
крепко загрустившие глаза.
И на чем глазам остановиться
в этом мире злобном и пустом,
если вся жандармская столица
указует на тебя перстом.
Если псы всех тайных отделений,
ополчившись в скученном строю,
в зверском аракчеевском равненьи
топчут жизнь прекрасную твою?
Не на смех ли от царя досталось
юнкерские почести носить?
Хоть спросить бы, комкая усталость,
много ли тебе еще осталось
сочинять, встречаться, колесить?..
...Ты сидишь, кусая злобно перья,
а ослабший северный закат
проползает комнатой до двери, —
день ушел, чтоб не придти назад!
День ушел —
и жизнь опять короче:
вновь дороги, степи, деревца;
и ямщик допеть тебе не хочет
этой песни, грустной до конца.
1938 г.

ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты...
На бугорок, где гроб землей накрыли,
как ощущение вечной высоты,
пропеллер неисправный положили.

И надписи надписывать им рано —
ведь каждый, небо видевший, читал,
когда слова высокого чекана
пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,
хотя мотор и сдал на полпути, —
остановись, взгляни прямее в небо
и надпись ту, как мужество, прочти

О, если б все с такою жаждой жили,
чтоб на могилу им взамен плиты,
как память ими взятой высоты,
их инструмент разбитый положили
и лишь потом поставили цветы.

1939 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

После долгих скитаний
В далеких и чуждых краях,
После тяжелых походов
По трудным военным дорогам,
После дней и ночей,
Проведенных в несчетных боях —
Я вернулся и снова стою
У родного порога.

В этом городе шумном
И детство, и юность прошли,
Здесь учился, работал,
Встречался с друзьями когда-то.
А теперь возвратился,
Объехав почти полземли,
Постаревший немного,
В походной шинели солдата.

Все по-старому здесь.
Переулков, домов, площадей
Не коснулась суровой войны
Отшумевшая вьюга.
И приятно бывает
В толпе незнакомых людей
Неожиданно встретить
Душевного, старого друга.

Вспоминаем о прошлом,
О днях, пережитых в войне.
Вновь проходит пред нами
Горячая жизнь боевая.
Как-то странно, что в этой
Гражданской, немой тишине
Слышны только гудки
Да звонки городского трамвая.

Расцветает попрежнему
Наша родная страна.
Из руин поднимается гордо
От края до края.
Вновь из радиорупора
Бодрая песня слышна,
А по солнечным улицам
Люди идут, улыбаясь.

Так приятно трудиться,
Так хочется жить на земле,
Если снова над Родиной
Ярко огни заблистали,
Если знаешь, что где-то,
В старинном Московском Кремле,
Для Отчизны своей
Неустанно работает Сталин.

—
* * *

Пусть война позади. Не забыть никогда мне,
Как стонала земля городских площадей
Как о мести взывали горячие камни,
Обагранные кровью советских людей.

Как пылали селенья, и в жутком отсвете
Старики, как родных, нас встречали в слезах.
К матерям прижимались бездомные дети
С выражением страха в недетских глазах.

Не забыть этих дней в подмосковных пределах
И морозных ночей, проведенных в снегу,
Где за наше великое, правое дело,
Мы в боях не давали пощады врагу.

Где мы гнали врага по кровавому следу,
Где из юношей мы превращались в мужчин,
Где увидел грядущую нашу победу
Героический русский народ-исполнин.

Мы шагали по пеплу сожженных селений,
Перед нами лежали родные поля,
И незримо вождя полководческий гений
Нам указывал четкий маршрут из Кремля.

Мы тебя отстояли, родная столица,
Ты встречаешь цветущая день торжества.
Мы во славу твою не устанем трудиться,
Наша гордость, любимая наша Москва!

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Снова счастьем дни озарены,
Солнце вновь небесный свод венчает.
Снова праздник радостной весны,
Как и прежде, Родина встречает.

Отшумел, затих горячий бой,
Тишина над миром опустилась,
Лишь вскипает новой жизни сила
И клокочет трудовой прибой.

Нас вовек не победить врагам!
Мы окрепли в годы грозной сечи.
И недаром к мирным очагам
Принесли победу издалече.

Чтобы снова наши города
Из развалин гордо поднимались,
Чтобы в недрах уголь и руда
Для страны без меры добывались.

Чтоб по всей стране, из края в край,
Потекли товарные составы.
На полях былой военной славы
Чтоб шумел обильный урожай!

Чтоб враги вовеки не могли
Посягнуть на счастье нашей жизни,
Чтобы снова, как цветы, цвели
Наши дети в солнечной Отчизне...

И сегодня мы в стране своей,
Отмечаая праздник всенародный,
Миллионы золотых огней
Зажигаем над землей свободной.

Ярким светом их озарены,
Никакой не ведая тревоги,
Мы стоим сегодня на пороге
Молодого праздника весны.

УРОЖАЙ

Зноем дышит голубое небо,
Где-то гром грохочет, угрожая...
В поле — копны золотого хлеба —
Щедрый дар большого урожая.
По полям с тяжелыми снопами
Едут к селам мощные машины.
Этот хлеб сжинали не серпами,
Для него не надобны овины,
И цепами бить его не будут —
На токах колхозники хлопочут,
Целый день не умолкая, всюду
Молотилки вперебой стрекочут.
По проселкам и большим дорогам
Потянулись красные обозы.
Нынче хлеба вырастили много
Своему Отечеству колхозы,—
Чтобы жизнь обильней расцветала
На просторах Родины любимой,
Чтоб страна еще сильнее стала
И стояла непоколебимо!

Г. Горбунов.

ВДОХНОВЕННЫЙ ПЕВЕЦ ИВАНОВСКИХ ТКАЧЕЙ

(К 25-летию со дня выхода в свет романа „ЧАПАЕВ“)

Среди выдающихся произведений советской литературы «Чапаеву» Дмитрия Фурманова попрежнему принадлежит одно из видных и заслуженных мест.

Четверть века исполнилось с тех пор, как вышла в свет эта книга. В течение этого времени она выдержала сотни изданий и, как всякое истинное произведение искусства, волнующее своей жизненной правдой и идейной глубиной, каждый раз пробуждает к себе новый интерес.

Д. Фурманов, как один из лучших «инженеров человеческих душ», страстно и настойчиво прокладывал путь социалистического реализма. В его «Чапаеве» поставлены и разрешены самые жгучие и животрепещущие вопросы, связанные с жизнью и борьбой советского народа. Раскрывая неповторимый характер легендарного героя-полководца, чья жизнь так ярко сгорела в титанических битвах с врагами молодой советской родины, писатель создал произведение, являющееся величественным памятником суровой эпохи гражданской войны. В самом деле, разве нынешнее поколение с орлиными крыльями, о котором говорил В. М. Молотов в докладе о 30-летию Октября, не воспитывалось на романе «Чапаев» и не испытало на себе его жизнеутверждающей нравственной силы и красоты.

С момента выхода в свет романа «Чапаев» советская литература далеко шагнула вперед, она давно вышла на широкую мировую арену, став самой передовой литературой мира. Однако «Чапаев» навсегда останется в ряду знаменательных достижений советской литературы и долго еще будет волновать умы и сердца людей, строящих коммунистическое общество.

«Чапаев» — это книга о могучей организующей и направляющей роли большевистской партии в ту пору, когда десятки миллионов простых тружеников, раскрепощенных от звериной эксплуатации помещиков и капиталистов Великой Октябрьской социалистической революцией, пошли защищать

свои завоеванные права от внутренней контрреволюции и военного похода международного империализма, собравшего в военный кулак темные силы четырнадцати государств.

Эти грандиозные события в жизни советского народа Д. Фурманов передал на конкретном историческом материале, связанном с судьбою чапаевской дивизии и одним из передовых отрядов рабочего класса — иваново-вознесенских большевиков.

Кровные связи писателя с иваново-вознесенскими большевиками, с широкими массами революционных текстильщиков во многом определили появление в свет и успех «Чапаева», определили богатство идейного замысла и новаторский характер этой книги, которая принесла Д. Фурманову широкую известность, поставив его в ряд крупнейших представителей социалистического реализма.

* * *

Д. Фурманов вырос в Иваново-Вознесенске, в том городе, где в 1905 году взвилось красное знамя одного из первых в мире Совета рабочих депутатов. Иваново-вознесенские большевики во главе с Михаилом Васильевичем Фрунзе, организуя текстильщиков на борьбу против царского самодержавия, вписали немало славных страниц в историю большевистской партии, в историю революционного рабочего класса России.

С первых дней Октября иваново-вознесенцы встали грудью на защиту советской власти. «Товарищ Сталин готовил не только революционные силы Петрограда, Кронштадта и Ревеля, но и силы всех крупных центров России — Москвы, Иваново-Вознесенска, Урала, Донбасса и т. д.

По плану, выработанному товарищем Сталиным, было намечено, что рабочий Урал во время восстания придет на помощь Петрограду, Иваново-Вознесенск поможет Москве, Белоруссия разоружит фронтовых солдат, если их пошлют против Петрограда»¹.

В июне 1918 года Д. Фурманов по рекомендации М. В. Фрунзе вступает в большевистскую партию. Он неустанно работает в губернском Совете рабочих и солдатских депутатов, потом в аппарате губкома РКП(б), когда председателем губкома был М. В. Фрунзе. Не проходило дня, чтобы Д. Фурманов не появлялся в то горячее время на собраниях и митингах ткачей в рабочих клубах, на площадях или просто в цехах текстильных фабрик. Его пламенные слова слышали ткачи Иванова-Вознесенска, Шуи, Кинешмы, Вичуги, Кохмы,

¹ И. Петров. «Как победила Великая Октябрьская социалистическая революция», «Комсомольская правда», 30 октября 1947 г.

Лежнева и других рабочих городов и поселков вновь образованной красной губернии. По поручению Иваново-Вознесенской большевистской организации Д. Фурманов мобилизует рабочих на борьбу против саботажников и контрреволюционеров, на преодоление хозяйственной разрухи и голода. Дмитрий Андреевич вместе с ивановскими большевиками проявил огромные усилия по организации отрядов Красной Армии из лучших ткачей — коммунистов и сам, возглавив один из таких отрядов, уехал на фронт.

Описывая в дневнике свое расставание с родным городом, он восклицает:

«Здравствуй, грядущее! Здравствуй, новое, неизвестное, еще более славное, еще более прекрасное!»

Много дорог прошел Д. Фурманов по фронтам гражданской войны, со многими людьми сталкивался на своем пути, повсюду: в Чапаевской дивизии или в далеком Семиречьи, на Кубани или на Дону — в иваново-вознесенских ткачах он видел достойных сынов революции, которые насмерть могли драться за дело партии.

Торжественно-героическим гимном звучат его слова о ткачах в романе «Чапаев».

«И где их, бывало, где не встретишь: у китайской ли грани, в сибирской тайге, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа, — где они не были красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и ненавидели: оттого им и память, как песня сложена, по бескрайним просторам советской земли».

Позднее, в 1925 году, Дмитрий Андреевич опубликовал в иваново-вознесенской газете «Рабочий край» свою статью «Что вспомнилось», в которой еще раз дал замечательную характеристику тем, среди кого он рос и воспитывался.

«Потом я встречался со своими земляками, — писал он, — по самарской работе в Ташкенте, в Верном, в Туркестане, в Грузии, на Кубани, на Дону. Всюду они вели большую работу, пользуясь неизменным уважением, их считали как бы старшими по революционной работе, по боевому стажу, по развитию, общей подготовке.»

В. И. Ленин неоднократно давал высокую оценку иваново-вознесенским рабочим, не раз подчеркивал их значение и в годы гражданской войны. Выступая на III Всероссийском съезде Советов рабочих текстильной промышленности в апреле 1920 года, В. И. Ленин говорил о том, что пролетариат московский, питерский и иваново-вознесенский «доказал на деле, что никакой ценой не уступит завоевание революции», и этим самым характеризовал ивановских ткачей, как один из передовых отрядов, идущих в авангарде многомиллионного советского народа в борьбе за коммунизм.

Почти в детские годы зародилась у Д. Фурманова мечта стать писателем. Столь же рано проснулся в нем интерес к общественной жизни. Он увлекался политической лирикой Рылеева, Пушкина, Лермонтова, а позднее стал зачитываться произведениями революционных демократов Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Его ранними литературными опытами были стихи. Он писал их даже тогда, когда находился с отрядом ткачей в Самаре в 1919 году. Как писатель-прозаик Дмитрий Андреевич проявил себя только после того, как прошел большой и трудный путь человека-воина, чья борьба слилась воедино с борьбой революционного народа, вставшего под боевые знамена партии Ленина — Сталина.

В лице Д. Фурманова формировался новый тип писателя, писателя общественника, не представляющего себе труд литератора вне самого непосредственного участия в напряженных событиях, решавших исход судьбы советского народа. Он хорошо понимал, что перо и винтовка в одинаково сильной мере могут и должны служить единой цели, и что труд литератора достоин уважения и любви народа только в том случае, если он заключает в себе не случайные, узко личные явления, а большие общественно-исторические события.

«Все ли можно писать? — ставил вопрос Д. Фурманов и отвечал: — Все. Только...»

В бурю гражданских битв пишешь об особенностях греческих ваз... Они красивы и достойны, а все-таки ты сукин сын: или по идиотизму или по классовости. Писать надо то, что непременно прямо или косвенно служит движению вперед. Для фарфоровых ваз есть и фарфоровое время.»

Находясь на фронте гражданской войны, Д. Фурманов информировал ивановских текстильщиков через газету «Рабочий край» о положении дел на фронте. В 1919 году в «Рабочем крае» то и дело появлялись краткие литературные очерки из Чапаевской дивизии за подписью Д. Фурманова. Тогда же были напечатаны очерки «Пиллюгинский бой», «Уфимский бой», «Уфа и Уральск» и другие, в которых нетрудно увидеть очертания ряда глав романа «Чапаев». Думал ли Д. Фурманов в то время непременно написать свой роман, сказать трудно, однако, когда он в 1922 году вплотную приступил к работе над ним, то очерки, опубликованные в свое время в «Рабочем крае», явились для него крепкими вехами на пути творческого завершения «Чапаева». Отдельные картины военной действительности, описанные ранее в очерках, были включены потом писателем в ткань романа и подверглись лишь художественной шлифовке и местами увеличивались за счет описания отдельных подробностей. Это

было вполне естественным явлением, так как Д. Фурманов не мог в промежутки между боями долго работать над литературной отделкой каждой фразы, да и задача тогда перед ним стояла несколько иная в сравнении с той, какую он решал в «Чапаеве».

Как на наиболее яркий пример того, насколько писатель воспользовался ранее напечатанными газетными материалами в окончательной работе над романом, можно сослаться на очерк «Пилюгинский бой» (опубликован в «Рабочем крае» 28 мая 1919 г.), который он полностью включил в «Чапаева», оставив тот же заголовок и те же подзаголовки, помогающие последовательному восприятию хода описанных событий. Очерк «Пилюгинский бой» начинался следующей картиной (приведем ее для того, чтобы читатели вспомнили почти те же слова, тех же лиц, которые им памяты по роману):

«Мы выступили из села Архангельска рано поутру, когда еще солнце не согрело землю, когда еще пахло на лугу ночной сыростью. Один за другим выходили наши красные полки, выстраивались и, молча, двигались по направлению к высокому сырту, заслонявшему ближайшие деревни.. Мы выехали на косогор. Внизу была деревушка Скобелево, откуда мы должны вести наступление. Там около хат жались крестьяне и робко посматривали на проходившие части.

— Сегодня белые, завтра красные, потом опять белые и опять красные, — краю не видим, устали, вымотались мы, — говорили крестьяне. — И хлеб-то у нас поели, и скот-то забрали, обездолили нас кругом. Тут, известно, жаловаться не на кого, только уж очень трудно нам. И когда кончится эта самая война?»

В очерке «Пилюгинский бой» Д. Фурманов после слов: «И когда кончится эта самая война» переходит к непосредственному описанию боя, между тем, как в «Чапаеве» он не оставил без ответа этот вопрос, решив воспроизвести живую беседу ткачей с крестьянами. Когда крестьяне спрашивают скоро ли кончится война, ткачи им отвечают:

«— Когда победим, раньше никак не окончим...

— Это когда же? — смотрели они усталыми стеклянными глазами.

— А и сами не знаем. Вот помогайте, — скорее пойдет...

Коли дружно возьмемся, где же ему устоять, Колчаку-то?

— Где устоять!.. — соглашались мужики.

— Значит, помогать надо...

— И помогать надо, — соглашались они дальше...»

Д. Фурманов был писатель-новатор, новатор смелый и оригинальный. К его «Чапаеву» нельзя было подходить со старыми понятиями определения жанра. Это был художественно-исторический роман, но он не укладывался в рамки старых понятий таких романов.

При появлении в свет «Чапаева» некоторые литературные критики написали немало статей о том, к какому литературному жанру следует отнести эту книгу. Одни именовали ее мемуарами, другие большим очерком, не давая себе труда увидеть в этом произведении совершенно новое, что рождалось в советской литературе и чему принадлежало в дальнейшем его развитии будущее. Следуя традициям прежних художественно-исторических повествований, Д. Фурманов быть может значительно раньше написал своего «Чапаева». Ведь это было куда легче и проще, чем думать еще над новой формой произведения. Материала у писателя было больше, чем достаточно. Вот что, например, он записал в ту пору в дневнике: «материала много, настолько много, что жалко даже вбивать его в одну повесть» или: «Читаю про Чапаева много — материала горы. Происходит борьба с материалом: что использовать, что оставить?». Но тут же писатель пылливо решает вопрос, как дать этот материал, в какой форме преподнести его читателю. На первых порах ему самому многое казалось неясным и он пишет в дневнике:

«Прежде всего, ясна ли мне форма, стиль?.. Нет!» И далее: «Я мечусь, мечусь, мечусь... Ни одну форму не могу избрать окончательно». Но в творческих муках, в напряженном труде эта форма была найдена: Д. Фурманов решил писать произведение, где за большинством описываемых людей, событий и положений он оставляет строго конкретно-исторический характер вплоть до действительных имен и названий героев и мест сражений.

Д. Фурманов сделал то, что мог сделать только писатель, вставший на путь социалистического реализма и понимавший все грандиозное значение перемен, происходящих в жизни человека, в его морально-политическом поведении с наступившей советской эпохой.

С первых лет революции в дыму и пламени сражений с врагами, под мудрым водительством большевистской партии в характере советского человека уже начинали формироваться те замечательные качества души, та нравственная красота и политическая зрелость, которые сделали его носителем передовой идеологии, культуры и искусства. Героизм стал не поведением одиночек, а массовым явлением. Партия, советская власть сплотили миллионы советских людей в единой воле к строительству коммунизма. Человек стал носителем всего лучшего и прекрасного, а это дало право художникам слова, прошедшим путь борьбы бок о бок с народом, обратиться непосредственно к живой, конкретной действительности и писать о людях не с вымышленными именами. Когда Д. Фурманов работал над романом, он пользовался много раз пережитым, содержательным и убедительным материалом и называл героев их действительными именами: был ли то

легендарный Чапаев или ивановская ткачиха Маруся Рябинина. Лишь очень немногие люди в «Чапаеве» даются под вымышленными именами, а среди главных героев только за собой не захотел Дмитрий Андреевич оставить подлинное имя, назвав комиссара Чапаевской дивизии Федором Клычковым, но в данном случае сказалась исключительная скромность писателя, присущая ему в течение всей жизни.

* * *

Приступая к работе над романом, Д. Фурманов немало думал над тем, как раскрыть образ народного полководца: «дать ли Чапая действительно с мелочами, со всею человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, т. е. хотя и яркую, но во многом кастрированную». Писатель решил этот вопрос правильно, как подобало социалистическому реалисту. Задумав показать не только характер Чапаева, но и всю действительность со всей ее суровой правдой, он с успехом раскрыл в романе борьбу старого с новым, отживающего с нарождающимся.

Д. Фурманов начинает роман картиной проводов отряда ткачей на иваново-вознесенском вокзале. В голодный год в многоликой массе провожающих раздаются разные голоса.

«— Да... как-то и дела наши ныне пойдут, — пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

«— Кто ж их знать может: дела сами не ходят, водить их надо. А и вот тебе первое дело — тыща молодцов!.. Это, брат, дело и большое дело, бо-ольшое! Слышно в газетах вон рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек — он толковее будет другого-прочего..»

Так уж в самом начале «Чапаева» намечается глубокий идейный замысел книги, в котором подчеркнута, что дела сами не совершаются и что вершить их должны люди, закаленные опытом революционной борьбы. «Тысяча молодцов», о которых упоминается здесь — это самые испытанные в делах иваново-вознесенские текстильщики — коммунисты, это юная ткачиха Маруся Рябинина, это пожилая ткачиха Марфа, «посовавшая детей в приюты», чтобы вместе с лучшими товарищами добровольно идти на фронт, это, наконец, видный партийный работник воспитанник ткачей Федор Клычков (Фурманов) — будущий комиссар Чапаевской дивизии. Их не обескураживает плохонькая военная амуниция, которая на некоторых по-смешному «топорщится, подымается, как тесто в квашне», им не портят настроения старые изношенные виды оружия; они сильны духом и непреклонной верой в свое правое дело.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом глядела на

них и говорила про них могучая, черная рабочая толпа, и каждое слово прощальной речи Федора Клычкова глубоко западало в сердца провожающих людей. А Федор Клычков говорил им тогда простые, ясные слова большевика:

«— Товарищи, рабочие! — говорил он, — остались нам вместе — минуты. Пробьют последние звонки; и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте. Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову...

И еще вам одно слово на разлуку: работайте! Дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях — везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв.

Словно буйным бураном завывала снежная степь — толпа зарыдала ответным гулом:

«— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...»

Нерушимая прочность тыла и фронта, вера в победу и торжество советских людей помогли полураздетым, подчас голодным ткачам-воинам выстоять под напором войск врага, разгромить его отборные каппелевские полки.

Известно, что Чапаев и чапаевцы были не менее храбры и бесстрашны в бою, чем ткачи. Одна из великих заслуг Д. Фурманова в том и состоит, что он показал, как миллионы выходцев из крестьянских низов железной стеной поднялись на защиту советской власти, как они выдвигали из своей среды талантливых полководцев, в сознании которых люта ненависть к врагам определяла неудержимый наступательный дух. Но по своей морально-политической зрелости ткачи стояли выше бойцов, вышедших из крестьянской среды. Поэтому на их долю выпала задача личным примером, политическим опытом влиять на все окружающее. Ведь известно, что было время, когда Чапаев сам не знал, что нет разницы между коммунистами и большевиками. Известно, что рядом с храбростью и бесстрашием в борьбе у Чапаева были элементы неудержимого ухарства, молодечества. Д. Фурманов не боялся раскрывать в романе слабые стороны Чапаева, ибо знал, что это суровая правда, о которой нельзя не писать, а еще больше знал он, что все это отпадет, так как в Чапаевскую дивизию пришли ткачи, коммунисты, ставшие, по меткому выражению М. В. Фрунзе, «цементом дивизии», ее движущей морально-политической силой.

Где бы ни были иваново-вознесенцы, они всюду выступали знающими, толковыми агитаторами, к авторитетному го-

лосу которых прислушивались все, кому суждено было с ними повстречаться. Еще на пути в Чапаевскую дивизию, в городах, на станциях и полустанках они неумоимо вели агитационную работу. «Что ни остановка, — читаем в «Чапаеве», — у эшелона бойкая работа. Весь долгий путь переменяен митингами, собраниями, заседаниями, самодельными лекциями, говорливыми беседами... Отряд ткачей-большевиков — толковых, строгих до себя ребят — весь путь перебороздил глубоким и неожиданным впечатлением... В этой тысяче большевиков-ткачей увидели сермяжники, жители малых городов, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали, на все вопросы мирно отвечали, что надо, объясняли умно и просто, не вспарывали подвалам животы, ничего не брали, а что брали — за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново. Было это странно. Было это любо. Иной раз к полустанку, где эшелоны задерживались сутками, сползались жители из дальних сел — деревень «послушать умного народу». Так эшелоны иваново-вознесенцев превращались в красные агитационные поезда, где бурно кипела жизнь. Ткачи-коммунисты ехали воевать и хорошо знали, что надо быть готовым ко всему. И надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здоровой головой, знанием, умением».

Вот такие-то люди и стали ядром Чапаевской дивизии. Сначала чапаевцы и их славный командир с некоторым недоверием относились к ткачам. Д. Фурманов и об этом пишет со всей откровенной правдой, он рассказывает, как по приезде в Уральск, по иваново-вознесенцам открылась пальба «стреляли красноармейцы «вольных» крестьянских полков, у которых приехавшие ткачи отнимали и урезывали их бесшабашную «волю». Как только эти полки увидели, на что способны ткачи, как они стойко и мужественно бьются, — предубеждение сразу пропало, выросли иные, дружеские отношения».

Так ивановские текстильщики-коммунисты влияли на чапаевцев своей высокой сознательностью, неустрашимой храбростью в боях. В тяжелые и самые ответственные дни для родины пришли иваново-вознесенцы в чапаевскую дивизию.

Весна 1919 года. Международная интервенция готовила комбинированный военный поход против молодой советской республики. «Главный удар должен был нанести Колчак, с которым Деникин надеялся соединиться в Саратове для совместного наступления на Москву с востока. Юденичу был предоставлен вспомогательный удар по Петрограду» (Сталин).

Чапаевская дивизия, куда входил основным ядром 220-й стрелковый полк, сформированный из иваново-вознесенских ткачей, должна была лицом к лицу столкнуться с колчаковской армией. Силы были неравны. 4 марта 1919 года

армия Колчака перешла в наступление, захватив Уфу, Белебей и другие города. Фронт красных войск оказался прорванным, и белогвардейские армии рвались к волжским просторам. Организация контрудара против Колчака была поручена М. В. Фрунзе.

С 28 апреля по 4 мая красные войска под командованием М. В. Фрунзе разбили 6-й корпус Колчака, затем, растрепав его 3-й корпус, взяли Бугуруслан и, разгромив 2-й корпус, захватили Бугульму. В ходе непрерывных боев М. В. Фрунзе разбил корпус Каппеля. В этих военных операциях М. В. Фрунзе сделал Чапаевскую дивизию ударной силой, которой в конечном счете удалось измотать и истребить главные силы Колчака.

Д. Фурманов безыскусно и вместе с тем потрясающе ярко рассказал о боевом пути Чапаевской дивизии и о том, как в ее рядах ивановские ткачи, всюду идя первыми, вырывали у Колчака один советский город за другим, как в напряженных боях брали они Бугуруслан, Бугульму, Белебей, Уфу, Уральск. М. В. Фрунзе, Чапаев, комиссар Федор Клычков (Фурманов) возглавляли на ткачей самые ответственные военные операции.

Когда готовилось наступление на Уфу, «в Красном Яру: — пишет Д. Фурманов в романе, — собрались вожди дивизии, надо было учитывать помимо техники и бойцов, еще и качество их, касаясь именно этой исключительной обстановки. Выбор пал на рабочий Иваново-вознесенский полк. Этот выбор сделан не случайно *для данного момента* (подчеркнуто Д. Фурмановым), надо было остановиться на полку высокосознательных красных ткачей — здесь одной беззаветной удали могло оказаться недостаточно».

В разгаре боя за Уфу чапаевцам и в первую очередь иваново-вознесенцам не мало пришлось пережить. Силы хорошо вооруженного противника во много раз превосходили силы ткачей, в резерве у которых были только одни штыки.

«Да, у них, у ткачей, — читаем в романе, — теперь кроме штыка, ничего не оставалось. И вот, когда вместо демонстрированных атак неприятель повел широкое настоящее наступление, дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятись... В это время к цепям подсакало несколько всадников, они поспрыгивали на землю. Это — Фрунзе... Он с винтовкой забежал вперед: «Ура, товарищи!.. Все те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весть промчалась по цепям, бойцов охватил энтузиазм, они с бешенством бросились вперед. Момент был исключительный! Редко-редко стреляли, патронов было мало, неслись со штыками на лавины наступающего неприятеля. И так велика сила героического подъема, что дрогнули теперь цепи врага, повернулись, побежали...»

Такие бойцы, с такими командирами могли преодолевать любые препятствия, и Д. Фурманов рассказал об этом так взволнованно и просто, что каждая картина его книги оставляет неизгладимое впечатление в памяти читателя.

Сотни километров с боями прошел 220-й иваново-вознесенский полк в рядах Чапаевской дивизии. Молча они перенесли физические страдания, голод и тяжелые невзгоды военных походов. Недаром В. И. Ленин неоднократно отмечал величайшие заслуги передовых отрядов рабочего класса, принимавших самоотверженное участие на полях сражений в 1919—20 годах. «Иваново-вознесенские рабочие, — писал В. И. Ленин, — питерские и московские рабочие, — перенесли за эти два года столько, сколько не переносил никто другой в борьбе на красных фронтах.»¹

Описывая путь 220-го иваново-вознесенского полка, Д. Фурманов дал замечательные художественно-исторические иллюстрации к этим словам вождя партии и советского народа.

Д. Фурманов описывает Чапаева как одного из любимых народных героев, вышедших из крестьянских низов, из среды тех многих миллионов людей, которых царизм обрекал на нищету, бескультурье и несправие. В характере Чапаева сказались все сильные и слабые стороны крестьянской массы, готовой до последней капли крови драться с врагами революции, но вместе с тем политически незрелой, нуждающейся в учителях жизни. Такими учителями новой социалистической жизни и были в Чапаевской дивизии ткачи-коммунисты.

Представитель партии, умеющий понять и оценить всю сложность конкретно-исторической обстановки, комиссар Клычков во имя революции вел терпеливую, трудную работу, чтобы, как он выражался, «духовно полонить Чапаева». «Чапаев из ряда вон, он не чета другим — это верно, его трудно будет обуздать, как дикого степного коня, но... и диких коней обуздывают! Только надо ли? — вставал вопрос.

Не оставить ли на произвол судьбы эту красивую, самобытную, такую яркую фигуру, оставить совершенно не тронутой? Пусть блещет, бравивирует, играет, как многоцветный камень? Мысль эта у Клычкова была, но она показалась смешной и ребяческой на фоне гигантской борьбы. Чапаев теперь — как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротимая воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит... И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу... Если же удастся — ого! Революции таких людей во как надо!»

¹ Ленин. Собр. соч., т. XXV, стр. 134.

Комиссару и ткачам удалось очень многое. Скоро они в глазах Чапаева и чапаевцев стали самыми авторитетными, самыми умными товарищами в боевых походах. Об этом рассказывают читателям страницы романа.

Известно, как тяжело расставался Василий Иванович Чапаев со своим комиссаром, когда партия перебросила Клычкова на другой ответственный участок фронта; известно, как легендарный полководец, суровый и бесстрашный народный герой проронил слезы над погибшей в боях юной ткачихой Марусей Рябининой, как чапаевцы и их командир крелли и мужали, становились боеспособнее и политически сознательнее под влиянием иваново-вознесенских ткачей-коммунистов.

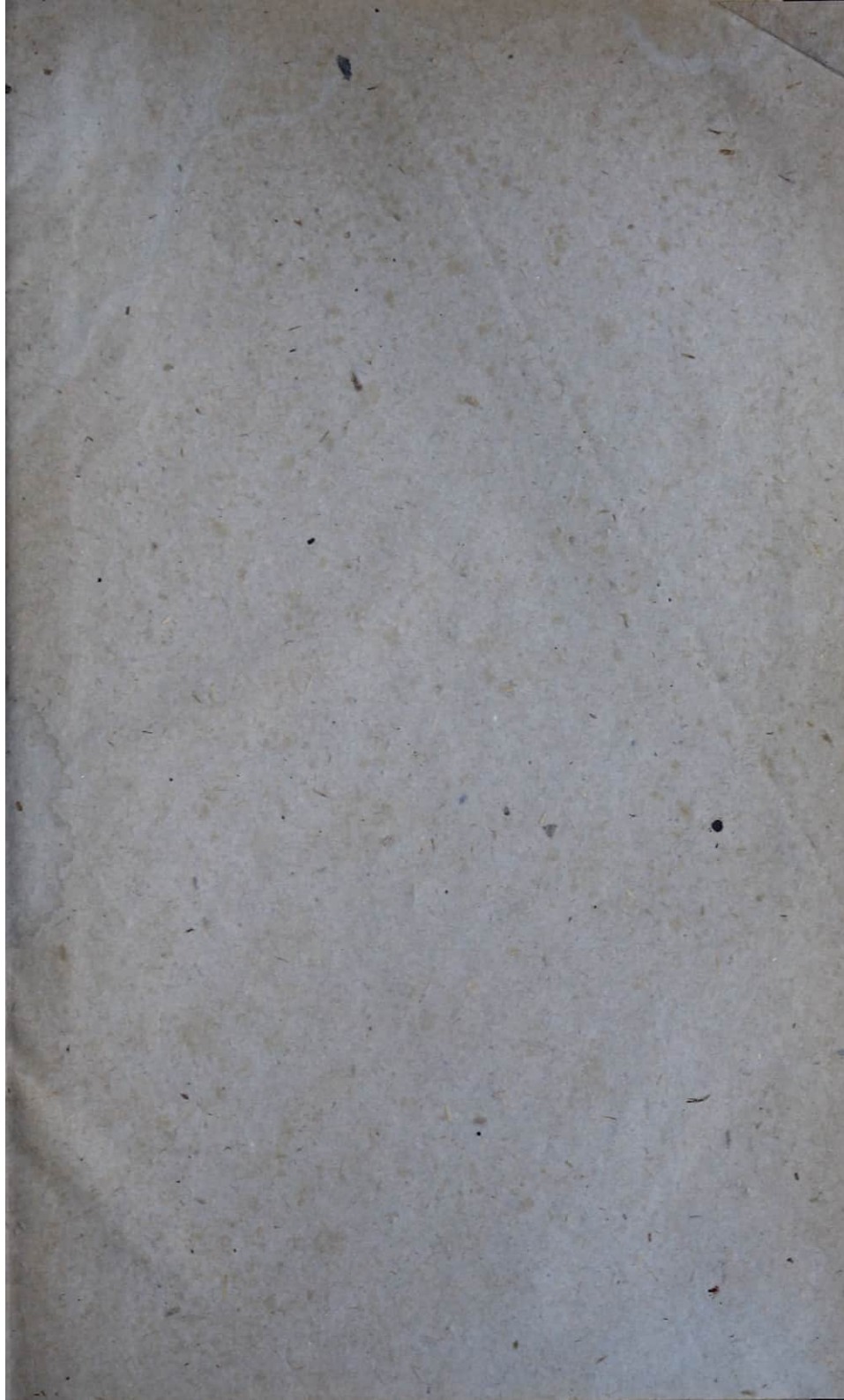
В этом воспитательное значение романа «Чапаев». В этом величие Д. Фурманова, вдохновенного певца партии, рабочего класса, иваново-вознесенских ткачей.

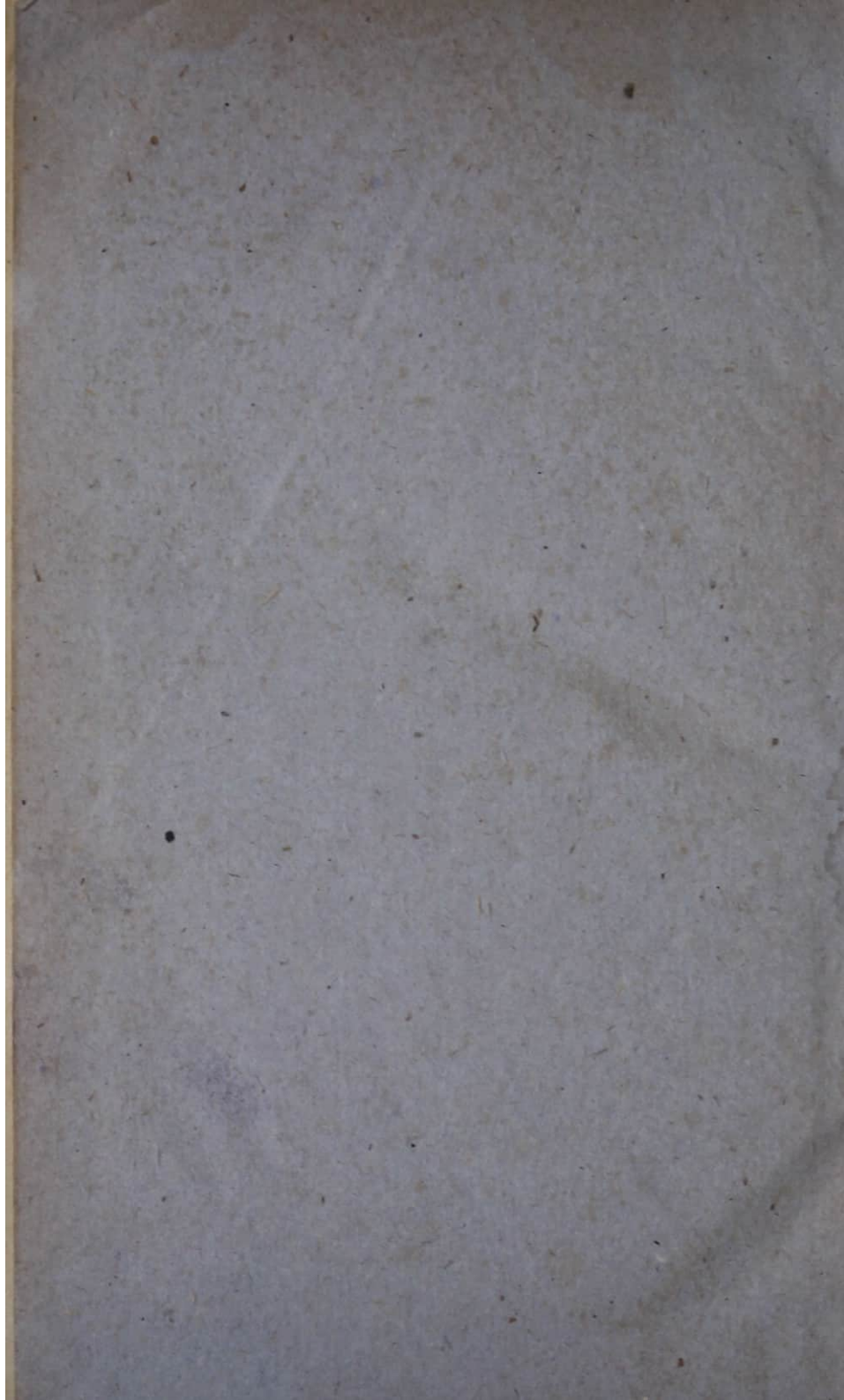
СОДЕРЖАНИЕ

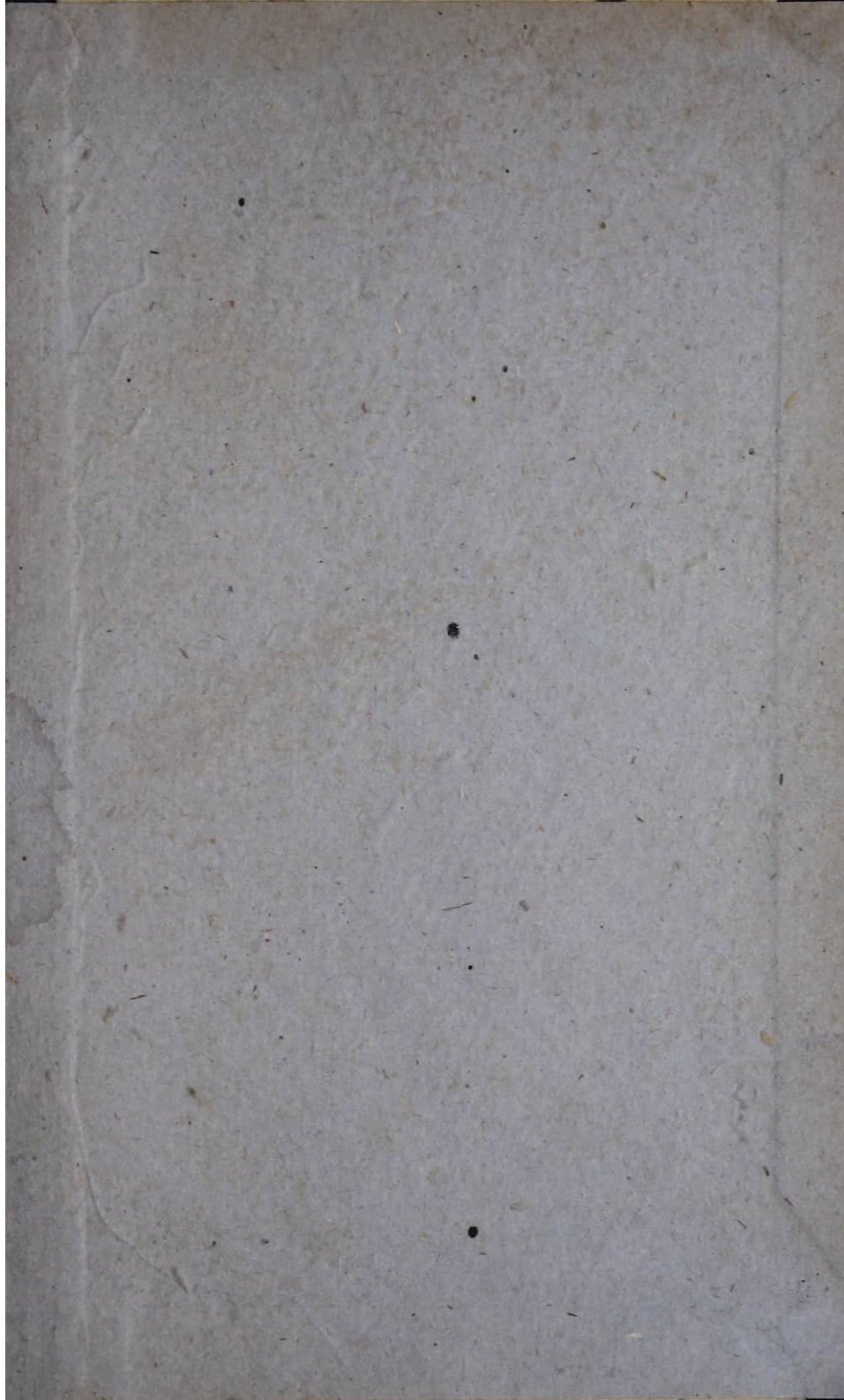
| | Стр. |
|--|------|
| <i>М. Шошин.</i> За рекой Выремшей, повесть, часть первая. | 3 |
| <i>Н. Сусленников.</i> В родном краю, поэма | 127 |
| <i>А. Благоев.</i> Наше 30-летие. Привет тебе, наша столица. Первомай- ская песня. Мы слово держим. Осенним утром. Молодые сады зацветут, стихи. | 147 |
| <i>Дм. Семеновский.</i> Мечта. Здоровье. Под южным солнцем, стихи. | 153 |
| <i>М. Кочнев.</i> Горностайкин след. Камчатая скатерть. Бунт красок. Челнок-летунок. Огюльджан — шелковая коса. Самое большое богатство, сказы | 160 |
| <i>М. Бригов.</i> Две весны, стихи | 227 |
| <i>В. Жуков.</i> Вот здесь была дорога фронтовая. На рассвете. За родное содружество наше. Хозяйки, стихи | 231 |
| <i>Иван Ганабин.</i> Первый выход. Сыграй на прощанье мне песню. Славь, запеваля, дела боевые. Песня молодых моряков. На дере- вьях зреют почки. Его убили на войне, стихи | 237 |
| <i>Дм. Прокофьев.</i> Весенние дни. Гроза прошла стороной. Он вернется, рассказы | 242 |
| <i>А. Лебедев.</i> Песня эпроновцев. Память, стихи. | 274 |
| <i>Николай Майоров.</i> Творчество. Торжество жизни. Баллада о Чкалове. После ливня. Пушкин. Памятник, стихи | 276 |
| <i>Л. Кудрин.</i> Возвращение. Пусть война позади. Праздник весны. Уро- жай, стихи | 284 |
| <i>Г. Горбунов.</i> Вдохновенный певец ивановских ткачей, статья | 288 |

Редколлегия: М. Х. Кочнев,
Д. Г. Прокофьев, В. С. Жуков.

Подписано к печати 21/V 1948 г. КЕ — 01147. Печ. л. 18 $\frac{1}{2}$. Уч. изд. л.
18. В печ. л. 40704 тип. зн. Тираж. 5000 экз. Цена 9 руб.
Типография издательства Ивановского областного Совета депутатов
трудящихся, г. Иваново, Типографская, 4. Заказ № 1533.







9 руб.

СЕРИЯ 1 0100072

3 р.

